НЁМАН

2/2019
ФЕВРАЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 325-85-25, заместителя главного редактора — 319-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 304-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 15.02.2019. Формат $70 \times 108^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 17,01. Тираж 1108. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

16 +

Алесь КОЖЕДУБ

Мерцание золота

Роман

Часть первая. Внуковский лес

1

После окончания Высших литературных курсов мне уже не было никакого смысла думать о службе. Да что там служба — о месте проживания не надо было беспокоиться. За два года учебы я все-таки привык к Москве.

Даже в очередях не стоял. Если уж появлялась потребность в рюмке водки, я шел в Дом литераторов и спокойно выпивал. То же самое можно было сказать обо всем остальном. В очереди за колбасой стояла теща. На службу ходила жена. Нужные люди звонили сами. Писатель в середине восьмидесятых еще был уважаемым человеком, и я из этой чаши пил сполна.

— В какой Дом творчества поедем на этот раз? — игриво спрашивал я жену по весне.

— В какой хочешь, — отмахивалась она. — У меня опять «Домострой».

«У тебя «Домострой», а у меня машина, — думал я. — На кой ляд я с ней связался?»

Надо сказать, «Домострой» и машина портили нам кровь примерно одинаково.

Впрочем, с «Домостроем» Алена влипла в историю по собственному почину. Защитив диплом в университете по древнерусской литературе, жена осталась «древницей» на всю жизнь. Их вообще не так много, этих «древников», но зато они были в полном смысле слова штучным товаром.

Я с «древниками» сталкивался дважды, и обе встречи оставили неизгладимое впечатление. В первый раз Алена привезла меня на дачу в Дудкино к профессору, под руководством которого она защищала диплом. Дача была под стать своему хозяину: старая, просторная, ухоженная. Может быть, был несколько запущен сад, но и это соответствовало статусу профессорской дачи.

К нашему приезду на террасе был накрыт стол, и я отдал должное выбору яств и напитков: запотевшая бутылка водки, маринованные грибки, огурчики-помидорчики с грядки, сальце с прожилкой. Из кухни доносился запах тушеного мяса.

«Неплохо живут университетские профессора, — подумал я. — Наверное, не одни «Жития святых» исследовал».

Мы выпили, закусили, профессор прочитал небольшую лекцию о нравах современной молодежи.

— У нас тоже преподаватели один древнее другого, — сказал я.

— Где это «у вас»? — осведомился профессор.

— В Литературном институте, — хмыкнул я. — Лекции с пожелтевших листков считывают.

— Лекции могут быть на любых листках, — тоже хмыкнул он. — Это у вас, кажется, Николай Каллиникович преподает?

— Кто? — удивился я.

— Гудзий, — шепнула мне на ухо жена.

— Да, — кивнул я, — но не мне. На Высших литературных курсах древнерусской литературы вообще нет.

— Очень плохо, — вздохнул профессор. — Древнерусскую литературу надо изучать всем.

— И физикам? — снова удивился я.

— Им в первую очередь.

За столом все засмеялись. Я смеялся громче всех. Так бывает после успешно сданного экзамена.

— Молодец! — чмокнула меня в щеку жена.

— Не лепо ли ны бяшет, братие, — поднял я наполненную рюмку, — начяти старыми словесы о полку Игореве!

— Два слова пропустил, — сказала Алена.

— Русскому человеку не только пропустить, но и добавить дозволяется, — благосклонно посмотрел на меня профессор. — Широк русский человек!

— А он не русский, — засмеялась Алена.

— Не русский?! — изумился профессор.

— Белорус. — Я выпил рюмку до дна. — Как и Достоевский, между прочим. Это ведь его слова?

— Его, — погладила меня по плечу Алена.

— Главное, не поляк, — тоже выпил свою рюмку профессор. — Уж с белорусами мы как-нибудь договоримся.

Профессора, как правило, не ошибаются. В Дудкине мы прикончили одну бутылку, за ней и вторую. Женщины нам помогали мало.

Со второй «древницей» я встретился в Коктебеле, но об этом расскажу как-нибудь в другой раз. Главной «древницей» все-таки была моя жена, а у нее, как я уже говорил, возникли большие сложности с «Домостроем».

В издательстве «Советская Россия», которое народ ласково называл «Савраской», Алена среди прочих вела серию «Памятники древнерусской литературы». И не вставить туда «Домострой» она, конечно, не могла.

— А он сочетается с «Кодексом строителя коммунизма»? — спросил я, когда она рассказала мне о «Домострое».

— Вполне, — ответствовала она.

— Тогда исдавай, — пожал я плечами.

У меня в это время в «Молодой гвардии» выходила книга повестей и рассказов, и другие книги меня занимали мало. А зря.

«Домострой» вышел, его мгновенно раскупили любители российской словесности, и не только они. Очень скоро на книгу, при советской власти не издававшуюся, появилась рецензия. Но, во-первых, она была напечатана в газете «Правда», а во-вторых, это была не совсем рецензия.

— Кошмар! — сунула мне в руки газету Алена.

Мне ее вид не понравился.

— Так уж и кошмар, — сказал я. — Ну, поругали маленько.

Однако, пробежав глазами текст, я понял, что рецензия была форменным разносом в стиле двадцатых годов. Тогда после них легко расстреливали.

— Н-да, — сказал я. — Это кто ж таков?

— Какой-то историк из Киева… — губы у жены задрожали. — Теперь точно выгонят…

Мне подумалось, что после разноса в «Правде» изгнание проштрафившегося редактора было вполне возможным вариантом.

— С волчьим билетом! — всхлипнула Алена.

А вот этого не хотелось бы.

— Не переживай, — обнял я жену. — Авось рассосется.

И был прав. Директор издательства, которому было поручено принять к редактору соответствующие меры, вызвал Алену к себе.

— Рано еще «Домострой» издавать, — отечески пожурил он ее.

— А когда не рано? — спросила Алена.

— Ну, лет через десять, — посмотрел в окно директор. — Когда построим. Выговор все-таки придется объявить.

Алена вздохнула. Недавно ее назвали лучшим молодым редактором издательства, и переход из лучших в худшие давался нелегко.

Однако история на этом не закончилась. Рецензент из Киева тоже оказался не лыком шит. Он напечатал в «Правде» вторую статью, в которой впрямую спрашивал, какие меры руководство издательства приняло к идеологически незрелому редактору. Очевидно, он был не простым историком, этот товарищ из Киева. «Зачем советскому человеку «Домострой», в котором сосредоточены все пережитки не только буржуазного, но и феодального общества?» — вопрошал он.

Позже я посмотрел эту книгу. Некоторые места в ней мне понравились. Например, вот это: «Страх божий всегда носи в своем сердце и любовь нелицемерную, и помни о смерти». Sic! Помни о смерти.

Но в остальном, конечно, это была очень вредная книга для нашего человека. Вот что в ней было написано о блюдах, которые следовало подавать к столу в мясоед с Пасхи: «Лебедей, потроха лебяжьи, журавлей, цапель, уток, тетеревов, рябчиков, почки заячьи на вертеле, кур соленых, баранину соленую да баранину печеную, куриный бульон, крутую кашу, солонину, язык, лосину, зайчатину соленую, заячьи пупки, кур жареных, жаворонков, бараний сандрик, свинину, ветчину, карасей, сморчки, кундумы, двойные щи».

Кроме того, в Пасхальный мясоед подавали еду рыбную: «Сельдь на пару, щуку на пару, лососину сушеную, белорыбицу сушеную, осетрину сушеную, спинки стерляжьи, белужину сушеную, спинки белужьи, спинки белорыбицы на пару, лещей на пару, уху с шафраном, уху из окуней, из плотиц, из лещей, из карасей».

Мне было непонятно, что такое «кундумы» и «сандрик». Но в доме нормального «древника» всегда есть словарь древнерусского языка, и я узнал, что сандриком называлась можжевеловая смола, а кундумами — вареники с говядиной в подливе.

Конечно, книга с подобным перечислением блюд была идеологической диверсией, о чем я и сказал жене.

— У Аксакова в «Детских годах Багрова внука» еще больше блюд, — пожала она плечами.

— Аксаков писатель, — сказал я, — а здесь идеология. Неужели не понятно?

— Понятно, — вздохнула она. — Выгонят, сам на работу пойдешь.

— Зачем? — удивился я.

— Кто-то ведь должен в семье работать.

— Не обязательно. На жизнь и гонораров хватает.

У меня выходили книги поочередно в Москве и Минске, и на жизнь действительно хватало даже без зарплаты жены.

— Без работы мне скучно, — заупрямилась Алена.

Вот это другое дело. Если человеку скучно — пусть работает. Лишь бы товарищ из Киева не попался. А у жены был классический товарищ, прямиком из «Истории КПСС», где боролись с врагами народа и прочей контрреволюционной сволочью.

Но мы недооценили директора «Савраски». Он тоже был товарищем оттуда и знал, к кому и куда идти за советом.

Через неделю после второй статьи в «Правде» он снова вызвал Алену к себе.

— Мы выписали вам премию в размере месячного оклада, — сказал он.

— За что? — поразилась жена.

— За издание высокохудожественной литературы. Идите и спокойно работайте.

— А киевлянин?

— С ним разберутся без вас.

— И даже не будет выговора?

— Не будет.

Алена купила в ГУМе бутылку «Ахашени», и вечером мы ее распили.

— Хорошо, что наш директор из ЦК, — сказала она, залпом осушив бокал. — Обычный директор меня бы не спас.

— Обычных директоров у нас не бывает, — возразил я, с тревогой наблюдая, как она наливает еще себе в бокал. — Может быть, съешь персик?

— Не хочу.

Она снова выпила бокал до дна.

«Сейчас упадет», — подумал я.

Но жена упала не сразу. Она обстоятельно рассказала мне о пользе древнерусской литературы, и особенно апокрифов, по которым когда-то писала диплом. Затем высказала все, что думает о стукачах из центральной печати. Почему-то вспомнила свою поездку на Валаам. И только после этого откинулась на спинку дивана и безмятежно уснула.

Я же подумал, что «Домострой» мне попался в руки не зря. Понял, что должен обустроить свой дом. Поскольку полноценного дома в Москве у меня не было, им следовало обзавестись. И это была цель, ради которой можно было пожертвовать многим.

2

Но перед домом, требовавшим обустройства, у нас появилась машина.

Ровно в тот год, когда я получал права на вождение в Минске, тестю пришла открытка из автоцентра на Варшавке о выделении ему машины. Тесть был ветераном Великой Отечественной войны, и мы этой открытке не сильно удивились.

— Какая машина? — спросила жена.

— На выбор шестая или восьмая модель «Жигулей», — сказал я. — Какую ты хочешь?

— Не знаю, — пожала она плечами. — Надо Леню спросить.

Леня был ее старший брат, который уже два года ездил на «Ниве», и его совет имел большое значение.

— Берите любую, — тоже пожал плечами Леонид. — Мне «Нива» нравится.

У Леонида был дом в Тверской области, до которого можно было доехать только на «Ниве», и всем было понятно его пристрастие к вездеходам.

— Но у нас нет дома под Тверью, — сказал я.

— Купим, — посмотрела на меня жена.

— Выделяют «шестерку» либо «восьмерку», — напомнил я.

— Я бы взял «восьмерку», — сказал сын Леонида Петр, тоже участвовавший в семейном совете.

Петя был на десять лет младше меня, и для него не стоял вопрос, какая цифра весомее — шесть или восемь. К тому же, в свои двадцать он уже успел жениться и развестись, в то время как я только-только привыкал к своей первой жене. Впрочем, что-то мне подсказывало, что эта жена надолго.

— Берем «шестерку», — сказал я.

За машиной поехали тесть, я и Алена. Автомагазин на Варшавке в то время был крупнейший в Москве. Издали он походил на огромный муравейник, живущий по законам, неведомым простым людям.

— Это сколько же мы здесь простоим в очередях? — почесал я затылок.

Очереди и впрямь были большие, но к обеду мы достигли заветного окошка.

— Обед, — захлопнула окошко продавец.

— Зато после обеда мы первые, — сказала жена.

За время обеда перед нами влезли два ветерана, более заслуженные, чем тесть, но по сравнению с утренней очередью они были семечками. Ровно в пятнадцать ноль-ноль мы просунули документы в окошко.

— Остались только белые и бежевые, — визгливым голосом сказала дама в окошке. — Какую берете?

— Белую, — голос у меня отчего-то сел.

Жена открыла рот — и ничего не сказала. Тестя никто ни о чем не спрашивал, и он послушно делал то, что ему велели. В основном ему приходилось расписываться на квитанциях.

Еще через час из ворот к нам выкатилось белое чудо.

— Получайте, — сказал мастер, передавая мне ключи.

— И все? — недоверчиво спросил я.

— Теперь на учет в ГАИ.

«Еще одна очередь», — подумал я.

— Наш Феликс, пока ехал из магазина в ГАИ, попал в аварию, — сказала Алена.

Я тоже помнил эту историю. Сослуживцу Алены Феликсу Чуеву в Союзе писателей выделили «Волгу». Он приехал в магазин на Варшавке, честно отстоял очередь, сел в новенькую «Волгу» и поехал в ГАИ. На перекрестке его догнал грузовик и стукнул в бок.

— Какого цвета была «Волга»? — спросил я.

— Белая, — сказала жена.

— А в какой бок его стукнул грузовик?

— Не знаю, — озадаченно посмотрела на меня Алена.

Я отчего-то подумал, что мне следует опасаться белых «Волг», и как выяснилось позже, был прав.

Но в этот раз я благополучно доехал до отделения ГАИ, и мы зарегистрировали машину.

— Теперь покатаемся! — счастливо зажмурилась жена.

Я крякнул. Кому кататься, а кому возить саночки. Да и Москва, по моему мнению, была не самым удобным местом для катанья.

Я начал осваивать Ленинский проспект и окрестности, потом стал выбираться в центр. Издательство жены находилось в проезде Сапунова, что рядом с ГУМом, неподалеку и Красная площадь. На нее я, конечно, не выезжал, но по улицам 25-летия Октября и Степана Разина колесил. Здесь я чаще всего сталкивался с гаишниками, которые издали чуяли новичка.

— Так резко тормозить нельзя, — говорил старший лейтенант, внимательно изучая мои права. — А если бы рядом с водителем, который следовал за вами, была девушка?

— И что? — недоумевал я.

— Он бы, например, отвлекся, а тут вы. Нехорошо. На первый раз с вас «трешка».

Я лез в карман. Спорить с гаишниками, несущими службу рядом с Кремлем, было бессмысленно.

Наступила зима, но я продолжал ездить.

Тестя положили на обследование в больницу на Каширке, и мы с женой и Петром поехали его навестить. Сугробы по обочинам дорог возвышались как горы. Ночью прошел снежок, на асфальте образовался накат. Я ехал рядом с троллейбусом.

— Влево! — закричал Петя, сидевший рядом со мной.

Ему показалось, что сейчас мы протараним троллейбус. Я крутнул руль и нажал на тормоз. Левое колесо попало на припорошенный снегом лед, нас развернуло, как в кино, и выбросило в сугроб. Судя по вытаращенным глазам пассажиров троллейбуса, фонтан снега, взметнувшийся из-под колес нашей машины, им очень понравился. Не оставил он равнодушным и толстого гаишника, сидевшего высоко над землей в «стакане» у перекрестка. Пока Петя с прохожими выталкивали машину из сугроба, гаишник неспешно спустился по лесенке из «стакана» и подошел, помахивая полосатым жезлом, к нам.

— Это вы фигуры высшего пилотажа исполняли? — спросил он меня.

— Так точно, — повесил я голову.

— И все целы? — не верил своим глазам гаишник.

— Сугроб, — промямлил я.

— Давно за рулем?

— Третий месяц.

— И машина цела?

Мы обошли автомобиль. На нем не было ни царапины. В сугроб между двух яблонь я влетел с ювелирной точностью, причем задом наперед, не зацепив ни веточки.

— Ну что ж, езжайте, — вернул мне права гаишник. — И не такие обучаются.

Последние его слова мне не понравились. Что значит — не такие?

— Оштрафовали? — прошептала с заднего сиденья жена.

Со всей этой катавасией я о ней как-то забыл. А на заднем сидении летать, наверное, не очень приятно.

— Жива? — спросил я, не поворачивая головы.

— О Господи! — запоздало перекрестилась Алена. — Что с нами было?

— Петля Нестерова! — захохотал Петр. — Гаишник даже из будки вылез.

Судя по голосу, Петр уже полностью пришел в себя. Мы поехали дальше

в больницу. «Пока еще навещать, — подумал я. — А про фигуры высшего пилотажа он хорошо завернул».

Надо сказать, с годами юмор гаишников мне стал нравиться. Дом, в котором мы живем, стоит в самом конце Ленинского проспекта, и чтобы из его арки на этот самый проспект выехать, приходится нарушать правила, причем дважды. В первый раз ты вынужден проигнорировать знак «движение только направо», во второй — пересечь сплошную двойную линию. Но не ехать же километр до разворота на проспекте Вернадского.

Гаишники об этом выезде из арки нашего дома хорошо знали и изредка караулили жильцов вроде меня. Однажды я выехал — и прямиком в их распростертые объятия.

— Нарушаем, Александр Константинович, — сказал капитан, изучив мои права.

— Да уж… — понурился я. — Срочно на дачу надо, а объезжать далеко.

— Серьезное нарушение, целых два, — посмотрел на меня капитан. — Составляем протокол?

— Можно без протокола.

Мы сошлись на тысяче, тогда это была приемлемая цена.

— В следующий раз будьте внимательнее, — сказал гаишник, возвращая права.

Следующий раз не заставил себя долго ждать.

Назавтра я снова выехал на проспект через арку — и увидел того же капитана с палкой.

— Опять вы?! — опешил он.

— Вы же здесь раз в год стоите, — тоже удивился я.

— Иногда и два раза в год, — смутился гаишник, но быстро взял себя в руки. — На дачу?

— Куда же еще, — пробурчал я. — Но это несправедливо, стоять два дня подряд на одном месте.

— Знаете, Александр Константинович, — внимательно посмотрел мне в глаза капитан, — у вас очень знаменитая фамилия.

— И что?

— Я бы на вашем месте написал заявление туда, — показал пальцем вверх гаишник.

— Зачем?

— Чтобы вам выдали особое разрешение.

— Какое?

— Ездить по собственным правилам. Чтобы вот тут на лобовом стекле был прикреплен талон, а на нем большими буквами написано: «На дачу!»

— Вот ваша тысяча, — достал я из кармана бумажник.

— А вы на досуге поразмышляйте, — козырнул капитан.

После этого я перестал выезжать на проспект из арки. Но история с капитаном случилась годы спустя. А в тот день, когда я влетел в сугроб, мои приключения не закончились.

Должен признаться, в середине восьмидесятых Москва утопала в снегах отнюдь не случайно. Верно, это был знак, подаваемый свыше, однако никто на него не обращал внимания. И в первую очередь его не замечали дворники. Если крупные автомагистрали еще как-то расчищались, все-таки генсекам и их приспешникам нужно было ездить в аэропорты и другие места, то боковушки рядом с проспектами, по которым разъезжали простые граждане, были брошены на произвол судьбы. В них вязли даже «Нивы», не говоря уж о «Жигулях» шестой модели.

По такой вот занесенной снегом боковушке мы пробивались к своему дому, когда навстречу нам вырулила «Волга». Моя машина уже почти поравнялась с ней, когда водитель «Волги» газанул, и та пошла юзом.

— Газу! — заорал Петр.

Я дал газу. Моя машина тоже пошла юзом, и мы встретились. Удар был довольно сильный.

«А «Волга»-то белая, — подумал я, вылезая из машины. — Не зря мы Феликса вспоминали».

Феликс был записным анекдотчиком, и Алена вчера со смехом рассказывала о поездке группы писателей, среди которых был Феликс, на Дон к Шолохову. Классик советской литературы был прост. Он принял писателей в своем доме, накормил хорошим обедом, посадил в выделенный райкомом «козел» и увез в степь.

— Едем мы по степи, — рассказывал, поддергивая штаны, Феликс, — и вдруг видим отару. Подъезжаем, пастух, старый дед, поднимает руку. Останавливаемся. «Здорово, Минька», — говорит пастух Шолохову. «Здорово», — отвечает классик. «А нет ли у тебя, Минька, “трояка” на опохмел?» — спрашивает дед. «Жара ведь страшенная, — смеется Шолохов, — как же ты водку будешь пить?» — «А как же ее не пить, Минька?» — тоже смеется дед.

— Ну и что, дал «трояк»? — спросил я жену.

— Конечно, дал, — пожала она плечами. — На водку всегда дадут.

Водка водкой, но сейчас я имел дело с белой «Волгой».

— Товарный вид! — закричал, с трудом вылезая из «Волги», пузатый водитель. — Ты мне товарный вид попортил!

— Это у меня вид, — сказал я. — Вон какая вмятина.

На «Волге» железа было гораздо больше, чем на «Жигулях», и моя вмятина на заднем крыле выглядела ужасающе. Водитель посмотрел поочередно на свою машину, потом на мою вмятину.

— Ладно, — сказал он, — гони «четвертную» — и разъедемся.

Мы с Петей пошарили по карманам, набрали двадцать пять рублей и отдали водителю «Волги».

— Ну и поездочка! — хлопнул меня по плечу Петр. — Зато машину обновили.

Он был легкий парень.

— И что теперь? — спросил я, проглотив комок в горле.

— Ремонтировать! — удивился Петр. — Выпрямят, отрихтуют, покрасят — и снова будет как новенькая.

Но выглядеть как новенькой нашей «шестерке» уже не было суждено. Попасть в автомастерскую тогда можно было только по большому блату, и моим крылом занимался дядя Миша из гаражей.

— Ручная работа! — сказал Леонид, оглядев отремонтированную машину. — Сам делал?

— У самого было бы хуже, — вздохнул я.

— Ездить, вообще-то, можно, — утешил меня Леонид. — Зато теперь не угонят.

— Почему? — удивился я.

— Слишком приметная машина. На рыбалку собираешься?

— Конечно, — кивнул я. — Маленько подсохнет — и к тебе в деревню. Теперь мне сам черт не брат.

Однако рыбалка отменилась, потому что нам выделили творческую мастерскую во Внуково.

3

С пятидесятых годов во Внуково существовал пионерский лагерь при Союзе писателей. Сначала в него ездила моя жена, как писательская дочка, потом Петя, как писательский внук. К концу семидесятых пионерлагерь трансформировался в творческие мастерские. Был выстроен поселок с пятью кирпичными коттеджами, здесь же котельная с баней, неподалеку двухэтажный деревянный дом кастелянши, на первом этаже которого размещался буфет. Как и в любом поселке тех времен, в нем были комендант, бухгалтер, сестра-хозяйка, слесарь-сантехник, охранник и даже водитель рафика, отвозивший страждущих на станцию. Кроме того, на территории поселка росли голубые ели, лиственницы, дубы, сосны, березы и кусты шиповника, бересклета и орешника. Это был цивилизованный островок на окраине леса, спускающегося к речке Ликова, воду которой моя жена помнила еще прозрачной.

— Мы в ней купались, — сказала она. — На дне камушки были видны.

В это трудно было поверить, потому что сейчас речка стала обыкновенной канавой, заросшей тростником и рогозом. Рыба в ней отдавала запахом керосина. Близость внуковского аэропорта все-таки имела значение.

А когда-то это были благословенные места. Начнем с того, что именно здесь, на покатом холме, увенчанном могучими елями и лиственницами, на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков располагалась загородная усадьба Абрикосова, мармеладного короля России. От барского дома к речке вела аллея, обсаженная вперемежку тополями и березами, не менее могучими, чем ели. Сейчас некоторые из них уже были сожжены молниями и сломаны ураганами, хоть и редко, но случавшимися в Подмосковье. По этой аллее к Ликове съезжали конные экипажи, заполненные нарядной публикой. Молодежь заполняла купальню, люди постарше гуляли под зонтами вдоль речки. Здесь же, верно, устраивались чаепития, а то и наливочку подносили. Простор здесь был такой, что можно было наладить хорошее гулянье — с играми, салютами, хороводами.

Я вполне живо представлял себе кавалькаду экипажей, дам в длинных платьях, ныряющих с мостков парней, деревенских девок в венках на лугу…

Луг, кстати сказать, и сейчас был хорош. С весны до осени на нем цвели кашка, колокольчики, ромашки, иван-чай, зверобой, пижма… Сам барский дом окаймляли пышные кусты сирени — белой, фиолетовой, бледно-синей. В зарослях черемухи, густившейся в речной пойме, надрывались соловьи. На склонах вызревали земляника с малиною. Грибов в лесу тоже хватало — рыжиков, лисичек, подберезовиков с подосиновиками, ну, и белых, само собой. По осени выносили из леса полные ведра опят.

Это было настоящее Подмосковье, из времен Бунина и Шмелева.

— Ты заявление во Внуково написал? — спросил меня главный редактор «Литературной России» Эрнст Сафонов, когда я принес ему очередной рассказ.

— Куда? — удивился я.

— В Дом творчества «Внуково». Там, говорят, места освободились.

Про Внуково я что-то слышал. Но это был аэропорт, а не Дом творчества.

— Не написал, — сказал я.

— Вот пойди и напиши.

Я привык слушаться старших. Но до того, как я это заявление написал, про Внуково нам с Аленой рассказал Георгий Афанасьевич. Оказывается, творческую мастерскую там ему уже выделили.

— Вообще-то, я участок в Красновидово просил, — сказал он. — Но в Литфонде Немцов главный.

— Это какой Немцов, критик? — заинтересовался я.

— Дочка знает, — вздохнул Георгий Афанасьевич.

Я посмотрел на жену.

— Подумаешь, книгу Немцова не одобрила! — фыркнула она. — Я и на других отрицательные заключения писала.

— Так, — стал соображать я, — ты, значит, зарубила книгу председателя Литфонда?

— А она русофобская! — вздернула голову Алена.

— Понятно, — посмотрел я на Георгия Афанасьевича. — Странно, что вам вообще что-то выделили.

— Он ветеран войны! — сказала Алена.

— Ну да, ну да, — покивал я головой. — Могла бы и «Домостроем» ограничиться.

— Не могла!

Я догадывался о строптивости своей жены, но не предполагал, что болезнь настолько запущена.

— Я напишу заявление, чтобы мастерскую переоформили на тебя, — примирительно сказал тесть.

Он не любил, когда мы с Аленой ссорились.

И тем не менее, я внял совету Сафонова и отправился в Литфонд с собственным заявлением. Там его приняли, хотя и неохотно.

— Больно молод, — сказал сотрудник, расписываясь в нижнем углу листка с заявлением.

— Это быстро проходит, — сказал я.

— Правильно! — хохотнул он. — В принципе, уже рабочий день заканчивается.

— Айда в ЦДЛ, — понял я его.

В Доме литераторов мы выпили по сто пятьдесят, и сотрудник твердо пообещал, что мое заявление рассмотрят на ближайшем заседании жилищной комиссии.

— Молодым тоже жить надо, — сказал он.

Я заказал еще две рюмки водки.

— Последняя, — строго посмотрел он на меня. — Знаешь, сколько вашего брата ко мне ходит?

— Много, — кивнул я. — Вам за вредность не платят?

— Нет, — вздохнул он. — Давай еще по пивку — и домой.

Мы разошлись, и недели через две мне позвонили из Литфонда.

— Приходите разбираться, на кого оформлять документы, — сказала женщина. — Ежемесячная оплата — шестьдесят рублей.

— Сколько?! — изумился я.

— Но ведь там буфет, свежее белье и машина до станции, — тоже обиделась женщина. — А некоторых и на рынок возят.

— Тогда ладно, — сдался я.

И мы вместо рыбалки поехали во Внуково.

«А неплохо живут писатели, — думал я, знакомясь с поселком. — Отсюда и уезжать не захочется».

Смысла уезжать из поселка в Москву действительно не было никакого. Коттеджи убирались женщинами, приходившими из соседней деревни Абабуровки. Котельную топил Николай Иванович, местный философ. Кастелянша

Алла Петровна по четвергам выдавала белье. Но центром внуковской писательской жизни был, конечно, буфет.

И дело даже не в том, что буфет был завален дефицитом — колбасами, осетриной, ящиками с чешским пивом. Нина Степановна, буфетчица, с первого взгляда определяла цену писателя, стоящего в очереди. Читать она никого из них не читала, но откуда-то знала, что этот стоит одну бутылку чешского, вот тот — три, а секретарь, предположим, парткома — целый ящик.

— И ведь никто ей ничего не говорил! — удивлялся прозаик Георгиев, все его по-свойски звали Жорой. — Откуда она знает, что Кочетков в парткоме?

— По нашим с тобой разговорам, — отвечал ему поэт Ваншенкин. — Пойдем лучше коньячку выпьем.

Они садились за застланный белоснежной скатертью столик и принимались пить коньячок. Константин Яковлевич действительно любил жизнь, и она отвечала ему взаимностью.

Меня Нина Степановна оценила в три бутылки чешского пива. Жоре выдавала все шесть.

— Некоторым и одной не дает, — пожала плечами Алена, когда я пожаловался на дискриминацию.

— Не дает только писательским женам, — сказал я. — Точнее, сожительницам. Попробовала бы она Жориной Лене не дать.

Георгиева, кстати, дразнили «Мысленкой». Каждую фразу он начинал: «Мы с Ленкой…» При этом он заглядывался и на чужих жен, за что получал втык от Ленки. От нее нельзя было скрыть самые ничтожные амурные поползновения. Жора, правда, и не пытался этого делать.

Алена на мои слова о сожительницах не отреагировала. Как я понял несколько позже, тема писательских жен и сожительниц была довольно скользкая. Писатели, как, впрочем, и представители других творческих профессий, жен меняли охотно. Но последствия этих разменов не всегда радовали самих творцов, не говоря уж об окружающих.

Нина Степановна, как мне представляется, очень точно определяла степень близости той или иной женщины к писательскому телу.

— А тебе сколько бутылок в прошлый раз Нина дала? — спросил я.

— Три.

Ну что ж, три так три. Это была красная цена моего писательского «ego» и «alterego».

Внуковские квартирки — две комнаты и кухонька — хоромами назвать было трудно, однако мы и им были рады. К тому же, в коттеджах были просторные холлы, в которых кроме холодильников стояли телевизоры, диваны и кресла. Писательские жены смотрели здесь фильмы, пили чай и судачили. Мне иной раз удавалось посмотреть футбол.

Моим непосредственным соседом по второму этажу был писатель Файзилов, что придавало проживанию здесь дополнительный колорит.

Я смотрел в холле матч между «Спартаком» и «Динамо». Из квартиры Файзиловых доносился стук пишущей машинки. В какой-то момент стук прекратился, и Файзилов вышел в холл.

— Кто играет? — громко спросил он, всматриваясь в экран телевизора.

— «Спартак» и «Динамо», — сказал я.

— «Спартак» — это синие? — все так же громко вопросил Файзилов.

— «Спартак» — это красные, — ответил я.

— Какой счет?

— Один — ноль.

— У вас водка есть?

— Есть, — посмотрел я на холодильник.

— По рюмочке?

— С удовольствием.

Надо сказать, Файзилов был одним из немногих писателей, кто действительно писал в Доме творчества. Я ему завидовал, но продолжал смотреть футбол, ходить в лес по грибы и даже рыбачить.

Кстати, Нина Степановна оценивала Файзилова в те же три бутылки чешского пива, что и меня. Это было несправедливо.

— А она на Лубянке работала, — сказал Георгиев, когда я высказал ему свое недоумение.

— И что?

— У лубянских свой взгляд на происходящее. Они даже Сталина ни в грош не ставили.

— Не может быть!

— Точно. Поэтому он их всех и расстрелял в тридцать седьмом. Заодно с другими отцами-командирами. Эй, куда?!

Жора ломанулся в кусты за сеттером, который вечно лез не туда, куда надо.

— А у него все собаки дурковатые, — сказал поэт Константинов, который сидел на скамейке возле буфета и грыз орехи. Его во Внуково звали Старшиной.

— Почему?

— Потому что с охотничьей собакой надо на охоту ходить, а не по кустам шастать. Хуже порченой собаки только Цыбин.

Я знал, что Старшина Цыбина не любил. У того во Внуково была собственная дача, не литфондовская, и это могло вывести из себя кого угодно.

Итак, мы с женой вошли в квартиру номер десять во втором коттедже. «Вот он, дом, который тебе предстоит обустроить», — подумал я.

Алена будто подслушала мои мысли.

— В спальне сдвигаем кровати, — сказала она, — в кабинете меняем занавески, а в кухне электроплиту.

— Зачем нужно сдвигать кровати? — почесал я затылок.

— Затем, — сдвинула она бровки.

Я уже знал, что со сдвинутыми бровями жены лучше не спорить.

— Ладно, — сказал я. — Но пить кофе в холле с чужими женами я не буду.

— Не пей.

И мы стали жить во Внуково.

4

Очень скоро я узнал, что внуковские окрестности просто-таки напитаны литературой. Если в усадьбе Абрикосова сия госпожа присутствовала, скажем так, условно, то в окрестных особняках, домах и домишках она проживала вполне полноценно. Даже улицы в деревне Абабуровка, откуда вышла вся прислуга прежних и нынешних господ, назывались Литературная, Гоголя, Герцена и Ломоносова. И на одной из этих улиц располагался участок Гайдара. Я уж не знаю, сам Аркадий его купил или сын Тимур, но на участке стояли три дома, и друг другу эти дома не мешали. Классики советской литературы, пусть и детской, любили жить просторно.

Наши творческие мастерские размещались на улице Некрасова. Лично я с большим удовольствием проживал бы на улице Гоголя, однако и Некрасов не последний поэт. Он знал, кому живется весело, вольготно на Руси.

Кроме творческих мастерских у нас на Некрасова были дачи Твардовского, Исаковского и Погодина. Причем это были настоящие дачи, по гектару каждая. В глубине заросших лесом участков угадывались очертания деревянных строений, кое-где еще сохранивших черты былого великолепия. Например, дом на участке балерины Лепешинской был настоящим русским теремом. Может быть, его темные бревна были уже изрядно источены короедом, но издали дом смотрелся весьма живописно. Позже участок Лепешинской купил какой-то тележурналист, и терем исчез, а на его месте появился типовой американский особняк.

А вот дом на участке Попова, первого московского мэра, выглядел как сарай. Но у этой дачи была своя история.

По иронии судьбы Гавриил Попов купил эту дачу у другого Попова — Серафимовича. И все в округе стали говорить, что наш мэр внебрачный сын этого самого Серафимовича.

— Вчера он меня в канаву спихнул, — как-то пожаловался мне Иванченко, сосед с первого этажа.

— Внебрачный сын? — хмыкнул я. — Зато теперь вы смело можете говорить, что вас смыло железным потоком.

— «Волгой» меня смыло! — обиделся Вячеслав Иванович. — Иду спокойно по дороге, и вдруг бац в задницу. Я носом в канаву. Гаврила выскочил из машины, помог подняться. Полчаса извинялся.

— Не заметил вас на дороге?

Надо сказать, не заметить Иванченко на дороге было трудно.

— Говорит, на льду занесло.

— Тяжелая машина, — сказал я.

— Машина хорошая, водитель плохой, — согласился Иванченко. — Слушай, не пойдешь ко мне в ревкомиссию?

— Куда?! — оторопел я.

— В Ревизионную комиссию Союза писателей России. Ротация намечается.

— А что в ней надо делать?

— Ну, что… Проверять документацию. Тяжелые времена для писателей наступают.

Лично я эту тяжесть в своей жизни пока не замечал. Но старшие товарищи лучше знают, что за времена на дворе. Как сказал один из них, «времена не выбирают, в них живут и умирают». И я никогда не слышал, чтобы эти времена были легкими.

— Пойду, — сказал я. — В комиссии лучше состоять, чем ею рассматриваться.

— Точно! — засмеялся Иванченко. — Прямо на завтрашнем заседании мы тебя и введем.

— Слава! — послышался голос Люды, жены Иванченко. — Поди-ка сюда.

Слава ушел, а я отправился в лес, начинавшийся прямо за воротами поселка. Для меня он был не меньшим благом, чем сама дача.

Я родился в полесской глуши, и в любом лесу чувствовал себя гораздо увереннее, чем на городской улице. Здесь мне легче дышалось, яснее думалось, ярче виделось. Иногда мне даже казалось, что я понимал язык трав и деревьев. Впрочем, как и говор реки, которая готова беседовать с тобой сутки напролет и в любую погоду.

Оказалось, что внуковский лес еще совсем недавно был настоящим. В нем встречались кабаний помет и лежки. Не очень далеко от поселка я обнаружил загон и вышку для охоты на лося. Их, конечно, уже не использовали по предназначению, однако бревна загона были довольно крепкие, а на вышку можно было взобраться по лестнице. Стало быть, не так давно по этому лесу бродили лоси.

Ранней весной мне на глаза попался крупный заяц. Он был наполовину беляк, наполовину русак и полностью соответствовал поговорке «здоров, как старый заяц весной». Заяц тяжело прыгал по просеке метрах в двадцати от меня, и я легко мог бы его догнать. Но зачем писателю заяц? Я поглазел на него и пошел на лыжах дальше.

Кстати, заячьих следов на снегу в поселке было полно. Пропали они в середине девяностых. В те годы многое в Подмосковье пропало, как и во всей стране.

Однажды на просеке прямо на меня из леса выскочила лиса. Она была худовата, но вида вполне здорового. Судя по размерам, это был скорее лис, чем лиса. Он коротко глянул на меня и сиганул в лес через просеку. Тут же из кустов вывалились две тяжело дышащие собаки. Это были крупные псы, породистые, один с короткой шерстью, второй с длинной. На обоих ошейники. Было видно, что гнались они за лисом давно. Короткошерстный пес рыкнул и снова бросился в гущу леса. Длинношерстный протяжно зевнул и сел у моих ног. Весь его вид говорил, что в лес он больше ни ногой.

— Со мной пойдешь? — спросил я.

Пес кивнул.

— А живешь где?

Пес стал выкусывать на животе блох.

Он проводил меня до ворот поселка и исчез.

Да, лес здесь еще был похож на настоящий. Позже я узнал, что именно в этом лесу провел несколько дней Александр Фадеев. В воспоминаниях «В июне 1954 года» критик-конструктивист Корнелий Зелинский написал, что незадолго до самоубийства Фадеев пришел на дачу Бубеннова во Внуково. Он сбежал от жены из Переделкино и несколько суток ночевал в лесу, слушая шум деревьев и лай собак в далеком жилье. Денег у него было мало, и он выпивал двести граммов в день, закусывая хлебом с луком. «Я бродил по лесу, два-три раза в день возвращаясь в «забегаловку», — рассказывал Фадеев Бубеннову. — Я наслаждался дыханием самого леса, которое меня возвращало к моим скитаниям по тайге в годы моей партизанской юности на Дальнем Востоке. Я дышал полной грудью, и чувство безвестности, чувство того, что сейчас никто не знает, где я и кто я, вылилось в счастливое чувство свободы, независимости».

А потом он вернулся в Переделкино, достал из тумбочки пистолет и застрелился. Рядом с собой на столике у кровати Фадеев поставил портрет Сталина.

Лес лесом, но подлинными достопримечательностями внуковских окрестностей были все же дачи. Абрикосовская, как я уже говорил, появилась у деревни Изварино еще до революции. Советская творческая интеллигенция стала заселять эти места в тридцатые годы. Вероятно, этот процесс происходил одновременно во Внуково и Переделкино, но о переделкинских небожителях страна знала гораздо больше, чем о внуковских. Объясняется это очень просто — там жили писатели, публика тщеславная и плодовитая. Денно и нощно они описывали свои дачные дрязги и склоки, а обыватели усердно распространяли их. Взять хотя бы историю о Чуковском и Катаеве.

Киношная группа приехала в Переделкино снимать дедушку Корнея. Все понимали, что запись на природе выгодно отличается от съемки в квартире. Корней Иванович рассказал об усатом Тараканище, Мухе-цокотухе, бегемоте, застрявшем в болоте. Киношники закончили съемку, свернули аппаратуру и вышли на улицу.

— Хорошо у них в Переделкино! — сказал режиссер, потягиваясь. — Птички поют. Пиши себе и ни о чем не думай.

Он вдруг увидел пионерку, которая шла в их сторону по улице. Это была замечательная девочка, с белым бантом на голове, алым галстуком на груди и красными сандалиями на крепких ножках.

— Давайте запишем девочку, — распорядился он. — Пусть скажет, как она любит дедушку Корнея.

Оператор включил камеру.

— Ты знаешь, кто такой Корней Чуковский? — спросил режиссер, протягивая к девочке микрофон.

— Знаю! — громко ответила пионерка, глядя на него ясными глазами. — Это очень плохой писатель!

Микрофон выпал из рук режиссера. Девочка проследовала по улице дальше. Режиссер не поленился и еще раз сходил к Чуковскому.

— Это внучка Катаева… — потупил глаза классик.

В этом эпизоде отразилась вся жизнь переделкинских писателей. Любили они друг друга истово.

Иное дело внуковские дачи. Писателей среди их насельников было ничтожное меньшинство, да и жили они на выселках, за оврагом. А перед оврагом, на лучших участках, проживала музыкально-актерская элита. Александров и Орлова, Утесов, Соловьев-Седой, Образцов, Лебедев-Кумач, Лепешинская, Быстрицкая…

Жизнь на этих дачах протекала насыщенная, но не столь явленная напоказ, как в Переделкино. В воспоминаниях племянницы Любови Орловой я прочитал, что внуковские дачники недолюбливали переделкинских. На посиделках, что регулярно устраивали Александров и Орлова, к примеру, распевали песню, в которой были слова: «Но известно всем давно Переделкино хваленое перед Внуковом г…о!»

«Ага, — думал я, читая эти строки, — наши тоже были не лыком шиты. Придет время — и мы напишем».

А время в середине восьмидесятых никуда не спешило. Где-то вдали погромыхивали раскаты Третьей мировой войны, но простых граждан это не пугало. Им, гражданам, еще нечего было терять. Советские люди поголовно были атеисты, однако отчего-то верили, что за пазухой у них припрятаны две, а то и три запасные жизни. В голове варилась каша из смеси безверия и православия, над которыми главенствовали догматы буддизма. Впрочем, граждане об этом не подозревали и готовились летом съездить куда-нибудь в Крым.

— Коктебель очень хорошее место, — говорил я жене.

— В Пицунде условия лучше, — отвечала Алена.

— А климат?

Климат был лучше в Коктебеле. Перед нами вставала почти неразрешимая задача.

— Куда едут Файзиловы? — спросил я после паузы.

— В Коктебель.

Вопрос разрешился.

— Файзилов! — донесся с улицы зычный голос Люды Иванченко.

Стук пишущей машинки прекратился, на балкон вышел писатель.

— Сандрик сидит в песочнице и ест песок! — доложила Люда.

— Сандрик, не ешь песочек! — не менее зычно распорядился Файзилов и ушел стучать на машинке дальше.

— Ну, и что делать? — посмотрела на нас Люда.

— Скажи Кате, чтоб она не позволяла ему есть песок, — сказал я.

Сандрик и Катя были ровесники, но кто из них главнее, было непонятно.

— А где Таня? — спросила Алена.

— Уехала на рынок, — фыркнула Люда.

Сегодня была суббота, когда писательские жены отправлялись на рафике на рынок. Люда и Алена, как я понял, эту поездку проспали.

— Айда по грибы, — предложил я. — Жора говорит, белые пошли.

Мы с Георгиевым соревновались, кто больше принесет белых. Пока счет был семь — пять в его пользу. Однако в ту осень всех победил художник Валера, сожитель Топорковой из первого коттеджа. Однажды он прибежал из леса с выпученными глазами. В руках он держал рубашку, завязанную наподобие торбы, и в ней было десятка три боровиков.

— Присел за одним — а там их видимо-невидимо! — рассказывал, заикаясь, Валера. — Второй раз в жизни пошел в лес!

— Дуракам везет, — сказал Жора и удалился, насвистывая, в сторону буфета.

— А я за орехами хожу, — хохотнул Старшина, сидевший по обыкновению на скамейке у песочницы. — Вишь, сколько?

Он показал мешочек с орехами.

Пару часов назад на выходе из леса мне на глаза попался Цыбин с тачкой, полной камней. Он строил баню и собирал возле речки камни для парной.

— Старшину видел? — спросил он.

— Нет, — сказал я.

— Держись от него подальше. Страшный человек!

Старшина, как и Цыбин, казались мне милейшими людьми, но сказать об этом я не мог ни тому, ни другому.

— И в буфет с ним не ходи! — крикнул мне вдогонку Цыбин.

— Почему?

— От его взгляда продукты портятся.

Как раз сегодня в буфет завезли осетрину. Интересно, какова она будет завтра? Старшина уже навестил буфет. Меня утешало лишь то, что оба поэта не собирали грибы.

5

Как ни заняты мы были квартирой во Внуково, на машине все же ездили. Прежде всего, надо было уважить тестя.

Я, Алена и Георгий Афанасьевич садились поутру в машину и отправлялись куда глаза глядят. Чаще всего получалось на юг.

— Давай здесь свернем, — предлагал тесть. — Вон река видна.

— Что за река? — послушно сворачивал я с дороги.

Жена водила по карте пальцем и объявляла: Протва.

— Хорошая река, — кивал Георгий Афанасьевич.

Я молчал. Мое дело было крутить баранку.

Но Протва и в самом деле оказалась хорошей рекой.

Мы доехали до одинокой груши на пригорке, оставили под ней машину и спустились к реке. Тесть стал доставать из ящика коробочки с горохом, перловкой, тестом. В отличие от меня, он был настоящим рыбаком: мастерил удочки, загибал крючки, нарезал из свинцовых пластин грузила, варил для наживки крупы. У меня была одна наживка — червяк.

Я наживил подлистника и тут же вытащил плотвицу.

— Клюет! — обрадовалась Алена.

— Здесь нет рыбы, — сказал деревенский мужик, стоявший на противоположном берегу.

— Местный? — посмотрел на него Георгий Афанасьевич.

— Я тут всю жизнь живу — никакой рыбы, — сел на корточки мужик. — Одни головастики.

— А мы сейчас поймаем, — усмехнулся тесть и тут же вытащил плотвичку.

— Разве это рыба? — стоял на своем мужик. — За щукой надо на озеро ехать.

— Далеко озеро? — спросил я.

— Там, — махнул рукой мужик. — Не, нету рыбы, видишь, утки плавают? Даже коту ничего не поймаешь.

Я пустил наживку по стремнине. Поплавок скакнул на бурунчиках и пропал. Я подсек и почувствовал, что взялось что-то приличное.

— Не торопись, — сказал Георгий Афанасьевич, — вываживай потихоньку.

Я стал выводить рыбу на песчаную отмель, но все же не выдержал и рывком выбросил ее на берег.

— Голавлик, — сказал Георгий Афанасьевич.

— Чего поймали? — крикнул мужик.

Я показал голавля.

— Дак у вас удочки, — закурил мужик. — А у нас ни у кого не ловится.

— А ты пробовал? — спросил Георгий Афанасьевич.

— И прошлый год пробовал, и запрошлый. Бреднем надо протянуть, тогда поймаешь. Удочками одни москвичи машут.

— Сколько тебе рыбы надо? — поинтересовался я.

— Ну, хоть бы мешок, — бросил в воду окурок мужик. — Так-то любой пацан может.

Он поднялся и ушел. Мы с Георгием Афанасьевичем стали ловить дальше. Но голавли больше не брали, одни плотвички.

— Не любит наш народ ловить удочками, — сказал тесть. — Да и с бреднем не больно ходят. Взрывчатку им подавай.

— Тяжелое наследие войны, — кивнул я.

— При чем здесь война? — покосился на меня Георгий Афанасьевич.

— Мы тоже снаряды в костер кидали, — вздохнул я. — Двух одноклассников убило. У нас эти снаряды в каждом лесу валяются…

Тесть крякнул и ушел ловить в другое место.

Как и всякий фронтовик, он не любил говорить о войне. Тем более, почти два года был в Эстонии в плену.

— За это его сутки на Лубянке держали! — призналась мне Алена.

— Допрашивали?

— Приехали к нам в Харитоньевский на «воронке» и увезли. Маме сказали, чтоб не волновалась.

— Да, у тебя мужа, можно сказать, на расстрел увозят, а ты не волнуйся! — хмыкнул я.

— Сутки не было папы, мама вся извелась. Ночью, правда, он звонил каждый час.

— Кто звонил?

— Папа! — удивилась жена. — Следователь ему сам напоминал: звоните и говорите, что у вас все в порядке.

— Ничего себе допрос! — снова хмыкнул я. — И о чем они беседовали?

— О партизанском отряде. Папа из плена к партизанам бежал. Пока был в лагере, выучил эстонский язык и приручил овчарку. Когда за ними гнались с собаками, она его не тронула.

— Узнала?

— В лагере он бросал собаке палку, та ее хватала и уносила к охраннику. В лесу тоже схватила палку и убежала.

— А на Лубянке?

— Там он подтверждал сведения о партизанах. Папа воевал в отряде Русина.

— Кто такой Русин?

— Сейчас секретарь обкома в Грозном. А тогда был командиром партизанского отряда. Когда папа работал в Союзе писателей консультантом по Северному Кавказу, они с Русиным часто встречались.

— Ишь, как людей судьба сводит, — сказал я. — Сначала воевали вместе, потом работали. В партии он восстановился?

— Нет, — покачала головой Алена. — Ему предлагали подать заявление, но он отказался.

И тем не менее, тесть работал не на последних должностях в Союзе писателей. Но, правда, и не на первых. Там Марков, Михалков, Бондарев. Тоже фронтовики, но с партбилетами. Да и партизаны все-таки отличались от бойцов действующей армии. Мне как белорусу это было хорошо известно.

— Значит, отпустили его с Лубянки? — после паузы спросил я.

— Через сутки. Нам, правда, про Лубянку он почти ничего не рассказывал. Наверное, подписку давал.

Я на Лубянке не бывал, поэтому не знал, по подписке молчат ее посетители или просто так. Внешне Лубянка выглядела впечатляюще. Но так и должен смотреться один из самых уважаемых органов власти.

— Твой брат тоже на Лубянке работает? — спросил я.

— Он связист! — оскорбилась Алена.

— А в каком чине?

— Майор.

В табели о рангах майор, с моей точки зрения, не так далеко ушел от лейтенанта запаса, каковым я в этой табели числился, волноваться было не о чем. К тому же, я знал, кем в нашей стране были писатели, даже самые захудалые.

По одной из легенд, во множестве гуляющих по кухням советских интеллигентов, после учреждения Союза писателей к Сталину пришли товарищи, которые отвечали за распределение пайков среди руководства страны.

— Товарищ генеральный секретарь! — якобы обратился к Сталину главный распорядитель. — По какой категории будем отоваривать товарищей писателей?

Сталин пососал трубку. Он всегда ее сосал при обсуждении сложного вопроса.

— Писатель — это идеологический работник, — вынул трубку изо рта Сталин. — А идеологический работник — это, как минимум, полковник. Значит, и паек ему положен полковничий.

С этого момента у советских писателей появились приличные гонорары, квартиры, дачи, путевки в Дома творчества. Лучшие из них, вроде Демьяна Бедного, жили в самом Кремле. В Минске Кремля не было, поэтому классики белорусской литературы получали жилье на Ленинском проспекте. Но поскольку Москва была все же имперской столицей, писатели в ней обитали и в Доме на набережной, и в высотках со шпилями, и в особняках, отобранных у Рябушинского, Морозова или Мамонтова. В Москве, слава богу, было где жить.

Но прежде чем поселиться во всех этих местах, писателем надо было стать, а эта задача не всем оказывалась по плечу. Я приемную комиссию Союза писателей проскочил с первого раза и был не очень хорошо знаком с радостями вступления. А вот некоторые из коллег их вкусили сполна.

Наума Цимеса, например, зарубили на той же комиссии, на которой приняли меня.

— Вступил? — подошел ко мне Наум, когда мы с Адольфом Твороновичем и Иваном Мельниковым обсуждали проблему застолья.

Заранее покупать водку для застолья было нельзя. Тебя могли и не принять, хотя сам ты, конечно, знал цену себе и своим товарищам. Но случалось всякое, и даже гении не являлись на заседание приемной комиссии с бутылкой в кармане. «Успеем, — думали гении, — не говори гоп, пока не перепрыгнешь».

И вот они перепрыгивали, и выяснялось, что на столе ничего нет. А товарищи, и особенно те, кто давал тебе рекомендацию в Союз, уже стояли неподалеку и с удивлением рассматривали пустой стол. Никакие приметы их в этот момент не волновали. «Где водка? — изумлялись они. — Где колбаса или хотя бы селедка с соленым огурцом? Зря, совершенно зря писал я тебе рекомендацию, дорогой…»

— Сколько брать? — смотрел на нас страдальчески Адольф. — Хлопцы, сколько брать водки? Наум, ты с нами? Тогда надо бутылок пять…

— Меня не приняли, — отчеканил Наум. — Между прочим, уже в третий раз!

— Да ну?! — вытаращились на него мы, хотя прекрасно знали, что именно Цимеса в Союз не приняли.

— Да! — с вызовом сказал Наум. — Имя у меня не то!

— У Адольфа то, — хмыкнул я.

Теперь все мы уставились на Адольфа.

— В детстве сильно били? — спросил я, понизив голос.

Адольф потупился. Чувствовалось, я наступил на самую больную его мозоль.

— Сам бы попробовал, — сказал Иван.

Они с Адольфом были старше меня лет на десять и хорошо знали, каково быть Адольфом в белорусской глубинке сразу после войны. Да я и сам догадывался.

— И как это тебя угораздило… — положил я руку на плечо Адольфу.

— Так ведь нас трое братьев было, — вздохнул тот. — Иосиф, Адольф и…

— Уинстон! — встрял Наум.

— Сам ты Уинстон, — посмотрел на него Адольф. — Франк! Иосиф Сталин, Адольф Гитлер и Франклин Рузвельт. Отец политикой интересовался. А мы все как раз перед войной родились.

— Ну да, — кивнул я, — вместе с пактом Молотова—Риббентропа. Тогда любого могли Адольфом назвать.

— Любого не любого, — пробормотал Наум, — а у нас Адольфов не было.

— Вот тебя и не приняли в Союз! — заржал Иван.

— В другой раз примут, — одернул я Мельникова.

Он был поэтом, а поэтам многое прощалось, в том числе слабое знание истории.

Но следует сказать, что Цимеса в Союз писателей не приняли ни в другой раз, ни во все последующие. Он регулярно подавал заявления в приемную комиссию и так же регулярно получал черные шары при тайном голосовании.

— Опять? — участливо спрашивал я, встретив Наума на Ленинском проспекте. Все случайные встречи в Минске происходили только на Ленинском.

— Сказали, в следующий раз примут, — вздыхал Наум. — Издам новую книгу — и вступлю.

— А зачем тебе Союз? — на всякий случай интересовался я.

— Из принципа! — горделиво вздергивал голову Наум. — Писал бы я на белорусском, небось, приняли бы.

— Непременно, — соглашался я.

Хотя и здесь у меня были сомнения. Во-первых, не таким простым делом было выучить белорусский язык. Во-вторых, качество прозы Наума не сильно зависело от языка.

Шли годы. Грянула перестройка, за ней развалился Советский Союз. Наум, получив свободу передвижения, убыл на постоянное место жительства в Германию. В этой стране уважали людей, пострадавших от холокоста. Сам Наум от холокоста не страдал, но косвенно к нему был причастен.

Из Германии Цимес прислал в Союз писателей Беларуси заявление, чтобы его все-таки приняли в этот Союз. «В новой стране мы должны освободиться от химер прошлого», — написал он. Однако теперь Наума не приняли по формальному признаку — он не был гражданином Беларуси.

Совсем недавно я встретил Наума в редакции одного из минских журналов. Он прилетел из Франкфурта-на-Майне, я прикатил из Москвы, и мы, как истинные эмигранты, обнялись и расцеловались.

— Опять не приняли?! — поразился я, уловив оттенок скорбной тоски во взгляде Наума.

— Нет, — повесил он голову.

— Да этот Союз уже никому не нужен! — вскричал я. — Даже гонорары не платят, не говоря о творческих командировках.

— В этом журнале платят, — тихо сказал Наум.

— Небольшие, — оторвал глаза от рукописи один из редакторов журнала, издающегося, между прочим, на русском языке.

— Наум, это рок! — положил я руку на плечо соратнику по перу. — А противостоять року человек не в силах.

— Ты уверен?.. — прошептал Наум.

На его черные навыкате глаза навернулись слезы.

— На все сто, — проглотил я комок в горле. — Да и толку, что нас тогда приняли. Ни Адольфа, ни Ивана уже нет с нами. А ты живешь…

Я хотел намекнуть Науму, что жизненные невзгоды его закалили и он еще покажет своим недругам кузькину мать.

— У меня в Германии скоро выйдет книга, — сказал Наум, — и я вступлю в местное литобъединение. Там много русскоязычных.

— Вступай, — покорился я.

6

Поселившись во Внуково, я понял, что здесь живут писатели, может быть, не первого ряда, но и не последнего.

В первом коттедже, например, проживали поэты Виктор Кочетков, Екатерина Шевелева и Анатолий Преловский, а также прозаики Николай Никольский и Лазарь Карелин. Кочетков был парторгом, Никольский Героем Советского Союза, а Шевелева подругой кремлевских властителей. По словам последней, она запросто входила в кабинеты не только обычных секретарей ЦК, но и Брежнева.

— Вашего Машерова я тоже знала, — сказала она мне.

— Он погиб в автокатастрофе, — кивнул я.

— Это была не простая автокатастрофа, — усмехнулась баба Катя.

— Диверсия? — удивился я.

— Конечно.

Возможно, я до сего дня пребывал бы в уверенности, что Машерова действительно убрали с дороги кремлевские кукловоды, если бы не знакомство с композитором Лученком. Его соседом по даче был второй секретарь ЦК Компартии Белоруссии Кузьмин.

— Который с Машеровым работал? — вспомнил я.

— Тот самый, — сказал Лученок. — Сейчас на пенсии, но по-прежнему большой человек.

— Он тоже считает, что Машерова убили?

— Пусть сам расскажет.

Игорь Михайлович позвонил по телефону, и мы направились к дому на соседнем участке.

Дом даже отдаленно не походил на царские хоромы. И даже не на царские.

— Скромно живут бывшие секретари, — сказал я.

Лученок промолчал.

Кузьмин был высок, строг и вальяжен. Даже сейчас было видно, что это настоящий коммунист-идеолог из когорты Суслова. Белорусские писатели его хорошо знали. Да и не писатели тоже.

Александр Трифонович встретил нас на пороге и провел к большому столу в гостиной. Хозяйка торопливо расставляла на столе тарелки с солеными грибами, огурцами и помидорами. На разделочной доске лежало тонко нарезанное сало.

«Мастерская работа», — подумал я.

— Прошу садиться, — достал из холодильника бутылку водки Александр Трифонович. — Вас интересует гибель Машерова?

— Вот его! — показал на меня пальцем Лученок.

— Не было никакой диверсии, — сразу взял быка за рога Кузьмин. — В восемь часов пятнадцать минут того дня у нас была рабочая планерка. На ней присутствовали Машеров, я и управляющий делами. Утвердили план мероприятий на день, и Петр Миронович сказал, что хочет съездить в Смолевичи, давно, мол, там не был. Он сел в машину и уехал, а я и управделами разошлись по своим кабинетам.

— Значит, никто не знал, что он туда поедет? — спросил Лученок.

— Никто. Кроме нас двоих, конечно. Но вы ведь не думаете, что…

— Не думаем, — хором сказали мы с Лученком.

Кузьмин разлил водку по рюмкам, мы выпили.

— Таким образом, подстроить эту аварию никто не мог, — строго посмотрел на меня Александр Трифонович. — Тем более, спецслужбы. Мы бы о них знали.

Я кивнул. ЦК Компартии тогда действительно знал все.

Мы еще выпили по рюмке и разошлись.

— Хороший сосед, — сказал Лученок. — У меня с ним никаких конфликтов.

— Вероятно, он и с Машеровым не конфликтовал, — согласился я.

…Но самым загадочным жильцом первого коттеджа во Внуково была все же не баба Катя. Ее роль подруги первых лиц государства закончилась с развалом СССР. В последние годы она мирно собирала в нашем лесу подберезовики, причем получалось это у нее весьма неплохо.

— Вы когда-нибудь видели во Внуково Карелина? — как-то спросил я Вячеслава Иванченко.

— Нет, — покачал он головой. — Иногда дочка с внуком живут.

Это я и сам знал. Внук Сашка устраивал в своем коттедже представления, за которые пытался содрать с внуковских жильцов деньги. Но писатели народ тертый. Смотреть они соглашались, платить отказывались.

Так вот, Карелина во Внуково я не видел ни разу. Впрочем, вторым таким же писателем-фантомом был и Овидий Горчаков из четвертого коттеджа. Но к Горчакову претензий было все-таки меньше. В его квартире постоянно жили жена Олеся и внучки Катя и Соня. У нас их звали Катисонами по аналогии с патиссонами. Причем внучки обещали стать хорошенькими особами, что впоследствии и случилось.

— Так мы тезки? — подошел я к Олесе в буфете.

— Нет, — засмеялась она.

— Но ведь Олеся.

— На самом деле я Аэлла, а Олесей стала под старость.

— Красивое имя, — отчего-то смутился я.

— Родители наградили, — вздохнула Олеся. — Но очень долго приходится объяснять, что такое Аэлла.

— И что это?

— Наверное, что-то вроде Аэлиты.

— Н-да, с именами иногда бывает, — согласился я.

Олеся мне нравилась. В принципе, почти у всех внуковских писателей жены были красавицы, даже у Стекловского. Но Олеся и на их фоне выделялась умом, тактом и живостью.

А вот со Стекловским, жившим прямо подо мной, все было не так просто. Да, его Лида была хороша, но сам Игорь Иванович чаще всего оказывался несносен.

Чуть ли не в первую же ночь во Внуково меня разбудил громкий стук в дверь.

— Что-то случилось, — сказал я жене и пошел открывать.

На пороге стоял Стекловский.

— Алесь, я хочу прочитать вам стихи, которые только что написал! — заявил он.

— А который час?

Спросонья я ничего не понимал.

— Около четырех, но это неважно. Слушайте!

— Я стихи на слух не воспринимаю! — остановил я его. — Вы можете показать мне напечатанный текст?

— Хорошо, сейчас принесу.

Стекловский исчез.

— Он всегда читает стихи соседям в четыре утра? — спросил я Алену.

— Наверное, только новеньким. Искандеров он ведь не будил?

— Нет.

Мы залезли в постель, но сон уже не шел.

— Скорее всего, дело в том, что мы земляки, — сказал я. — Землякам многое позволяется.

— Ты с ним и пить будешь?! — ужаснулась жена.

— Нет, пить — это слишком, — пробормотал я. — Да и не похож он на пьющего.

Около пяти утра в дверь снова забарабанили.

— Кошмар! — укрылась одеялом с головой Алена.

Я открыл дверь. Игорь Иванович сунул мне в руки листок.

— Сейчас можете прочитать? — спросил он.

— Сейчас не могу, — сказал я. — Надо осмыслить.

— Звонить лучше после обеда! — крикнул мне вдогонку Стекловский. — До обеда я сплю.

— Он много пишет? — сел я рядом с женой.

— По-моему, не очень, — высунула она голову из-под одеяла. — Поэтов не поймешь, когда они пишут и зачем.

— И как с ним Лида живет…

— Ночевать она уезжает в Москву.

— Откуда ты знаешь?

— Люда Иванченко сказала.

Это было похоже на правду. Даже жена Достоевского не стала бы слушать написанное мужем в четыре утра. Не говоря уж о Софье Андреевне Толстой.

— Теперь ты видишь, что за писатель тебе достался? — спросил я Алену. — Цены мне нету.

Мы обнялись и уснули.

Но вскоре я привык и к Стекловскому. Мы подолгу обсуждали с ним особенности рыбалки на северных реках и сбора грибов в окрестных лесах. Во втором случае знания Стекловского были чисто теоретические, и тем не менее, последнее слово всегда оставалось за ним.

В третьем коттедже кроме Жоры и Старшины жили прозаики Шундик и Антропов, переводчик Хелемский и детский писатель Шим. Впрочем, Шим проходил скорее по ведомству Георгия Маркова, председателя Союза писателей СССР. Очень скоро коллеги рассказали мне, что Эдуард Шим писал сценарии по творениям Маркова. Отсюда, мол, и дача, и поездки, и прочие милости.

— Но дачу и мне дали, — сказал я.

— Ты — исключение, — объяснил мне Иванченко. — Я тебя и в ревизионную комиссию взял, потому что молодой. Для галочки нужен. Да и проголосуешь как надо.

Я молча согласился с ним.

— А Эдик немец, — продолжал ревизор. — Настоящая его фамилия Шмидт.

Эта фамилия была мне знакома. В Речице одним из моих одноклассников был Юра Шмидт. Изредка его поколачивали за немецкое происхождение, хотя парень он был на редкость воспитанный и смышленый.

— Шмидты исполнительные, — сказал я.

— Так ведь немцы! — поднял вверх указательный палец Иванченко. — На самом деле Эдик столяр. Да и агроном хороший. Видал, какой у него огород?

Третий коттедж действительно был самый ухоженный в поселке. Его стены обвивали плети дикого винограда, у крыльца пышно цвела сирень, вдоль ограды благоухали высокие кусты флоксов. Ричи Достян из четвертого коттеджа жаловалась, что у нее от запаха флоксов раскалывается голова.

— Это немыслимо — столько цветов в одном месте! — прикладывала пальцы к вискам Ричи Михайловна. — Если вы их не выкорчуете, я сойду с ума!

— Там и шиповник цветет, — сказал я жене.

— От шиповника голова не болит, — ответила она.

— У меня и от флоксов не болит.

— Потому что ты из простого сословия. А Ричи Михайловна, небось, дворянка.

— Какая дворянка?! — вытаращился на меня Иванченко, когда я обмолвился о происхождении Ричи. — Армянка из Ленинграда. Они с Эдиком из одного литобъединения.

Мне кое-что стало понятно. Члены одного и того же литературного объединения не только не любили стихи и рассказы своих товарищей, но зачастую и их самих. Если твой коллега выращивает, предположим, флоксы, то легко можно предположить, что тебе ненавистен их запах.

— Обычное дело, — поделился я своими соображениями с женой.

— Это уж слишком, — сказала Алена. — Видел, какие у Шима рододендроны?

Розовые шары цветущих рододендронов на участке Шима и вправду выглядели потрясающе. Впрочем, рядом с ними с весны до осени цвели нарциссы, тюльпаны, георгины, пионы, астры и прочие маргаритки.

— И что? — спросил я.

— Против них Ричи ничего не имеет.

— Не знаю, — покачал я головой. — У людей с легко ранимой психикой и от рододендронов может быть несварение желудка.

Как бы там ни было, Ричи своего добилась. На следующий год Шим выкорчевал флоксы и высадил вместо них кусты пузыреплодника. Через пару лет эти кусты закрыли участок Шимов плотной стеной, разглядеть через которую цветущие рододендроны не представлялось возможным.

В четвертом коттедже кроме Ричи и Горчаковых жили детский писатель Сеф, прозаик Михайловский и литературоведы Ланщиков и Михайлов. Все они в поселке бывали наездами, а Горчаков, как я уже говорил, не показывался вовсе.

В пятом коттедже обитали поэты Ваншенкин, Костров и Сидоров, прозаик Андреев, публицист Аграновский и критик Россиянов. Общие интересы у меня были только с Костровым.

— Когда едем на рыбалку? — спрашивал он меня в буфете.

— Хоть завтра, — отвечал я.

— Завтра не могу, — огорчался Владимир Андреевич. — А вот на следующей неделе…

Но рыбалка у нас как-то не складывалась и на следующей.

Через год-другой я понял, что действующих писателей во Внуково были единицы. Чаще других в журналах встречались имена Файзилова, Георгиева, Кострова, Ваншенкина, Ланщикова. Большинство внуковских жильцов уже пребывали на заслуженном отдыхе. Например, написав лет двадцать назад роман «Белый шаман», как Елисеич, можно было с чистой совестью зани-

маться сбором лекарственных трав. А у некоторых и романа за спиной не было.

Лично я лучше других знал писателя Файзилова. Не лично, конечно, а его творчество. Студентом мне особенно нравились его рассказы о рыбалке. Как человек, выросший на Днепре, я был уверен, что подлинное счастье — это пойманная в реке, озере или море рыба.

После университета меня распределили на работу в деревню Крайск Логойского района Минской области. От Логойска до нее было двадцать километров. На автостанции в Логойске я купил билет до Крайска и перед отправлением заглянул в киоск «Союзпечати». Среди пожелтевших газет я увидел книгу Файзилова. Она стоила один рубль девяносто копеек.

«Дороговато, однако», — подумал я, но книгу все же купил. И нисколько не пожалел об этом. Чик стал одним из моих любимых литературных героев. Долгими зимними вечерами особенно хорошо читались истории о сумасшедшем дядюшке Чика и прочих сухумцах.

«Оказывается, можно писать не только о рыбалке», — размышлял я, приглядываясь к своим коллегам-учителям. Любого из них можно было смело вставлять в рассказ, что я позже и сделал.

Много лет спустя я поселился рядом с Файзиловым во Внуково, и выяснилось, что говорить о рыбалке или грибах он не любит. Более того, мне показалось, что о существовании грибов он даже не подозревает.

«Наверное, в абхазских лесах грибов просто нет», — подумал я.

Мне приходилось заглядывать в лес под Пицундой. Грибами там действительно не пахло.

В то время, когда мы познакомились, Файзилов больше писал о Сталине, Берии, Кагановиче и прочих политических деятелях. А мало кому из этой категории людей удавалось не стать негодяем, простор для творчества открывался большой.

«Ну что ж, — решил я, — состарюсь — тоже стану писать о политике».

Но странное дело, до сих пор мне больше нравится писать о рыбалке, чем о революции на майдане. Я утешаю себя мыслью о том, что у каждого писателя свой путь, и не каждому из них быть лауреатом Нобеля.

— Мое «колесо» прочитал? — спросил Жора, когда мы встретились у буфета.

— Конечно, — сказал я.

Я действительно прочитал повесть «Чертово колесо», напечатанную в «Нашем современнике».

— И как?

— Хорошо. Сейчас так почти никто не пишет, один Казаков умел.

— То-то! — сказал Жора и ушел за собакой в кусты.

«А он и вправду хороший писатель, — подумал я. — Интересно, кого из нас будут читать через двадцать лет?»

Вопрос, конечно, был риторический. Никому тогда не приходило в голову думать о том, что будет через двадцать лет.

7

Ближе всего я познакомился со своими соседями в бане, которую устраивал при котельной истопник Николай Иванович. Затапливал он ее по собственному усмотрению.

— Сегодня бани не будет, — сказал мне в буфете Жора.

— Почему? — спросил я.

— Коля пьяный.

Я пошел в котельную.

— Какая баня? — удивленно посмотрел на меня Николай Иванович.

Он, конечно, был подшофе, но отнюдь не пьян.

— Вчера с вами договаривался.

— А я уже затопил, — пожал плечами котельщик. — Жоре зачем баня? Он с собакой гуляет.

Георгиев действительно ходил в баню от случая к случаю, да и то по принуждению жены или дочери.

— Значит, можно приходить?

— Конечно. Я веники замочил.

Николай Иванович был классический тип русского истопника. Он любил философствовать в пьяном виде.

— Писатели разный народ, — говорил он мне.

— Ну да, — соглашался я, — прозаики, поэты, критики…

— Я не об этом, — закуривал «Приму» истопник. — Которые гордые, а есть совсем глупые. Лампочку ввинтить не могут.

— И раньше так было, — усмехался я. — Зачем барину ввинчивать лампочку? Вот кто здесь жил до писателей?

— До революции? — задумывался Николай Иванович. — Граф Кисловский.

Теперь меня брала оторопь.

— Какой еще граф?

— Говорю же — Кисловский. Знаменитый граф. У него на речке купальни были. С царями купался.

— Может, Абрикосов?

— Не знаю никакого Абрикосова! — сердился Николай Иванович. — Я с детства мнуковский, и жил тут Кисловский.

Наверное, для философствования нужно было что-нибудь соврать, и Николай Иванович сочинял на ходу.

— А Орлову с Утесовым вы знали?

— Это которые на пруду? Так они ж не писатели. Я по писательской части.

Николай Иванович был мастер на все руки. Он чинил краны, менял проводку, таскал мебель, ну, и ввинчивал лампочки. Причем деньги за работу Николай Иванович брал далеко не у всех.

— Не надо! — хмурился он, когда я совал ему рубль после замены крана на кухне.

— А рюмку?

— Это можно.

Мы степенно выпивали на кухне. Закусывал Николай Иванович чисто символически.

— Раньше здесь хорошие места были, — щурился он. — Рыба в речке водилась. Зайцы кору на яблонях объедали. А теперь одни лисы.

— Белок полно, — наливал я в рюмки.

— Белки, конечно, скачут, — брал двумя пальцами стопарик котельщик, — а будет еще хуже. Помяни мое слово — пропадет Мнуково.

Отчего-то он говорил «Мнуково», а не «Внуково».

— Татьяне тоже нехороший сон приснился, — выпивал он рюмку до дна.

Татьяна была сожительницей Николая Ивановича. Работала сначала в конторе, потом мыла в коттеджах полы. Была она крупная, костистая, как и большинство внуковских баб, с которыми я сталкивался в магазине на станции.

— Что приснилось Татьяне?

— Не помню уже… Навалился кто-то и душит. Она крикнуть хочет, а голос нейдет. Попа надо, чтоб святой водой окропил, а где его взять? Вот так и кончимся вместе с Мнуковом.

Мне эти апокалипсические мотивы в рассказах Николая Ивановича были непонятны. За окном светило солнце, на столе стояла бутылка, в буфете помаленьку рассасывалась очередь, и стало быть, минут через десять можно было отправляться за чешским пивом. Откуда эта вселенская тоска?

— Писатели, а сами ничего не видите, — сокрушенно помотал головой Николай Иванович. — Пора в котельную.

Он поднялся и ушел, громко топая сапогами.

Баня у нас была по субботам. Чаще других в нее ходили Шундик, Михайлов, зять Михайловского Леня Петров и аз грешный. Иногда к нам присоединялся Иванченко. У него было больное сердце, и Люда его отпускала неохотно.

У каждого из завсегдатаев в бане был свой интерес. Николай Елисеевич Шундик приходил с травяным настоем в термосе. Зверобой, иван-чай, мяту и валериану он собирал на лугу у речки. Я туда ходил за малиной, и иногда мы встречались.

— Набрал? — косился на банку с малиной Елисеич.

— В этот раз желтой много, — показывал я.

Кусты малины густо росли на обрывистом берегу Ликовы. Часа за полтора здесь легко можно было набрать литровый бидончик. Но мне больше нравилась малина, росшая за очистной станцией. Вероятно, это была садовая малина, высаженная чуть ли не во времена Абрикосова. Крупные янтарные ягоды таяли на языке, наполняя душистой сладостью рот.

— А я зверобой собираю, — говорил Елисеич. — Полезная трава.

Зверобоя на лугу было полно, впрочем, как и других трав, и собирать имело смысл что-нибудь редкостное. Вот хотя бы строчки, которые лезли из непросохшей земли в конце апреля, когда зацветала медуница. Но строчками почему-то никто из дачников не интересовался.

В бане Елисеич долго парился, потом с наслаждением пил отвар. Мы на его напиток не претендовали.

— А водочки? — брал в руки бутылку Михайлов.

От водки не отказывался один я, да и то лишь после парилки и душа. Сам Михайлов мог употреблять ее в любое время суток и в любом количестве. В баню он приходил в основном травить байки.

— Из Германии недавно вернулся, — сказал Михайлов, по-хозяйски устраиваясь за столом. В парилку он даже не заглянул. — Ты был в Германии?

— Нет, — сказал я.

— И не езди. До чего тупой народ!

— Кто? — удивился я.

— Немцы. Отправили меня из института в командировку, а командировочные, естественно, быстро кончились. Что делать?

— Что?

— Я им говорю: мне надо в Гамбург. Или в Ганновер, не помню.

— А сам где сидел?

— Во Франкфурте. В Гамбург мне надо, говорю я немцам, в библиотеку, рукописи изучать.

— Какие рукописи? — встрял Шундик.

— Эмигрантские, — строго посмотрел на него Михайлов.

— Понятно, — сказал Елисеич, хотя было видно, что он ничего не понимал.

— И что немцы? — спросил я.

— Пишите, говорят, заявление, получайте деньги и езжайте в свой Ганновер.

— Так все же Гамбург или Ганновер? — перебил я его.

— А какая разница?! — уставился на меня очками с толстыми линзами Михайлов. — Я беру марки, покупаю билет до ближайшей станции, выхожу из поезда и возвращаюсь назад. Сечешь?

— Нет.

— Марки, выданные на проезд, остаются у меня почти полностью! Иду в магазин, покупаю шнапс и неделю живу как белый человек.

— А обратный билет для отчета? У немцев орднунг превыше всего.

— Потерял.

— Неужели верят?

— Так они ж немцы. У них что написал, то и правда. Как дети малые. Даже обманывать совестно.

— Но ведь обманываешь.

— А куда деваться? У нас на командировочные не разгуляешься.

Олег Петрович в Литературном институте занимался эмигрантскими писателями вроде Бунина и Шмелева, и учить его обращению с немцами было излишне.

— Французов тоже обманываешь? — вмешался в нашу беседу Иванченко.

— С французами сложнее, — разлил водку по стаканам Михайлов. — По характеру они вроде нас, даром что галлы, с ними ухо надо держать востро.

Однажды Олег Петрович заглянул ко мне в гости и не ушел, пока в доме не были уничтожены все запасы спиртного. Уже прощаясь, он разглядел на платяном шкафу полбутылки сухого вина.

— А это что? — осведомился он.

— Жена не допила, — повинился я.

— Нехорошо, — сказал Михайлов.

Он взял со шкафа бутылку и в три глотка осушил ее.

— Вот теперь хорошо, — сказал он и исчез.

«Что значит критик!» — посмотрел я ему вслед.

Впрочем, Михайлов скорее был литературовед.

Однажды Алена разбудила меня посреди ночи.

— Кто это? — с ужасом спросила она, показывая на открытую балконную дверь.

На балконе никого не было.

— Я спрашиваю, кто так орет? — сказала она, вытягивая шею.

Я прислушался. В ночи кто-то пел. И не просто пел, а исполнял арию Заморского гостя.

— Михайлов, — зевнул я. — Сегодня в бане рассказывал, что у его отца был выдающийся голос. У него самого, как видишь, тоже хороший.

Я представил себе Олега Петровича на балконе, в трусах и майке, вдохновенно орущего в небеса. Сильное зрелище. А от нашего коттеджа до четвертого, в котором жил Михайлов, не так уж и близко.

— Это ты ему наливал? — спросила Алена.

— Не только я.

— И как его соседи терпят.

— А куда им деваться.

Со временем Михайлову дали дачу в Переделкино, и теперь ночные серенады услаждали слух тамошних жильцов.

Но у нас и после отъезда Михайлова еще кое-кто оставался.

Как-то мне позвонил поэт Валера Липневич. С его сестрой Светланой я учился в одной группе в университете, и мы с Валерой были почти друзья. Среди прочих московских поэтов Липневич выделялся тем, что дольше других продержался в роли мужа поэтессы Татьяны Петровой — целых пять лет. Я это относил на счет терпеливости белорусов, хотя были и другие мнения.

— Ко мне в гости приезжает испанский поэт, — сказал Валера. — Не примешь меня с ним во Внуково?

— Верлибрист? — спросил я.

— Откуда ты знаешь?

— Мне ли вас не знать, — вздохнул я. — Приезжайте.

— Чем я их угощать буду? — всполошилась Алена. — Они, небось, к рыбе привыкли.

— А ты фаршированную щуку сделай.

Вчера на рынке я купил щучку килограмма на полтора.

— Я не умею.

— У Похлебкина в «Кухне народов мира» прочитай, — пожал я плечами.

Алена взяла с полки книгу насыщенного зеленого цвета и углубилась в чтение. Я знал, что в эти минуты ее лучше не беспокоить, и ушел в лес. Не получится с рыбой, размышлял я, обойдемся грибами.

Как оказалось, я плохо знал свою жену. Прочитав про фаршированную щуку в книге, Алена выпотрошила рыбу, отделила мясо от кожицы, прокрутила его на мясорубке, добавила в фарш специи, набила им кожицу и засунула в духовку. Когда я вернулся из леса, дом уже благоухал ароматами.

— Сильно! — принюхался я. — Не хуже, чем у моей мамы.

Фаршированную щуку Алена впервые в жизни попробовала у моих родителей в Речице и теперь только и думала, как бы еще раз добраться до той самой кастрюли. Я против этого блюда тоже никогда не возражал. Наоборот.

Валера с испанцем приехали ближе к вечеру. Испанец почти не говорил по-русски, и это упрощало дело. В парилке мы с Валерой от души отходили друг друга веником. Испанец с круглыми глазами наблюдал за нами из предбанника. Похоже, он наконец-то понял, в чем корни непостижимости русской души. Загони человека в каморку, в которой от жары нечем дышать, избей веником с оголенными прутьями, окати ледяной водой, — и вот он, русский, со всей его непредсказуемостью.

Сам испанец заходить в парилку отказался категорически. Повеселел он только за столом, заставленным бутылками и закусками, а когда выпил бокал вина и съел кусок щуки, и вовсе расцвел. Точнее — запел. Испанский язык оказался весьма богатым на звуки и интонации. Испанец рассыпался в комплиментах хозяйке, а Валера, не отвлекаясь на мелочи, ел.

«Холостяцкая жизнь не сахар», — подумал я.

После развода с Петровой Валере досталась комната в коммуналке в дальнем Подмосковье, и разносолами вроде фаршированной щуки, похоже, его там никто не баловал.

— Больше не могу, — откинулся Валера на спинку стула. — Можно, я полежу на диване?

— Полежи, — разрешил я.

Мы с испанцем прогулялись по поселку. Алена что-то объясняла ему на английском. Испанец благосклонно кивал.

Когда мы вернулись в дом, Валера сидел за столом и доедал щуку.

— Такую вкусную рыбу никогда не ел, — сказал он, отдуваясь. — Хуану тоже понравилась.

— Си, — поцеловал Алене руку испанец и разразился длинным комплиментом.

Я все понимал без перевода. Поэт был бы не прочь еще раз навестить этот гостеприимный дом, в котором очаровательная хозяйка не только прекрасно готовит, но и…

Время от времени Хуан бросал косые взгляды на жалкие остатки фаршированной щуки, но говорить не переставал.

«Все-таки отличаются они от нас, — подумал я. — Один наворачивает, второй заливается соловьем, и при этом оба поэты. Интересно, кто из них хуже?»

— На электричку опоздаете, — перебил я испанца. — Будем в Испании — обязательно зайдем в гости.

Валера с сожалением оглядел стол и поднялся с места. Он с удовольствием остался бы здесь на ночь, но надо было сопровождать Хуана.

8

Постоянными спутниками в нашей внуковской жизни были животные. Точнее, кошки и собаки.

Первыми мне на глаза попались кошки. Но это и неудивительно, кошек держала Лидия Топоркова из первого коттеджа. Прямо перед нашими окнами нежились на солнышке пушистые существа дымчатого окраса.

— Наверное, породистые, — сказала Алена.

Я промолчал, потому что в кошачьих породах не разбирался.

— Вы белорус? — спросила Лидия Алексеевна, когда я вышел посмотреть на кошек.

— Западный.

— Леню Дранько-Майсюка знаете?

Леню я знал.

— У меня есть роман «Глубынь-городок», — сказала Топоркова.

Я догадался, что роман этот о Давид-Городке, родине Дранько-Майсюка.

— Кошки не оттуда?

— Кошки здешние, — улыбнулась Топоркова. — Собак бы поменьше…

Она опасливо огляделась по сторонам.

Собак во Внуково хватало. Может быть, их было даже больше, чем надо.

К моменту нашего приезда во Внуково главной здешней собакой был Тим. Во-первых, он считался комендантским псом, что само по себе обязывало его быть главным. Во-вторых, он был умный и безошибочно отличал талантливого писателя от бездари. И в-третьих, старшим среди двуногих Тимка числил буфетчицу. Но здесь он не был оригинален, поскольку так же считали почти все внуковские жильцы.

Но водился за Тимкой один грешок, который перечеркивал все достоинства: он был кошкодав. Тим не гонялся с исступленным лаем за кошками на

глазах у всех. Он даже не смотрел в их сторону, когда, например, Топоркова приходила в буфет с любимицей на руках. Но если находили в кустах придушенную кошку, ни у кого не возникало сомнения, чья это работа. Из-за этой своей страсти в буфет Тим заходил только удостоверившись, что в нем нет кошатников.

У меня с ним установились вполне дружеские отношения.

— Может, возьмем котенка? — сказал я как-то жене.

— Чтобы его съели собаки? — ужаснулась Алена.

— Тим кошек не ест.

Алена хмыкнула. Больше я о котенке не заикался. Кошку мы завели значительно позже, когда Тима уже не было в живых.

Впрочем, кошек во Внуково отлавливал не один Тим. Возле нашего поселка всегда было полно бродячих собак. Какие-то из них приходили из Абабуровки. Другие поселялись рядом с баками для пищевых отходов, стоявшими за воротами. Третьи жили в лесу и забегали в поселок развлечься.

Тим, надо сказать, этих путешественников не любил и гонял их еще яростнее, чем кошек.

Однажды я столкнулся в лесу с собачьей стаей. Предводительствовал над разномастными и разнокалиберными псами крупный черный кобель. Собаки залаяли. Я остановился, сжимая в руках палку. Кобель подошел ко мне, повернулся к стае и грозно рыкнул. Собаки поджали хвосты и пропали в кустах.

— Пойдем вместе? — спросил я.

Кобель мотнул тяжелой башкой.

Он проводил меня до ворот поселка, постоял, глядя на дома, повернулся и убежал. Наверное, он вспомнил что-то из своей прошлой жизни и решил прогуляться с человеком.

Итак, коты во Внуково в основном были домашние, собаки бродячие, но и здесь случались отступления.

Михайловские держали черного пуделя, мирного и спокойного пса, но его почему-то побаивались. Вероятно, сказывались отголоски литературных историй о связи пуделей с чертовщиной.

За Катисонами повсюду бегал коккер-спаниель, готовый сожрать все, что влезало в пасть. Как и все спаниели, он был добр и глуп, за что ему легко прощались мелкие пакости.

У Эрнста Сафонова жили черно-белый английский кот, волнистый попугай и карликовая пуделиха Мери.

О семействе Сафонова следует рассказать подробнее.

Я уже говорил, что Эрик был главным редактором газеты «Литературная Россия» и по совместительству преподавателем Высших литературных курсов, где мы с ним и познакомились. После этих самых курсов я стал жить, как у нас говорили, на творческом хлебе. В середине восьмидесятых это могли себе позволить не только классики, но и простые писатели вроде меня. Через два года на третий у меня издавались книги, регулярно публиковались рассказы и повести в журналах. Советский Союз был велик, журналы выходили повсеместно, и всегда можно было выбрать издание по душе. А мне и выбирать не надо, печатался в родной «Маладосці». Благо, там не обиделись на то, что я «омоскалился».

Сафонов тоже часто публиковал мои рассказы в «Литературной России», и это наряду с дачей во Внуково меня и сгубило. Я оказался абсолютно не готов к слому, случившемуся в начале девяностых.

А признаки катастрофы не замечали одни простаки. Громче, чем обычно, заговорили о своей исключительности националы. Люди чаще стали сравнивать нашу жизнь и заграничную, и ясно, в чью пользу были эти сравнения. Как-то смикшировалась руководящая и направляющая роль КПСС. Особенно заметно это было в провинции.

У меня тяжело заболели сначала мать, затем отец. Я стал чаще бывать в Речице, привозил дефицитные лекарства и продукты, просто сидел у постели родителей.

В конце семидесятых о Речице я делал передачу на республиканском телевидении, знал местное начальство и по старой памяти решил зайти к первому секретарю райкома партии. Помощница секретаря почтительно раскрыла мой писательский билет с профилем Ленина на обложке, записала данные в книгу посетителей и открыла дверь в кабинет:

— Проходите.

Хозяин кабинета принял меня радушно. А когда узнал, что я ничего просить не собираюсь, и вовсе растаял.

— Вы из самой Москвы? И что говорят там? — он показал глазами на потолок.

— Но вы ведь смотрите телевизор.

— Лучше бы я его не смотрел… — секретарь тяжело вздохнул. — Полный вакуум. Что хочешь, то и делай. А люди ведь это чувствуют и тоже не хотят работать. Может, в Москве не так?

— Рыба гниет с головы. Надо что-то менять, но никто не знает, что именно.

— Стариков надо менять!..

Он осекся. Я с ним был полностью согласен. Черненко на посту генсека выглядел удручающе. У страны с таким руководителем не было никаких перспектив.

— Горбачев вроде готов к переменам, — сказал я.

— Он-то готов, а мы? — секретарь побарабанил по столу пальцами. — Неужели там не понимают, что земля уходит из-под ног?

Подобных откровений в кабинетах секретарей до сих пор мне слышать не приходилось.

— Хуже всего, — посмотрел я на секретаря, — что в магазинах пусто. — Куда все девалось?

— Если б я знал…

«Не может быть, — подумал я, — чтобы кремлевские старцы не знали, что творится в их хозяйстве. А если знают, значит, у них есть план».

Мы с секретарем распрощались, и я ушел в сквер над Днепром. Это было мое любимое место в городе. С высокого берега открывался вид на луг над рекой. За ним сизая полоса леса. Справа трубы мебельной фабрики и метизного завода. И что бы ни произошло, все так же будет катить свои воды к далекому морю река. Будут покачиваться на стремнине лодки рыбаков-язятников. Будет уходить в темную часть сквера, держась за руки, парочка. Будут пронзительно кричать, гоняясь друг за дружкой, чибисы. Жизнь быстротечна, но и нескончаема…

Глядя на весь этот широкий простор, я убеждал себя, что все будет хорошо. Мир, конечно, когда-нибудь провалится в тартарары, но лично тебя это не коснется.

А перемены начались уже и во Внуково.

Буфет переехал из деревянного дома кастелянши в другой, поменьше. В нем уже не было столов с белоснежными скатертями. Мрачная Нина Сте-

пановна стояла за примитивным прилавком и покрикивала на писателей, бредущих к ней по гнилым половицам. Она хорошо понимала, что возврата к скатертям уже не будет.

В котельной стали хуже топить.

— Угля нету, — сказал Николай Иванович, когда я ему пожаловался на холодные батареи. — А без угля какое тепло? В конторе вон одна Галя осталась.

Я пошел в контору. Действительно, за столом в углу сидела Галя.

— А где народ? — спросил я.

— Уволились, — пожала плечами Галя.

— И Володя?

— Он мебель таскает.

Володя был директором нашего поселка. Это был шустрый малый лет тридцати пяти. В лучшие времена под его началом в конторе трудились до десятка девиц. На самой красивой из них он женился, — и вот в конторе одна Галя, самая, пожалуй, страшная.

Пару дней назад я и впрямь видел Володю, они с каким-то мужиком тащили по заснеженной дороге диван.

— Зачем ему мебель? — поинтересовался я.

— Продаст! — удивилась Галя. — Уже почти ничего не осталось. Вам кресло не надо?

— Надо, — сказал я.

— Пойдемте, выдам. Хоть что-то от ворья убережем.

Я знал, что диван, украденный Володей, мелочь по сравнению с тем, что растаскивают сейчас настоящие хищники. Вчера было заседание ревизионной комиссии, на котором шла речь о Литфонде. Там было что красть. В автохозяйстве, например, по остаточной стоимости были распроданы сорок две единицы техники. А в Сочи таинственным образом исчезли несколько гектаров земли, выделенные Литфонду для строительства Дома творчества. Да и уже существующие Дома творчества сильно уменьшились в размерах. Кто грел на этом руки, можно было только догадываться.

— Нужно сообщить об этом на предстоящем пленуме, — сказал я Вячеславу Ивановичу.

— Обязательно! — кивнул он крупной головой. — Соберем все документы и доложим.

Я понял, что на пленуме Иванченко выступать не будет. У него как раз в эти дни решался вопрос с квартирой в знаменитом доме в Лаврушинском переулке. Именно в нем била стекла булгаковская Маргарита. Похоже, бить их там было за что.

У нас во Внуково освободившийся дом кастелянши поделили на квартиры и стали туда заселять писателей. В одну из квартир на втором этаже въехал Эрнст Сафонов, и я этому, конечно, был сильно рад.

9

К этому времени Эрнст Иванович остался один. Его жена, Лариса Тиграновна, умерла от тяжелой болезни. Я знал ее. Она была из рода карабахских князей, и в доме Сафоновых часто можно было увидеть гостей с Кавказа. Они всячески выказывали свое почтение княжне. Как-то я попал на шашлык, приготовленный этими самыми гостями. Это был настоящий кавказский праздник

с дымящейся бараниной, особыми специями и отборным коньяком. Тостов я там наслушался на три года вперед.

Лариса Тиграновна была искусствовед, в доме на стенах висело много картин, и я бродил по нему, как по художественной галерее.

— Писательских портретов маловато, — вышел из соседней комнаты Эрик.

— Писатели редко бывают фотогеничны, — хмыкнул я.

— Особенно хорошие, — согласился Сафонов. — Я, между прочим, в общежитии Литинститута в одной комнате с Рубцовым жил. Вот он портреты любил.

— Какие портреты?

— Классиков. Однажды снял со стен в красном уголке портреты Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, принес в комнату, расставил на стульях, водрузил на стол бутылку водки и стал чокаться с каждым портретом по очереди. «С товарищами выпиваю», — объяснил он коменданту.

— Выгнали?

— Его несколько раз выгоняли. Чем лучше поэт, тем хуже он себя ведет.

Это я знал. Но знал и то, что для попадания в классики одного выпивания с ними мало.

— Рубцов в классики вряд ли попадет, — угадал ход моих мыслей Эрик.

— Лицом не вышел?

— Скорее своей сермяжностью. Как он сам написал, сейчас на нас напали «иных времен татары и монголы».

— Неужели все так плохо?

— Еще хуже.

Сафонов махнул рукой и ушел к гостям.

Я остался размышлять перед картинами.

Кроме Сафонова квартиры в деревянном доме получили критик Евгений Осетров, поэт Валентин Сорокин, прозаик Арсений Ларионов и драматург Юлиус Эдлис. Причем последнему досталась одна комната вместо двух, и скоро он из своего чулана, как называли некоторые его квартиру, уехал.

После смерти жены свое жилье в Москве Эрик оставил дочке и переселился во Внуково. Утром он уезжал на служебной машине в газету, поздно вечером возвращался.

— Как ваши домочадцы? — спросил я, встретившись с ним в субботу в буфете.

— А что? — покосился на меня Эрик.

— Как они без вас?

— Нормально, — пожал Сафонов крутыми плечами. — Кот сам по себе живет. Мери следит за порядком в доме. А попугай на ней ездит.

Действительно, я не раз видел, как попугайчик, вцепившись коготками в шерсть собаки, сидел на загривке и долбил по нему, если Мери бежала не в ту сторону.

— Все как в жизни, — сказал я, наблюдая за неразлучной парочкой. — Интеллигенты никого ни в грош не ставят.

— У нас Том интеллигент, — возразил Эрик. — И даже не интеллигент — английский аристократ.

— Ладно, — согласился я, — аристократы тоже никого в упор не видят. Народ работает, а прихвостни ездят на чужом горбу.

Мери громко залаяла. От старости она почти облысела, и когти попугая, вероятно, причиняли ей боль.

Любимцем Эрика, конечно, был кот Том. И немудрено — он был большой, важный, настоящий черно-белый английский лорд.

— Тим Тома не гоняет? — спросил я.

— Он его не замечает. В первый же день встретились на узкой дорожке и разобрались, кто есть кто.

— Вы это видели?

— Нет, но у Тима до сих пор морда расцарапана. В сторону Тома даже не смотрит.

Заорал попугай. Мери все же удалось стряхнуть его с себя, и попугай с воплями бегал за ней, стараясь вскарабкаться на спину.

— Хорошо, у них еда разная, — сказал Эрик. — Была бы одинаковая, Мери давно б с голоду умерла. Уже и так плохо видит.

— У моего Троши тоже отвратительный характер.

Я подставил попугаю палец. Тот впился в него, стараясь прокусить до крови.

— Наглец, — вздохнул Эрик. — Не был бы членом семьи, Том с радостью его бы сожрал.

На чердаке деревянного дома для писателей, желающих поработать в уединении, сделали кабинеты. С моей точки зрения, они были больше похожи на клетки. Из нашего коттеджа кабинет себе взяли Файзилов и Иванченко, но работал в нем один Файзилов. У меня вообще было подозрение, что он единственный писатель во Внуково, кто здесь пишет.

Я тоже пытался писать, но для меня в нашем Доме было слишком много отвлекающих моментов. Зимой ходил на лыжах и сумерничал с Эриком. Летом собирал грибы и ягоды, рыбачил и рвал на лугу ромашки. Мне нравился их горьковатый запах. В мае на пригорке, на котором когда-то стоял особняк Абрикосова, было полно сирени разных оттенков. На нашей территории отчего-то больше было персидской сирени, которая зацветала в июне.

— На самом деле она не персидская, а венгерская, — сказала мне Алена.

— Это ведь не одно и то же, — заперечил я. — Где Персия, а где мадьяры.

— Венгерская, — уперлась жена.

Она вообще любила спорить по пустякам. Но я к этому относился снисходительно. Хочет венгерскую, пусть будет венгерская. Тем более, она отличалась от обычной сирени и цветом, и запахом.

Лично мне больше нравилось слово «персидская». Сразу представлялся жгучий взгляд черных очей, сопровождаемый стыдливым румянцем на матовых ланитах. Одним словом, «Гюльчатай, открой личико». Ну, и стихи про Шаганэ все знали.

Постепенно я выяснил, что на территории нашего Дома росла не только персидская сирень. У деревянного коттеджа было полно вишни и калины. В кустах шиповника возле буфета можно было набрать рыжиков, под лиственницами — маслят, а под соснами и березами у пятого коттеджа — боровиков. Среди осин, вымахавших за моим коттеджем, попадались подосиновики. А внизу, рядом со спортплощадкой, я собирал и белые, и подберезовики с черными шляпками, и лисички, и те же подосиновики. Словом, грибов здесь хватало, что, конечно, не способствовало появлению добротных произведений отечественной литературы. Внуковским насельникам не было никакой нужды ходить за грибами в лес, — они и не ходили. Мы с Жорой были исключением, граничащим с блажью.

Но что здесь начиналось, когда шли опята!

Волны опят, прокатывавшиеся по лесу, были, конечно, разной величины, но в какой-то год обязательно случался девятый вал. И тогда практически каждый пень обрастал грибами. Опята на березах были со светло-коричневыми головками, толстоногие, с нежной плотью. На дубах они гораздо темнее, плотнее и с явственным зеленым оттенком. Еловые опята отличались тонкой ножкой, коричневой шляпкой и каким-то бравым видом. Впрочем, у всех молодых опят был дерзкий вид, они перли из всех узлов, щелей и отверстий ствола или пня, и не нагнуться за ними было нельзя.

Во время этого девятого вала опята сползали с деревьев и стремительно разбегались по земле, цепляясь за любой корешок или щепку. Они рассаживались на ней плотными многоголовыми семьями. Выстраивались дуэтами. Выскакивали под ноги по одному. Но в любом случае их было неимоверно много. Через полчаса, в крайнем случае через час, кошелка любого размера наполнялась с горкой, и грибник, со стоном разогнувшись, отправлялся домой. А опята подмигивали ему вслед, хихикали, корчили рожи, в общем, веселились как могли. Это был их праздник.

Через неделю тугощекая молодежь превращалась в лопухи. Грибы чернели, разваливались, из-под шляпок с басовитым гудением вылетали объевшиеся жуки.

— А ты знаешь, чем пахнет молодой опенок? — спросил меня Цыбин, которого я встретил на выходе из леса.

— Знаю, — кивнул я. — Но эти уже не пахнут.

В корзине Цыбина опята-лопухи лежали вперемешку с груздями. Их в этот год тоже высыпало несчетно.

— А я их солю сырыми, — сказал о груздях Цыбин. — Накидал в кастрюлю, посолил, накрыл марлей, через неделю отличная закуска. Старшине такая и не снилась.

— Он вообще не пьет, — пожал я плечами.

— Раньше пил как сапожник.

Пьющего Старшину я не знал, это было задолго до моего призыва в писательскую армию. Но сам Николай Иванович не скрывал, что был грешен.

— Однажды проснулся поутру, — рассказывал он мне, — сердце из груди выскакивает. Если вот сейчас не выпью — помру. Смотрю, на подоконнике бутылка. Неужели, думаю, вчера не допили? Налил в стакан и залпом. И все.

— Что все?

— Потерял сознание. Там ведь не водка была.

— А что?

— Жидкость для мытья окон. В больнице доктор сказал, что если бы не проспиртованное нутро, тут же умер бы. А так очухался.

— Дела… — почесал я затылок.

— Меня Эмма спасла, — взялся двумя пальцами за пуговицу на моей куртке Старшина и стал ее выкручивать. — Сначала увезла в санаторий, потом к себе в Литву. Да я и сам понял, что надо завязывать.

— Ты идешь или не идешь? — позвал Старшину со скамейки перед буфетом Костров.

— Иду.

Старшина и Костров каждый день играли в подкидного дурака. Счет у них был пятьсот семьдесят три на пятьсот тридцать семь.

— А в чью пользу? — спросил я Эмму, жену Николая Ивановича.

— Этого даже они не знают, — махнула рукой Эмма.

Как истинная спасительница, она не замечала мелких слабостей мужа. И на рыбалку разрешала ездить.

Для меня рыбалки без выпивки еще не существовало, но я к этому относился спокойно. Доживу до возраста Старшины или тестя, который тоже не употреблял во время священнодействия, коим для обоих была рыбная ловля, тоже не буду пить, думал я. Но до этого возраста было еще так далеко, что и рассуждать не о чем.

Однажды я набрал опят и стал их перебирать, сидя на диване в холле. На самом деле это было бессмысленное занятие, но мне отчего-то больше нравились опята с уполовиненными ножками.

— Вы это выбрасываете? — вышла из своей квартиры Татьяна Михайловна.

— Ну да, — посмотрел я на гору отрезанных ножек.

— Отдайте мне, я из них суп сварю.

Мне стало стыдно. Я сходил за миской, насыпал в нее с горкой грибов и постучал в дверь.

— Сварите лучше из этих, — передал я миску Тане.

— Ой, спасибо! — обрадовалась она. — Сейчас нажарю и Сандрика накормлю.

— У меня болит живот, — выглянул из-за маминой юбки Сандрик и скрылся.

Таня побежала за ним. В нашем поселке у всех детей время от времени болели животы. Катя Иванченко, например, вчера объелась конфетами.

— Как это — объелась? — спросил я Люду.

— Мы ее наказали и заперли в комнате, — объяснила она. — А Катька от расстройства достала кулек с конфетами и все съела.

— Сколько было в кульке?

— Килограмма полтора, — подумав, сказала Люда.

От такого количества у любого живот заболит. Любопытно, от чего он болит у Сандрика? Но спрашивать об этом я Таню не стал.

10

С внуковской квартирой все потихоньку налаживалось. Мы заменили шторы, повесили люстры, добавили в кабинете книжные полки. Единственное, с чем ничего нельзя было сделать, это кухня. Она была настолько мала, что любое изменение в ней вызвало бы катастрофу. Даже мы с Аленой помещались в ней с трудом, что уж говорить о Люде. Она была крупной представительницей писательских жен.

Но и с кухней как-то все устаканилось. Водрузили на подоконнике двухконфорочную электроплиту, сварили на ней две чашки кофе и успокоились.

А вот квартира в Минске вызывала вопросы. Несмотря на свою непрактичность, я догадывался, что в нашей жизни грядут изменения, и далеко не в лучшую сторону.

— Даже паек в столе заказов стал хуже, — пожаловался мне сосед по дому в Минске Николай.

Считалось, что он присматривает за квартирой, когда я отбывал в Москву.

— Что значит — хуже? — спросил я.

До сих пор паек в столе заказов при Союзе писателей очень нравился моим друзьям. В него входили хороший кусок свиной вырезки, колбаса, сосиски и еще какая-то мелочь.

— Вместо докторской стали чайную колбасу выдавать, — сказал Коля. — И вырезка в два раза меньше.

— Беда, — покачал я головой.

В стране давно происходило неладное, но мы со свойственной советским интеллигентам беспечностью не придавали этому большого значения.

— Даже в Совете министров стали хуже заказы, — выложил последний аргумент Николай.

Его мама работала заведующей машбюро в Совете министров, и эта информация, что называется, была из первых рук.

— Надо квартиру менять, — вздохнул я.

— И мы решились на родственный обмен, — посмотрел мне в глаза Коля.

Не сговариваясь, мы отправились в кухню и выпили по рюмке.

— Похоже, наши начальники решили затянуть пояса, — сказал Коля.

— У народа, — уточнил я.

— Ну да, — согласился он со мной, — их пояса отличаются от наших. Как ты думаешь, чем все закончится?

— Какую-нибудь реформу проведут, — пожал я плечами. — На большее наши деды не способны.

Я, конечно, в своих прогнозах сильно ошибался. Но и ошибки бывают разными. Русские люди истинную цену последних узнают, как правило, у разбитого корыта.

Однако в случае с квартирой мне повезло. Я подал документы в обменное бюро, что находилось в Москве в Банном переулке, купил газету «Из рук в руки» — и обнаружил, что некто Званский меняет свою комнату на улице Воровского на однокомнатную квартиру в Минске.

— Воровского — это же Дом литераторов! — показал я газету жене.

— Хорошее место, — кивнула она, — но мы, наверное, уже опоздали. На всякий случай загляни туда. Ты ведь сегодня собираешься в ЦДЛ?

— Конечно, — сказал я, — встречаюсь с товарищами. Нужно одну книгу обсудить.

Никаких книг в Доме литераторов я с товарищами, конечно, не обсуждал, мы там выпивали. Но это был секрет Полишинеля.

«Так и быть, зайду к Званскому, — подумал я. — Вдруг повезет? И адрес запоминающийся: дом восемнадцать, квартира девятнадцать».

Я доехал до метро «Арбатская», с Калининского проспекта свернул на Воровского и пешком поднялся на четвертый этаж. Он весь состоял из квартиры номер девятнадцать.

«Это сколько ж в ней комнат?» — подумал я, дважды нажав на кнопку звонка. Именно столько раз нужно было звонить Званскому.

Дверь открыл высокий человек лет сорока пяти.

— К кому? — мрачно спросил он.

— К Званскому, — попятился я.

— Проходите.

Делать было нечего, я вошел в прихожую. Она была огромна. Горела лишь одна лампочка под потолком, но и при ее тусклом свете было видно, как здесь грязно. В потолке прямо над головой зияла большая дыра. В туалете сильно шумела вода. Откуда-то из глубины коридора несло пригоревшим маслом.

«Бежать отсюда!» — подумал я и повлекся вслед за Званским.

Комната выглядела несколько лучше прихожей. Размером она была чуть меньше спортивного зала сельской школы, в которой я когда-то работал физруком.

— Сколько в ней метров? — поинтересовался я.

— Тридцать два, — вздохнул Званский. — Раньше это был зал.

— А теперь?

— Теперь комната. Меня Володей зовут.

— А сколько в квартире комнат? — не успокаивался я.

— Одиннадцать. Общая площадь двести пятьдесят квадратных метров.

— Да, жили люди, — выглянул я в одно из окон. — Квартира дореволюционная?

— Дом построен в начале двадцатого века. А весь четвертый этаж в нем занимал председатель Российского музыкального общества Званский. Мой дед.

— Да ну? — изумился я.

— Его в тридцать седьмом расстреляли, — успокоил меня Владимир. — Сам я в Караганде родился.

Название этого города было мне знакомо. В том же тридцать седьмом туда сослали почти всю родню моей жены по материнской линии. Алену и пугали им, когда она не слушалась маму. «Не хочу в Карандаду!» — плакал ребенок.

— Член семьи изменника родины? — понимающе хмыкнул я.

У самого меня в роду репрессированных не было, но я об этой проблеме слышал.

— Вроде того, — не стал вдаваться в подробности Володя. — Из Званских в этой квартире один я остался. Остальные лимита.

— Сколько в квартире семей?

— Четыре.

— Так ведь комнат одиннадцать.

— Пустуют. К нам уже давно никого не вселяют.

— Сносить собираются?

— Говорят, аварийный дом. А что на самом деле, никто не знает. Сам видишь, куда все катится.

Я кивнул. Страна определенно куда-то катилась, я только не мог понять куда.

— А почему ты меняешься на Минск? — спросил я после паузы.

— Женюсь на минчанке, — понизил голос Владимир. — Пока окончательно не спился, надо сматываться.

Ситуация стала проясняться. Мы со Званским шли встречными курсами. Володе надо было бежать из Москвы, мне — из Минска. Если проскакивать, зажмурив глаза, прихожую и по возможности не заходить в туалет и на кухню, может, и обойдется. Жить-то я здесь не собираюсь.

— Ты тоже женился? — спросил Званский.

— Чтоб не спиться, — кивнул я. — Ну, так что, меняемся?

— По рукам!

Я хотел было предложить Званскому выпить по рюмке, в сумке лежала бутылка, но что-то меня остановило.

«Иногда женитьба помогает вылечиться от алкоголизма, — подумал я. — Но в Минске тоже водки много. Может быть, даже слишком много».

Однако говорить об этом Званскому не имело смысла. Сам разберется, что к чему.

Обменная операция завертелась, и месяца через три я официально стал москвичом. Из Минска пришел контейнер с кухней, диваном, стульями и книгами. Я расставил все эти предметы по углам комнаты, и она стала еще больше походить на спортивный зал.

— Некоторые вообще без мебели живут, — сказала Алена, когда я привел ее полюбоваться на жилище. — А соседка слева у тебя настоящая бандерша.

— Марина? — удивился я.

— Нет, ночевать здесь я тебе не разрешаю. В каком бы ты ни был состоянии — домой.

— Даже ночью? — слабо запротестовал я.

— Ночью тем более.

— Отсюда до ЦДЛ всего пять минут ходу.

— Повторяю — твой дом на Ленинском проспекте. А эту комнату станем сдавать, когда будет не на что жить.

— Как это не на что?! — изумился я. — Слава богу, еще не разучился писать.

Через два года выяснилось, что права была жена, а не я. Рухнул СССР, и писатели, равно как и многие другие граждане этой страны, оказались никому не нужны.

Но это отдельная история, и не такая веселая, какой она казалась тогда многим.

Часть вторая. Печать Мулатова

1

«Все-таки придется искать работу», — подумал я, услышав свист пуль над головой.

Точнее, пули не свистят. Как ни странно, этот звук был мне знаком, и я почувствовал некоторое удовлетворение, заслышав его. Каждый мужчина должен отличать жужжание пули от всех прочих звуков.

Ко мне это знание пришло в Речице, где я жил с родителями в середине шестидесятых. После шестого класса меня отправили в военно-спортивный лагерь. Это был лучший из лагерей, в которых мне приходилось бывать. Мы жили в военных палатках, в которых хоть и стояли раскладушки, но заправлять их было не обязательно. Нашими воспитателями и вожатыми были солдаты срочной службы, что, согласитесь, привносило в лагерную жизнь некоторую романтику.

В первой половине дня мы разбирали на время автоматы Калашникова. К концу смены легко разбирали и собирали их с завязанными глазами, не считая это каким-то достижением. Если ты с утра до вечера занимаешься одним и тем же, поневоле у тебя появляется навык. На это и была рассчитана служба в Советской Армии.

После обеда мы купались в прозрачной речке Ипуть, бегали кроссы и участвовали в учениях. Как мы едим в столовой, никто не следил, и после смены все воспитанники находились в прекрасной физической форме. Даже я при всей своей худобе сбросил пару килограммов. Родители не верили собственным глазам, наблюдая, как я расправляюсь с борщом и котлетами после лагеря. Картошки, и той не оставалось на тарелке.

Но я не о картошке.

Однажды мы проснулись от взрыва. «Взрывпакет», — подумал я, не открывая глаз.

— Тревога! — заорал наш командир взвода сержант Коля, откинув полог палатки. — Подъем!

Колю мы слушались, потому что главным аргументом при вдалбливании азов военной науки он считал затрещину. Коля никогда не читал о похождени-

ях бравого солдата Швейка, но он легко вписался бы в славную когорту унтеров и фельдфебелей австрийской армии. Может быть, он даже подружился бы со старым сапером Водичкой и колошматил с ним на пару мадьяров.

Правда, Коле хорошо было и здесь, на берегах Ипути.

— В колонну по два становись! — скомандовал Коля. — За мной бегом марш!

Я, как и многие, бежал с закрытыми глазами. При хорошей муштре этому тоже можно было научиться.

Мы прибежали к реке.

— Стой, раз-два! — скомандовал Коля. — Сейчас мы форсируем реку и идем в наступление вон на ту высоту. Всем ясно?

Я с сомнением посмотрел на реку. Ипуть была не такой широкой, как Днепр в нашей Речице, но переплыть ее тоже было непросто.

— Вопросы есть? — спросил Коля. — Раздевайсь!

— А здесь можно идти по дну или надо плыть? — поднял я руку.

— Ты что, плавать не умеешь? — уставился на меня сержант.

— Не очень.

— Ни хрена себе! — почесал он затылок. — Кто еще не умеет, выйти из строя.

Полвзвода шагнули вперед.

— Н-да, — посмотрел по сторонам Коля. — Перетонете, где я вас ловить буду? Куда Ипуть впадает?

— В Сож, — сказал я.

— А Сож?

— В Днепр.

— Ну вот, аж в Киеве, — кивнул Коля. — Форсирование отменяется. Идем на склад за автоматами. Хоть стрелять научитесь.

Получив по автомату и рожку с холостыми патронами, мы разделились на два отряда. Один занял позицию на холме, мы засели на опушке леса.

И вот тут кто-то из противников влупил по нам длинной очередью из боевых патронов.

Откуда они у врага оказались, так и осталось тайной. Впрочем, наш склад с боеприпасами охранялся, как и в остальной армии, поэтому почти у каждого воспитанника в кармане можно было найти и патроны, и взрывпакеты, и даже штык-нож. Этот считался самой большой ценностью, но был он только у Вовки Сороки, заместителя Коли.

Итак, пули, подобно шмелям, прожужжали над головой. Несколько сбитых веток упало на землю.

— Ложись! — закричал Коля и спрятался за сосну. — Узнаю, кто стрелял боевыми, убью!

Но и тот, кто стрелял, знал, что его убьют. Никто ни в чем не признался. На два дня нас отстранили от стрельб, но потом все вернулось на круги своя.

Кстати, в том же военно-спортивном лагере меня укусила какая-то водяная тварь. Мы купались в лесном озерце, берега которого были густо утыканы шишками рогоза. Я нырнул в мутную воду и вдруг почувствовал удар в запястье. Через полчаса на руку было уже страшно смотреть. Она посинела, распухла, в ушах стучало, как при сильной простуде. Мои товарищи подходили ко мне, смотрели на руку и почтительно качали головой. В том, что это настоящее ранение, сомнений ни у кого не было.

— Змея, — сказал Коля, осмотрев руку. — Или сколопендра. На, выпей таблетку и ложись в постель. Станет хуже, отвезем в санчасть.

— БТР сломался, — сказал Сорока.

— А я танк из части пригоню, — строго посмотрел на него Коля. — Главное, чтоб к утру не помер.

К утру я не помер, но рука еще несколько дней болела. Меня освободили от марш-броска на танках, о чем я сильно жалел. Из-за проклятой сколопендры я так и не покатался на танке.

«И как это мы в этом лагере выжили? — думал я, прислушиваясь к жужжанию пуль. — Поневоле согласишься, что все по воле Божьей».

Стреляли из Белого дома. А может, как раз по нему. Россия совершала очередной исторический кульбит, и меня никто не спрашивал, хочу я этого или нет.

— Да, придется идти на службу, — сказал я вслух.

Я шел по улице Воровского к Центральному дому литераторов. Куда еще податься безработному писателю в смутную годину?

Но и Дом был закрыт. Работали только те, кто штурмовал Белый дом и в нем сидел.

Я направил стопы в сторону редакции «Московского вестника».

«Уж эти не станут прятаться», — рассуждал я.

И оказался прав. В редакции, как всегда, выпивали. Во главе стола восседал главный редактор «Московского вестника» Владимир Иванович Уткин. Рядом с ним сидели Костя Коледин и Толя Афанасьев. Они были авторы журнала и могли на равных с главным располагаться за столом. Сотрудники журнала с озабоченным видом сновали по кабинету, изредка присаживаясь, чтоб пропустить рюмку.

В углу на кресле дремал Володя Бацалев.

Я на правах автора тоже сел за стол. Мне тут же налили рюмку.

В кабинет вошла Нина Бурятина, секретарь бюро прозаиков.

— Владимир Иванович, я больше так не могу! — сказала она, прикуривая сигарету от бычка из пепельницы.

— Что такое? — покосился он на нее.

— Вчера забирала Бацалева из обезьянника, а он там с дитем!

— С каким дитем? — после паузы спросил Уткин.

— Со своим! Попал в вытрезвитель с ребенком, который еще ходить не может.

— А где он взял ребенка?

Мы все посмотрели на Бацалева. Спящий, он походил на ангела, уставшего от земной маеты.

— Дома, — помахала рукой, разгоняя дым, Нина. — Решил, что с ребенком его в пьяном виде не заберут, а они забрали. И мне звонят: «Приходите за своим писателем».

— И что? — оживился Афанасьев.

Обычно у него был сонный вид, но эта история его заинтриговала.

— Ничего, — пожала плечами Нина. — Прихожу, а он сидит за решеткой с дитем на руках. У того глазенки как плошки, он ведь еще не говорит. Без слез смотреть невозможно. А менты смеются. Опять, говорят, твои учудили. Я уже устала их из обезьянника вытаскивать.

— Это который обезьянник, на Беговой? — спросил Коледин.

Он был спец по обезьянникам, побывал почти во всех в центре Москвы.

— Наш, на Баррикадной. На Беговую я не поехала бы, — снова махнула рукой Нина. — Владимир Иванович, может, открыть форточку? Дышать нечем.

Уткин пожал плечами.

— Так что все-таки было дальше? — спросил Афанасьев.

— Отпустили, — скорчила гримасу Нина. — Мне они всех отдают, хоть с дитем, хоть без. Вчера выхожу из ЦДЛ с вэзлкашниками, а они стоять не могут…

Нина осеклась.

За столом загалдели, снова переключившись на тех, кто сидел в Белом доме. Отпущенный из обезьянника Бацалев публику интересовал гораздо меньше, чем Хасбулатов.

Я поманил Нину, чтобы она села рядом со мной. Поскольку я тоже учился на Высших литературных курсах, мне была небезразлична судьба их слушателей.

— Что за вэзлкашники? — спросил я ее на ухо.

— Один поэт, второй прозаик, — тоже на ухо ответила мне Нина. — Вывела их из буфета, а они лыка не вяжут. Поставлю одного, второй по стенке сползает. Ставлю этого — второй падает. И помочь некому. Остановила частника, засунула обоих в машину, дала водиле трояк и отправила на Добролюбова. До сих пор руки болят, словно бревна грузила.

— Они и есть бревна, — кивнул я. — На ВЛК культурно пьющих почти не бывает.

— Да, я помню вашего монгола, — согласилась Нина. — Как его звали?

— Пурэвсурэн, — сказал я.

Мне было приятно, что я вот так сразу смог выговорить это имя.

— А также Есдаулет и Токтагул, — добавил я.

— Кто-кто?! — изумилась Нина.

— Тоже однокурсники, — не стал я вдаваться в подробности.

— Давай лучше выпьем, — сказала Нина.

Мы выпили.

— А тебя я все равно читать не могу, — проговорила она, отдышавшись.

— Почему?

— Плачу. Особенно этот рассказ, где батюшку убили. Потом полночи уснуть не могу. Алесенька, не пиши так больше!

Она взяла меня за руку.

Мне льстила высокая оценка моего творчества, но не писать именно так я не мог.

— А я предлагаю выпить за Верховный Совет! — поднялся во весь свой гренадерский рост Коледин. — За победу, ура!

— Да, надо идти на службу, — вздохнул я. — Видишь, уже и Верховный Совет расстреливают.

— Ужас! — согласилась со мной Нина. — Скоро и нас разгонят к чертовой матери.

Страна стремительно катилась в пропасть, но в редакции «Московского вестника» этого не боялись. Русская жизнь без катастрофы — что свадьба без невесты.

Нужно было начинать жизнь заново.

2

К этому моменту у нас с Аленой уже появился сын. Он родился на сороковой день после смерти Георгия Афанасьевича, отца Алены, и не назвать его Георгием было нельзя.

Георгий Афанасьевич мучился суставами, в последние дни едва ходил, и в конце концов его сердце не выдержало. Сказались, во-первых, ужасающие условия в фашистском плену, а во-вторых, страсть тестя к рыбалке. Даже больной, он сбегал от нас, садился в автобус и уезжал к ближайшему пруду.

Во Внуково рядом с больницей тоже был пруд. К середине лета он весь зарастал ряской, из которой торчали обломки дубовых сучьев. Рыбу на нем никто не ловил, однако Георгий Афанасьевич в первый же свой приезд вытащил парочку ротанов.

— Хорошая рыба, — сказал он. — Без костей.

Но Алена ротанов отдала кошкам.

— Бензином воняют, — сказала она.

Я спорить не стал. Пруд был настолько грязный, что нормальной рыбы в нем не могло быть по определению.

К этому времени участок Лепешинской, прилегающий к пруду, купил журналист Певзнер. Поговаривали, что уж он-то расчистит пруд, чтобы здешние дачники устраивали на нем гуляния, а некоторые, вроде Георгия Афанасьевича, ловили рыбу.

Однако этим мечтам не суждено было сбыться. Певзнер расчистил большой яблоневый сад на участке, обнес его высоким забором, но этим и ограничился. Пруд продолжал зарастать ряской.

— Могло бы быть хорошее место для отдыха, — сказал я.

— Он говорит: отдадите пруд в личное пользование — расчищу, — ответствовала жена.

— Кто ж ему отдаст, — хмыкнул я. — Чай, не при капитализме живем.

Но с развалом СССР капитализм как раз и грянул. Пруд, правда, так и остался ничей, а вот со всем остальным произошли большие перемены.

Опустели прилавки магазинов, но зато вокруг них расплодились блошиные рынки, на которых можно было купить все, от бутылки водки до младенческой соски. Мне, в принципе, годилось то и другое, но младенцев вокруг было все же значительно меньше, чем пьяниц. Я свою коляску катал возле нашего дома в Москве практически в одиночестве.

— А кто станет рожать в годы разрухи? — объясняла мне жена. — Только такие дураки, как мы.

— А воля к жизни? — упорствовал я.

— Кончилась воля.

Это было похоже на правду. По телевизору рассказывали о бандитских разборках, землетрясениях и цунами, — и никто не говорил о младенцах.

Страна стремительно разворачивалась лицом к западной демократии.

— Когда нечего жрать, приходится пить, — втолковывали мне собутыльники в «Московском вестнике». — Раньше надо было ребенком обзаводиться.

— Раньше не получалось, — оправдывался я.

С ребенком мы действительно припозднились. Но, значит, где-то там наверху было предопределено, чтобы наш Егор появился на свет именно в год распада СССР.

«Кому-то ведь надо жить дальше, — рассуждал я. — Не выжженную же землю оставлять после себя».

Но большинство граждан бывшей страны жили именно как в последний раз.

Из Минска в Москву на научную конференцию приехал Николай, с которым мы когда-то жили в одном доме.

— Хочу своего коллегу навестить, — сказал по телефону Николай. — Он недалеко от тебя живет, на Удальцова. Не составишь компанию?

Я согласился.

Дом, в котором жил товарищ Коли по фамилии Астахов, находился рядом с метро «Проспект Вернадского». Это была типичная «хрущевка» — обшарпанная, с вонючим подъездом и исписанными ругательствами стенами.

— Переезжаете? — спросил я, оглядывая комнату, в которой жили Астаховы.

У нее был вид словно после ограбления или обыска. На мысль о переезде наводили два больших чемодана, стоявшие посреди комнаты.

— В Штаты, — выглянула из кухни Ляля, жена Астахова. — Сейчас бутерброды принесу.

«Видная особа, — подумал я. — Но я в Штаты даже с ней не поехал бы. Язык плохо знаю».

— А я поеду, — сказал Астахов. — Этнолингвистов и там не хватает.

— А язык? — спросил я.

— Выучу, — пожал плечами Астахов.

Они были любопытная пара. Ляля была глазастая, с пышной гривой черных волос и яркими губами. Астахов длинный, худой, нескладный. Типичный ботаник.

— Сейчас выпьем самогонки, — сказал Астахов. — Сегодня выгнал.

Он ушел в кухню.

— Где преподает? — спросил я Колю.

— В МГУ.

— И что им здесь не сидится?

— Ляля дочка писателя Васильева, — сказал Коля. — Про белых лебедей читал?

— Читал, — кивнул я. — Но сам Васильев вроде в Америку не собирается.

— А Ляля с ним не живет. Родители давно развелись.

— Понятно, — сказал я.

Я подумал, что все-таки не очень хорошо разбираюсь в московской жизни. Как был провинциалом, так и остался. Для меня Москва даже в нынешнем ее виде по-прежнему город мира. А Ляле, видимо, подавай Нью-Йорк. Астахов там тоже будет дурь гнать?

— По самогону он специалист высшего класса, — сказал Коля. — Впрочем, как и по этнолингвистике. Но такую самогонку, как у него, я мало где пил.

Коле можно было верить. Лингвист-диалектолог, он объездил не только Беларусь, но и Украину с Польшей. А что пьют аборигены?

— Давненько не пивал полесской, — вздохнул я.

— Сейчас московской попробуешь.

Астахов вышел из кухни с бутылью, в которую под завязку были напиханы апельсиновые корки.

— Я ее очищаю сначала марганцовкой, потом корками, — сказал он. — Настаивается не хуже коньяка.

Мы выпили по стаканчику и закусили бутербродами со шпротами, которые подала Ляля. Самогонка действительно была отменная.

— Хватит мучиться, — презрительно покосилась на бутыль Ляля. — Я Петра уже пристроила ординарным профессором в университет Торонто.

«Торонто вроде в Канаде», — подумал я.

— Потом переедем в Америку, — посмотрела на меня Ляля. — Главное, зацепиться.

Я согласился. Зацепиться — очень важный момент в жизни. Как зацепишься, так и провисишь. Была бы пещера хорошая.

— А вы чем занимаетесь? — в упор разглядывала меня Ляля.

— Бомблю, — пожал я плечами.

— Шура писатель, — сказал Коля.

Шурой меня называли только студенческие товарищи. Это повелось с наших первых выездов на рыбалку. По вечерам в лесу какие развлечения? Спирт да приколы. «У Шуры шары, шуруп и шайба», — декламировал Саня Калюта. Он у нас был записной остряк.

— Бомблю — это вожу? — заинтересовалась Ляля.

— Ну да. Вчера одну девушку подвозил. Сама в коротком платье, в руках кошелек и бутылка водки в авоське. Упала на сиденье, сказала адрес и тут же уснула.

— Почему? — удивился Астахов.

— Пьяная, — объяснил я.

— Бутылка водки початая? — спросил Коля.

— Нет. — Я тоже удивился.

— И что дальше? — перебила нас Ляля.

— Ничего, — посмотрел я на нее. — Возле дома разбудил. Она говорит: «Пойдем, выпьем». — «Не могу, — отвечаю, — за рулем. Давай плати, как договаривались». — «А мы договаривались?» — кокетничает девица.

Я замолчал.

— Заплатила? — после паузы спросил Коля.

— Куда она денется? — сказал я. — Не было бы денег, отдала бы натурой.

— Какой натурой? — плотоядно облизнулась Ляля.

Сейчас она была особенно хороша. Хлебнет с ней Астахов в своем Торонто. Или где они там окажутся?

— Водкой, — сказал я. — Забрал бы бутылку, и все дела.

— Вот поэтому я и сваливаю, — разочарованно отвернулась от меня Ляля. — Здесь ни с кем ни о чем нельзя договориться.

— Почему, — разлил самогон по стаканчикам Астахов. — Хорошо сидим.

Видимо, ему тоже не особенно хотелось сваливать в Торонто. Но кто его спрашивает?

— А я перехожу в страховой бизнес, — отдышавшись, сказал Коля. — Костя к себе зовет.

— Это какой Костя? — перестал я жевать.

— Мент. Мы с ним в «Крыжачке» танцевали. После университета он пошел в менты, а сейчас открывает страховую компанию. Берет к себе заместителем.

— И правильно,— сказала Ляля. — Откроешь за границей филиал и свалишь. Все так делают.

— Все да не все, — взял еще один бутерброд Коля. — Там стартовый капитал, знаешь, какой нужен?

— А мы без капитала, — закрыла тему Ляля. — Здесь только такие, как наши соседи по подъезду, остаются.

— Им не нравится запах самогона? — посмотрел я на Астахова.

— И это тоже, — поморщился тот. — Но в основном интеллигенты.

— То же самое было в семнадцатом, — кивнул я. — Хоть коммунизм, хоть капитализм, а интеллигенты никому не нравятся. Гнилая кровь.

— Голубая, — поправила меня Ляля.

Мы выпили еще по стаканчику, распрощались и ушли.

— Хороший мужик, — сказал я на улице Николаю. — Где он Лялю нашел?

— Это она его нашла, — засмеялся Коля. — Талант, без пяти минут доктор наук. А какой самогон делает!

— Талантливый человек талантлив во всем, — вспомнил я чьи-то слова. — Станет совсем тяжко, пойду к тебе в страховые агенты.

— Давай, — хмыкнул Коля. — Там, правда, больше Остапы Бендеры нужны. А у тебя все же машина.

Это было правдой. Машина сильно выручала нас. За вечер я зарабатывал тысячу, а то и две. Ночью расценки были выше, но я на ночную работу не отваживался. Все-таки я был больше писатель, чем водитель.

3

— Я бы взял вас к себе, но у нас зарплата маленькая, — сказал Сафонов. — У Вепсова больше.

Как истинный интеллигент из провинции, Эрик обращался к своим собеседникам исключительно на «вы». А может, это была привычка чиновника, которым он поневоле стал на посту главного редактора.

Мы с Эриком сидели на веранде его внуковской дачи.

— Почему Романов не заходит? — спросил я.

Романов, первый секретарь Союза писателей России, жил на первом этаже под Эриком. Я знал, что они с Сафоновым дружат.

— Как все капитаны дальнего плавания, он пьет в одиночку, — сказал Эрик.

— Почему? — удивился я.

— С командой им пить нельзя, вот они и давятся у себя в каюте. Об этом у всех мореманов написано.

— Даже у Иванченко?

— И у него, — кивнул Эрик. — Я Бориса каждый раз приглашаю. «Хорошо», — говорит и не приходит. Так что придется и нам в одиночестве.

— У нас Том, Чук и Мери, — сказал я. — Очень приличная компания.

— Это правда, — разлил по рюмкам Эрик. — Дети тоже редко приезжают. А как ваш сын?

— Растет, — сказал я. — Файзилов нас встретил с коляской, посмотрел и говорит: «Какой осмысленный взгляд!»

— Внуковский, — согласился Эрик. — Так что идите к Вепсову. Его Бондарев двигает, и не исключено, что на самый верх.

Вепсов жил в квартире за стеной, но сейчас его во Внуково не было. Вчера при Эрике он пригласил меня к себе на работу в журнал «Слово». Но я хотел к Эрику.

— У вас зарплата совсем маленькая? — спросил я.

— Меньше некуда, — вздохнул Эрик. — Народ разбегается. Остались Авсарагов, Ованесян и Тер-Маркарьян.

— Для «Литературной России» очень хороший подбор, — кивнул я. — Может быть, подождать лучших времен?

— Лучше уже не будет. А вам надо к Вепсову.

И я пошел на службу в издательско-производственное объединение «Слово», которым руководил Вепсов. Моя должность звучала очень весомо: заместитель главного редактора по издательским проектам. Но на самом деле я был кем-то вроде экспедитора.

Главным редактором этих самых проектов был Владимир Белугин. Мы издавали серию приключенческих романов — Майн Рид, Жюль Верн, Фенимор Купер. Моя задача заключалась в отправке книг подписчикам. Я ездил по железнодорожным вокзалам, заключал договоры с транспортниками и отправлял книги в разные концы страны. Частенько приходилось грузить книги самому.

— Заработаем денег — наймем грузчиков, — подбадривал меня Владимир Ильич. — Завтра из типографии приходит тираж очередного тома, проследи, чтобы все мужики из редакции были на месте.

Это тоже входило в мои обязанности — обеспечивать присутствие.

— А я на больничном, — отговаривался Леша Тимофеев. — Жар, озноб и…

— Понос, — кивал я. — Можешь, конечно, не приходить, но Вепсову это не понравится.

Леша вздыхал, но на разгрузку являлся. Работой нынче не дорожили лишь те, кому нечего было терять, например, Паламарчуку. Но Петр все же был внуком сразу двух маршалов СССР. А маршальским внукам легче было справляться с трудностями, чем остальным.

В «Московском вестнике» я стал появляться гораздо реже, однако бывал.

— Что пьем? — спросил я, приглядываясь к стоявшей на столе бутылке.

— Спирт «Ройял», — сказал Коледин. — Очень хороший напиток, бьет наповал.

— У меня массандровский портвейн, — наклонился к моему уху Паламарчук.

— Тебе самому мало, — отказался я. — Я уж как все.

— Паламарчук, это правда, что вы выпили все вино у Берра? — осведомился Уткин, сидевший, как обычно, на председательском кресле.

В нем он походил на прокурора в зале суда. Картину портил лишь стоявший перед ним стакан со спиртом.

— А кто вам сказал? — поднял одну бровь Паламарчук.

— Да уж сказали, — усмехнулся Уткин.

— Ну, выпил, — не стал отказываться Паламарчук. — Утром похмелиться охота, а все бутылки пустые. Я туда, я сюда, — ничего нет. Засунул руку в резиновый сапог, стоявший у двери, — есть!

— Как ты догадался, что вино во Франции прячут в резиновые сапоги? — изумился Коледин.

— Наитие, — опустил долу цыганские глаза Петр.

— Талант, — сказал я.

— А что в Аргентине? — продолжал допрос с пристрастием Уткин.

— Ты и туда летал?! — рука у Коледина дрогнула, и он пролил спирт на газету.

— Лучше бы не летал, — сказал Паламарчук. — Моим соседом в самолете был Солоухин.

— Очень хороший писатель! — очнулся человек, дремавший на кресле в углу, на котором обычно спал Бацалев.

Отчего-то я понял, что этот человек не из писательского цеха.

— Таких жмотов свет не видел! — посмотрел на него Паламарчук. — Весь полет прикладывался к фляжке с коньяком, а мне не предложил ни разу.

— Сколько туда лететь? — спросил я.

— Часов десять. Представляешь — ни разу! В одиночку весь коньяк выжрал.

— Солоухин таков, — согласился Уткин. — Мне бы он предложил, а вот юнцам вроде вас — никогда.

— И вам бы не предложил! — загорячился Паламарчук.

Назревал скандал.

— А кто здесь писатель? — поднялся с кресла человек в углу. — Мне нужен романист.

— Вот он, — небрежно махнул в мою сторону Уткин.

Я романов не писал, но промолчал.

— Пойдем выйдем, — приказал человек из угла.

Только теперь я понял, что он из воинского сословия.

Мы вышли в коридор.

— Значит, так, — сказал вояка, усилием воли заставляя себя не качаться. — У меня есть сюжет, ты пишешь роман. Идет?

— Идет.

Наблюдая за его усилиями, мне было трудно заставлять себя стоять ровно, тоже хотелось покачнуться.

— На.

Он сунул мне в руки листок.

«Командиру ВЧ 15956 полковнику Пушкину А. Г., — прочитал я, — от командира 1-й авиаэскадрильи подполковника Григорьева В. И. рапорт о служебном расследовании».

— И что? — посмотрел я на вояку.

— Ты читай, читай.

Я стал читать.

«20 августа 1987 года экипаж майора Гумилева Н. К. на самолете АН-12 № 83 выполнял полет по маршруту Львов—Луцк—Дубно—Львов. При этом проводилась перебазировка истребительной эскадрильи с аэродрома Луцк.

Выполнив задание, по метеоусловиям Львова экипаж остался на ночевку на аэродроме Дубно. После ужина в летной столовой экипажем в гостинице была выпита полученная от командира Луцкой эскадрильи пол-литровая (по утверждению экипажа) бутылка технического спирта.

Ночью помощник командира корабля Матвеев С. А. встал в туалет по малой нужде. Однако уставший после напряженного летного дня лейтенант Матвеев С. А. в темноте перепутал дверь в туалет с дверью во встроенный одежный шкаф, вошел в последний и помочился в летные сапоги майора Гумилева Н. К.

Майор Гумилев Н. К. заметил происшедшее только утром, надев сапоги.

В результате сложившейся психологической несовместимости прошу изменить состав штатного экипажа самолета АН-12 № 83».

— Н-да, — сказал я, закончив читать.

— А резолюция? — спросил вояка, который спал стоя, пока я читал. — Резолюцию разобрал?

Действительно, на листке была резолюция, написанная от руки

— Василий Иванович! — вслух прочитал я. — Не надо мне е…ть мозги! Буду я еще из-за всякой херни изменять установочный приказ по части. Объяви Матвееву выговор за несоблюдение субординации, а Гумилев пусть нассыт в сапоги Матвееву и успокоится. Полковник Пушкин.

— Подпись есть? — спросил вояка.

— Есть, — сказал я.

— Вот, — сильно покачнулся он. — Писать будешь?

— Буду.

Я тоже качнулся.

— Сам Пушкин подписал! Бери рапорт себе.

Мы вернулись в кабинет председателя.

«Нет, Карфаген должен быть разрушен, — подумал я, взяв в руки стакан. — Сюжет не хуже «Капитанской дочки». А может, и лучше».

— Договорились? — подмигнул мне Паламарчук.

— Эта штука сильнее «Фауста» Гете, — сказал я.

— Напишешь — дашь почитать.

Мы с Петром чокнулись.

К сожалению, я тогда не знал, что мы с Паламарчуком больше не увидимся. Он сильно исхудал и пил свой портвейн уже через силу. А спустя месяц мне сообщили, что Петра не стало.

— Отпевание в Сретенском монастыре, — сказала по телефону Бурятина. — Придешь?

— Приду.

Народу в храме было не много и не мало, ровно столько, чтобы не было толкотни. Несмотря на окладистую бороду Петра, было видно, что он совсем молод, едва-едва за сорок.

«Один из самых талантливых моих сверстников, — думал я. — Его «Сорок сороков» останутся навсегда. Мы мрем сейчас от болезней или от невозможности жить?»

Отпевал сам отец Тихон. Пахло ладаном и еще чем-то, чем всегда пахнет в минуту прощания.

4

Что происходит в стране, лучше всего было видно по писательскому сообществу. Писатели не просто разделились на патриотов и либералов — они передрались в прямом смысле этого слова. На одном из собраний писателю Курчаткину разбили очки, и он ходил, размахивая ими, как стягом повстанческой армии.

На другом собрании сибирский писатель Тигров вышел на трибуну, обозрел сидящих перед ним собратьев и молвил:

— Некоторые русские бывают даже хуже евреев.

Ему зааплодировали и те, и другие.

А мой непосредственный начальник Белугин подался в коммерсанты.

— Чем будешь заниматься? — спросил я его.

— Всем, — ответствовал Владимир Ильич. — Сейчас очень хорошее время для самореализации.

— Из меня коммерсант не получится, — вздохнул я.

— Это удел избранных, — усмехнулся Белугин.

На работу он стал приезжать на роскошном белом «крайслере». Когда тот парковался у нашего здания на Сущевке, его морда далеко высовывалась из ряда машин.

— Хороший автомобиль, — сказал я водителю Белугина Анатолию.

— Да он не заводится, если лампочка перегорела! — сверкнул тот глазами. — Кругом стоят датчики, чуть что не так, отключает все нахрен!

— Датчик на алкоголь тоже стоит?

— Если б стоял, мы бы совсем не ездили, — заржал Анатолий. — Ильич без этого не может.

Я заметил, что в круг избранных попадали в основном поэты. Особенно хорошо это было видно в ресторане ЦДЛ. Владимир Ильич иногда приглашал меня на дружеский ужин, и к концу застолья за нашим столом оказывались поэты Байбаков, Медведский и Балбесов. Они говорили о вагонах с медицинской техникой, леспромхозах и пушкинских медалях из платины, золота и серебра. Поэт Медведский держал пуговичную фабрику.

— Не пуговичную, а фурнитурную, — поправлял он меня.

Я к тому времени перешел в издательство «Советский литератор», которое возглавил Вепсов.

— Чем там занимаешься? — меланхолично спросил меня Балбесов.

— Рекламой.

— Перспективное направление, — устремил он усталый взор на девицу за соседним столиком. — Я леспромхоз купил, а зачем он мне?

— В Сибири? — почтительно спросил я.

— На Севере.

Я знал, что Юра Балбесов был сыном генерального директора объединения «Магадан-золото». В начале девяностых того убили, и друзья директора купили в складчину Юрочке леспромхоз. Чтоб не пропал, так сказать, поодиночке.

— Отдыхать в Испанию ездишь?

Поговаривали, что в Испании у Балбесова особняк.

— Не только, — усмехнулся Юра. — Ну, и что мы будем делать с Танькой?

— Ее сейчас привезут, — сказал Медведский.

— Что за Танька? — спросил я Белугина.

— Наша сотрудница, — ответил тот, сноровисто расправляясь с шашлыком по-карски. — Украла вагон с медтехникой и свалила в Германию. Мы наняли людей из ФСБ и нашли ее. Сейчас привезут.

— Прямо сюда? — поразился я.

— Да вон ведут, — махнул рукой Белугин. — Ну что, пошли?

Балбесов, Медведский и Белугин поднялись и направились к столику, за которым устраивалась видная особа в сопровождении двух импозантных господ.

«И не скажешь, что воровка, — подумал я, разглядывая Таньку. — Ноги и вовсе до плеч».

Коммерсанты расцеловались с девицей, как лучшие друзья.

«Интересно, что делают с теми, кто украл вагон? — размышлял я, явственно ощущая холодок в животе. — Даже если у нее такие ноги?»

Девица хохотала, прикуривая у Балбесова сигарету. Изредка она с интересом оглядывалась по сторонам. Похоже, в ресторане ЦДЛ до этого она не бывала. Сопровождающие ее товарищи поднялись и ушли. Медведский с Белугиным тоже вернулись за наш стол.

— И что? — спросил я Белугина.

— Ничего, — поморщился тот. — Пусть Юра с ней разбирается.

Через какое-то время Балбесов с девицей поднялись и ушли из ресторана.

— Простил?! — не верил я собственным глазам.

— Не убивать же ее за какой-то миллион, — засмеялся Белугин. — Вернет оставшиеся деньги, и дело закрыто. Это же бизнес!

Мне такой бизнес был непонятен. Но я в него и не лез, хватало своих забот.

В издательстве я возглавил отдел рекламы и маркетинга, но что это такое, не знали ни руководство, ни рядовые сотрудники.

— Изучай вопрос, — сказал Гена Петров, который меня курировал. — Мы и редактора тебе даем.

Моя помощница оказалась стройной голубоглазой блондинкой.

— Лена, — порозовела она от смущения при знакомстве.

Мне тоже стало не по себе.

— Раньше рекламой занималась? — спросил я.

— Нет.

— А редактированием?

— Тоже нет.

— Что ж, будем учиться, — бодро сказал я. — Ваша мама…

— Замдиректора по производству.

— Где?

— У нас.

— А муж?

— В Израиле.

Как выяснилось, семейная жизнь Леночки была столь же ужасающа, как и в стране вообще. Муж Леночки оказался подлецом. Он, типичный русак из Коломны по фамилии Сидоров, женился не на обладательнице длинных ног и полного бюста, украшенными изящной головкой с пышными волосами и очами с поволокой, а на ее крови. Леночка была частично еврейка с родственниками в Израиле.

Муж, строитель по специальности, уехал в Израиль якобы для знакомства с родственниками. Там он провел маркетинговую кампанию — я уже знал, что это такое, — и сказал, что в Израиле можно организовать хороший строительный бизнес.

— И ты отпустила его одного? — спросил я Леночку.

— Но я же не знала! — губы Леночки задрожали.

— А каков он внешне?

— Высокий, — потупилась Леночка.

— Н-да, — задумался я. — Тяжелый случай. И где он сейчас обретается?

— В Эйлате, на юге Израиля.

— Там ведь климат тяжелый.

— Летом за сорок. Но он говорит, что и в жару можно строить.

— Проходимцы строят при любой погоде, — сказал я. — У нас вон в Арктике строителей больше, чем в Москве.

Если бы я не был женат на своей Лене, я немедленно бросился бы свою сотрудницу спасать. Даже в горе она была так хороша, что устоять перед ней не представлялось возможным.

Но, к счастью, из издательства уволилась сначала мама Леночки, затем и она сама. А мой отдел был ликвидирован, и я стал просто редактором.

«Что ни делается, все к лучшему, — с легкой грустью подумал я. — Для меня она все же слишком хороша. А поляки говорят: цо занадто, то не здрово».

И я отправился утешаться в «Московский вестник». Там все носились с новым дарованием — писателем Палкиным.

— Тоже рассказы пишешь? — мрачно спросил меня Палкин.

— Пишу, — сказал я.

— Бросай, — налил он себе в стакан водки. — Самое последнее дело — писать рассказы.

— А Чехов? — возразил я.

— И Чехов дерьмо. Сейчас его никто не печатал бы.

За Чехова мне стало обидно. Изредка меня с ним сравнивали, и это как-то примиряло с действительностью.

С Чеховым еще в детстве у меня приключилась забавная история. Мы жили в Речице, я запоем читал Майн Рида, книги которого в городской библиотеке были редкостью. Там меня знали и откладывали Майн Рида в сторону, если вдруг кто-то его сдавал.

— Вас таких двое, — смеялась библиотекарша. — Читаете все подряд, скоро совсем ослепнете.

Вторым был Витька из параллельного седьмого класса. Он был настолько поглощен чтением, что у него не оставалось времени даже на сон, не говоря уже про еду. В следующий класс его переводили только потому, что у нас в стране было обязательное среднее образование.

В какой-то момент Майн Рид кончился окончательно, и я с утра до вечера пропадал на Днепре. «Вырасту, уеду в большой город и куплю там полное собрание сочинений Майн Рида», — думал я, вытаскивая уклейку.

Однажды я зашел в гости к уличному соседу Петьке. Сам он жил в Мончегорске, но на лето его привозили к бабке в Речицу.

— Твои? — показал я на книги, ровным строем стоящие на полке.

— Бабкины.

— Читал?

Петька посмотрел на меня, как на идиота.

— Можно, я возьму одну?

— Бери все, — махнул рукой Петька. — Бабка их тоже не читает.

И я за лето одолел собрание сочинений Чехова в шести томах. Не скажу, что я дочитывал все рассказы до конца, например, «Даму с собачкой» можно осилить только под дулом пистолета, но рассказ «Налим» был хорош.

До сих пор из писателей, портреты которых висели в классе, мне нравился лишь Гоголь. Его «Страшная месть» представлялась вершиной, на которую не вскарабкаться простому смертному.

И когда я упомянул имя Чехова при нашей «русачке» Марье Семеновне, она онемела.

— Кожедуб, — заявила она, придя в себя, — ты станешь писателем. У меня еще не было ученика, который в седьмом классе читал бы Чехова.

Впрочем, я и сам знал, что стану писателем, и не придал ее словам большого значения.

И тут какой-то Палкин заявляет, что Чехов дерьмо.

— Где ты его нашел? — спросил я Сербова, суетящегося подле Палкина.

— В самотеке, — не стал тот врать.

— Готов за него поручиться?

— Конечно, это новое слово в русской литературе.

— Ну-ну, — посмотрел я по сторонам.

В редакции уже практически все были пьяны, даже Уткин.

— С теми, кто не уважает Чехова, у нас не пьют! — заявил он, воинственно блестя очками.

Палкин, ни слова не говоря, поднялся и бросился на Уткина, норовя сорвать с его носа очки. Послышались глухие звуки ударов, сопение, со столов на пол посыпались рукописи. Сотрудники бросились разнимать дерущихся, что только увеличило суматоху.

Общими усилиями Палкина выкинули за дверь.

«Пора уходить, — подумал я, поднимаясь. — Без женщины пьянка превращается в драку, а с нами даже Бурятиной нет».

На выходе я увидел Палкина, который рвался назад в здание.

— Русского гения бьют! — орал он.

— Владимир Иванович, идите домой, пока под вторым глазом синяк не поставили, — урезонивал его Сербов.

Только сейчас до меня дошло, что Уткин с Палкиным полные тезки.

— Говнюки, — бушевал Палкин, — даже драться не умеете!

— Мы и не должны уметь, — сказал я Сербову. — На твоем месте я сходил бы за бутылкой.

— Иду, — вздохнул Сербов. — Как хороший писатель, так обязательно сволочь. Владимир Иванович, ты со мной?

— А с кем же еще! — полез тот к нему целоваться. — Поехали ко мне, хоть выпьем.

— Его возьмем? — показал на меня Сербов.

— Нет, — отвернулся от меня Палкин.

Я с ним согласился. Два рассказчика за одним столом — это перебор.

5

Союз писателей СССР вместе с Советским Союзом почил в бозе, и на его руинах возникло Международное сообщество писательских союзов.

— Какой-то МПС, а не Союз, — сказал мне консультант Дудкин. — А на месте машиниста бухарский меняла.

— Кто? — удивился я.

— Мулатов. Его дед был главным ростовщиком в Бухаре. А яблоко от яблони, как ты знаешь, падает недалеко. Консультантом по белорусской литературе к нам не пойдешь?

— Консультантом? — еще больше удивил я. — Там же Володя Плотников.

— Уволился.

— А ты становись консультантом по совместительству, — посоветовал мне Вепсов, когда я ему рассказал об этом предложении. — Со вчерашнего дня я у Мулатова заместитель.

Это меняло дело.

В одной из комнат в особняке на Поварской мне выделили стол.

— Я ж говорил, что все образуется, — похлопал меня по плечу Дудкин. — План мероприятий составил?

— Какие сейчас мероприятия? — хмыкнул я. — Денег нет.

— Денег нет, а план должен быть, — засмеялся Дудкин. — Да и с деньгами не так все плохо.

Поговаривали, что Дудкин участвовал в переговорах по сдаче флигелей под рестораны. А кто сейчас открывает рестораны? Бандиты.

Как-то в комнату, в которой я сидел один, вошел Мулатов.

— Скучаешь? — посмотрел он на мой пустой стол.

— За свой счет даже из Минска перестали к нам ездить, — сказал я.

— Тому, кто заключит с нами договор, заплатим. Ты им скажи. Телефон работает?

— Работает.

— Видишь, у нас и телефон работает, и служебная машина есть. Даже курьера держим. А ты сидишь и ничего не делаешь. Знаешь, как я стал председателем?

— Нет.

— Тогда слушай. Беловежская пуща у вас?

— У нас.

— Вот. Ельцин, Кравчук и этот ваш…

— Шушкевич.

— Да, Шушкевич. Подписали они в Пуще соглашение, а здесь все струсили. Разбежались, как крысы, и все бросили. Кабинеты стоят пустые. Мы заседаем в конференц-зале, Евтушенко, Черниченко выступают с речами. Твой Адамович тоже выступал. Я поднялся и пошел по кабинетам. Захожу в кабинет первого секретаря… Знаешь такой кабинет?

— Знаю.

— В нем Фадеев сидел. Я захожу и вижу открытый сейф. Представляешь, этот разведчик на фронте языков брал, ему Героя Советского Союза дали. А здесь он бросил открытый сейф. Я открываю дверцу, беру печать Союза писателей и возвращаюсь в конференц-зал. «Вот вы здесь выступаете, — говорю я, — а у меня печать».

Мулатов достал из кармана печать и показал мне.

— Теперь ты понимаешь, как берут власть? — пристально посмотрел он на меня.

— Так было всегда, — сказал я. — Один бросает, второй подбирает. Сначала царь бросил, потом Горбачев.

— Они здесь думали, что самые умные, а печать достать из сейфа не сообразили. Ты скажи своим белорусам, что власть у того, у кого печать.

Он грузными шагами вышел из кабинета.

«Настоящий бай, — подумал я. — В Средней Азии, наверное, все внуки ростовщиков становятся баями. Впрочем, они ими и в Москве становятся».

Через несколько дней по МСПС разнесся слух, что Дудкина нашли на одной из подмосковных платформ с простреленной головой.

— Не в свое дело полез, — усмехнулся Белугин, когда я рассказал ему об этом. — В современном бизнесе выживают не все.

— У тебя вроде все тип-топ?

— Это с виду…

Владимир Ильич издавал журнал «Золото России», и, похоже, денег на него уходило значительно больше, чем ему хотелось бы. Но это отнюдь не мешало Белугину регулярно посещать ресторан Дома литераторов.

Издательство «Советский литератор» изменило не только название, но и всю структуру. Были упразднены должности двух заместителей главного редактора, заведующих почти всех редакций и машбюро. Остались лишь бухгалтерия и производственный отдел.

— Скоро всех уволят, — сказал мне Петр Коваль.

— А кто будет работать?

— Никто, — пожал плечами Петр. — Останутся лишь те издательства, у которых налажена продажа книг. А какая у нас продажа?

Это было правдой.

— Доделаю Есенина и уволюсь, — махнул рукой Коваль.

Он редактировал полное собрание сочинений Есенина в одном томе.

— Ну, и как Есенин?

— Очень плохой поэт, — вздохнул Коваль. — Было бы можно, я б выкинул половину его стихов.

О том, что Есенин плохой поэт, мог сказать только поэт.

«Но выкинуть ничего не посмеешь», — подумал я.

У самого меня в плане издательства «Советский литератор» когда-то стоял сборник повестей и рассказов. Я даже получил шестьдесят процентов гонорара. Но тут наступил девяносто второй год, и все договоры с авторами были расторгнуты.

Сейчас я работал в издательстве редактором, но о книге даже не помышлял.

Книги, тем не менее, в издательстве выходили, и среди них попадались очень хорошие. Я, например, с удовольствием работал над «Загадками русского народа» Садовникова.

— Мохнушка залупается, красным девкам подобается, — остановил я в коридоре корректоршу Люсю. — Что такое?

— Не знаю, — покраснела она.

— Орех, — сказал я. — А ты что подумала?

— Ничего, — еще больше покраснела она. — Я Есенина читаю.

Поэт Юрий Кузнецов корпел над «Поэтическими воззрениями славян на природу» Афанасьева.

— Обедать пойдем? — заглянул я в его кабинет.

— Сейчас закончу, и пойдем, — строго сказал Кузнецов.

Он вписывал шариковой ручкой в верстку греческие буквы. Никаким другим способом отобразить эти буквы было нельзя.

— Там только греческие буквы или есть и из других алфавитов? — полюбопытствовал я.

Кузнецов оторвался от верстки и снова посмотрел на меня, сдвинув брови. Я понял, что отвлекаю человека от важного дела.

— Ладно, — сказал я и закрыл дверь.

— А почему вчера после обеда вас не было на рабочем месте? — подскочил ко мне Гена Петров.

— А почему вы следите за мной, как за любимой наложницей? — парировал я.

— Я заместитель генерального директора! — побурел от негодования Петров.

— Ну и пошел в задницу! — отчетливо донеслось из полуоткрытой двери кабинета, в котором сидел Коваль.

Гена подпрыгнул и умчался на второй этаж.

— Сейчас Вепсову пожалуется, — сказал я Ковалю.

— Я этого и добивался, — пробурчал Петр.

— Зачем?

— А чтоб по башке получил.

Коваль как в воду глядел. Гену послали куда подальше не только товарищи по редакторскому цеху, но и начальство.

— Откуда ты знал? — спросил я Коваля на следующий день.

— На тонущем корабле действуют другие законы, — сказал тот. — Ты, небось, после обеда к любовнице ходишь?

— Бомблю, — досадливо поморщился я.

Зарплаты, которую я получал в издательстве, на жизнь катастрофически не хватало, и я вынужден был взяться за старое. Заодно знакомился с окраинами Москвы, до которых до этого не добирался.

Вчера повез компанию бритоголовых хлопцев в деревню Чоботы.

— Где это? — спросил я

— Ехай до Ново-Переделкина, там покажем, — приказал старший из хлопцев.

Название Чоботы мне понравилось, и я поехал.

— Чобот по-белорусски сапог, — сказал я.

— Сам ты сапог! — обиделся один из тех, что сидели сзади.

— Ехай-ехай, — миролюбиво сказал старший, расположившийся на сиденье рядом со мной. — У нас в Чоботах народ смирный.

В Ново-Переделкино мы свернули направо и проехали около километра лесом.

— Вишь, какие наши места? — подмигнул мне старший. — А ты, дурочка, боялась.

Хлопцы заржали.

В деревне у крайнего дома мне велели остановиться. Все вышли, громко захлопнув за собой двери.

— Жди, — сказал старший. — Сейчас вынесем сколько надо.

Я понял, что денег мне не видать.

«Ну и ладно, — подумал я, разворачиваясь. — Хорошо, не придушили. Народ в Чоботах смирный…»

Я позвонил в Минск в Союз писателей и рассказал о печати Мулатова.

— Да пошли они со своей печатью! — услышал я в трубке. — У нас независимое государство, у которого свои печати. Ты лучше на съезд приезжай.

Я понял, что сидеть на двух стульях не имело смысла, и забрал из МСПС свои вещи, благо, их там практически не было. Мулатов меня не удерживал. Консультанты оставались лишь по узбекской, казахской, таджикской и киргизской литературам, что называется, из ближайшего окружения Мулатова.

— Сколько ты там продержался? — спросил Коваль.

— Месяц, — сказал я.

— И то много, — кивнул он. — Я тоже заявление написал.

— Чем будешь заниматься?

— Книги писать. Теперь это единственное, что имеет смысл.

Но я его примеру следовать не стал. Наоборот, я считал, что в нынешние времена служба, пусть и низкооплачиваемая, гораздо перспективнее, чем написание книг, пусть и нужных народу.

— О чем пишешь? — на всякий случай поинтересовался я.

— О террористах.

Это была очень нужная книга. Но я Ковалю не завидовал. Не всем ведь становиться нобелевскими лауреатами. Невзирая на вид типичного москаля, я оставался белорусским писателем.

А какие из нас нобелианты?

6

В Минске внешне все вроде оставалось по-старому, однако в умах тоже происходили изменения.

— Перехожу в католики, — сказал мне Алесь Гайворон.

Мы сидели в баре «Ромашка», потягивая «Казачок» — водку с апельсиновым соком.

За время, пока мы не виделись, Алесь погрузнел, превратившись в местечкового дядьку, у которого в жизни остался один интерес — практический.

— Почему не в униаты? — спросил я.

Лет пятнадцать назад мы с ним всерьез изучали проблемы униатства в Беларуси. Что было бы, если бы в Северо-Западном крае действительно

возобладали последователи Иосафата Кунцевича, которого утопили в Западной Двине взбунтовавшиеся витебчане? Беларуси сегодня надо было выбираться на свой шлях, но никто не знал, как это сделать.

— Надо переходить под сильную руку, — устремил взор вдаль Алесь.

С годами он все чаще стал пользоваться преимуществом своего роста. Смотря поверх голов вдаль, ты поневоле возносишься над окружающими.

— Почему не под московскую?

— Дак Европа же.

Я покивал головой. Европа была сильным искушением. Короли, канцлеры, магистры, Ротшильды с Рокфеллерами, а над всеми ними Монбланом возвышается Папа Римский. Это зрелище могло очаровать кого угодно.

— И когда собираешься креститься?

— Уже, — веско сказал Алесь.

— Да ну? — удивился я. — Innomine et patria, et filia, et sancta simplicia?

У Алеся отвисла челюсть, и его взор сполз с горних высей на грешную землю.

— Ты тоже наш? — потрясенно спросил он.

— Не помнишь, как я латынь сдавал?

— Нет, — помотал головой Алесь. — Я на журфаке учился.

— Журфак любой идиот осилит, — вздохнул я. — А у меня был Беньямин Айзикович.

Мне казалось, что историю про латынь помнят все мои друзья — ан нет.

«Вот так и о каждом из нас позабудут потомки», — подумал я.

Латынь мы изучали на первом курсе, и после второго семестра у нас был даже не экзамен, а обыкновенный зачет. Но здесь следовало учесть, что преподавателями латыни у нас на филфаке были глубокие старцы Мельцер и Пильман.

Моим учителем был Беньямин Айзикович Мельцер. Это был носатый согбенный еврей, окончивший Ягеллонский университет то ли в тридцать шестом, то ли тридцать седьмом году. Перед войной он эмигрировал в Советский Союз и вот уже сорок лет преподавал на юрфаке римское право, а на филфаке латынь. Несмотря на мафусаилов возраст, а может, как раз из-за него, Беньямин Айзикович интересовался исключительно девушками. Он вызывал к доске какую-нибудь Ленку Коган, у которой ноги начинались от ушей, и ходил вокруг нее, как кот возле сала, пока та стучала мелом, записывая: «Sic transit gloria mundi». Афоризмы Беньямин Айзикович всегда подбирал соответственно моменту.

Ребят он практически не замечал, но со мной вышла промашка. Ко мне из Киева в гости прилетел одноклассник Санька. Мы с ним распили бутылку вина, погуляли по городу и зашли на филфак. Саня захотел лично осмотреть заведение, в котором учится его лучший друг. Мы так громко обсуждали в коридоре занюханность этого самого заведения, что дверь одной из аудиторий распахнулась и на ее пороге вырос Беньямин Айзикович.

Оказалось, что занятия по латыни в этот день проходили именно в моей группе. И Беньямин Айзикович меня узнал. Точнее, ему подсказала Ленка, выглянувшая вслед за ним из двери.

— Кожедуб? — удивилась она.

— Вот он Кожедуб? — показал на Саню пальцем, таким же крючковатым, как и его нос, Мельцер.

— Второй.

Врать Ленка не умела, но первокурсникам это простительно.

— И он из нашей группы? — уточнил Беньямин Айзикович.

— Да.

— Заходите, — пригласил меня в аудиторию учитель.

Но мы с Саней, толкая друг друга, постыдно бежали.

На всех последующих занятиях по латыни я забивался в самый дальний угол аудитории, но Беньямин Айзикович уже запомнил меня. К доске не вызывал, однако всякий раз удовлетворенно кивал, обнаружив меня в задних рядах. Роль кота, скрадывающего мышь, нравилась ему ничуть не меньше, чем охотящегося за салом.

В первый раз на зачете он меня даже не стал спрашивать.

— Идите готовьтесь, — небрежно махнул он рукой. — Латынь надо не прогуливать, а учить!

Во второй раз он недолго послушал меня, склонив голову набок.

— Нет, это еще не настоящая латынь, — сказал Мельцер. — Произношение не то.

У самого Беньямина Айзиковича произношение было как у обычного местечкового еврея: цивилизацья, канализацья. А может, здесь сказывалось влияние польского языка, Мельцер его тоже знал.

В третий раз я сдавал вместе со всеми двоечниками курса, которых набралось около десятка. Зачет получили все, кроме меня.

— Приходите тридцать первого на юридический факультет, — сказал Беньямин Айзикович. — Знаете, где юрфак?

— Знаю, — сказал я.

В спортзале юридического факультета я занимался в секции вольной борьбы, но говорить об этом Мельцеру отчего-то не стал. Я догадывался, что латынь и вольная борьба плохо сочетаются.

— Юристы там будут сдавать римское право, — кивнул Мельцер.

— Тоже двоечники? — догадался я.

— Конечно, — вскинул на лысину мохнатые брови Беньямин Айзикович. — Постараюсь до двенадцати всех отпустить.

Это был мой первый экзамен вечером тридцать первого декабря. Сам Беньямин Айзикович этот день праздничным, видимо, не считал.

«Заочники», — подумал я, оглядывая товарищей по несчастью.

Все они были старые, лысые и пузатые. По привычке я устроился в заднем ряду аудитории.

Беньямин Айзикович начал с юристов, которые не знали не только римского права, но и русского языка. Они стояли перед ним, как соляные столбы, с вытаращенными глазами.

— Приеду домой и сразу подам рапорт на увольнение, — прошептал студент, сидевший рядом со мной.

— Милиционер? — спросил я.

— Замначальника райотдела.

У него отвисли брюхо и челюсть, а глазки округлились да размеров пуговицы на пиджаке. Я не удивился бы, если бы под пиджаком у него обнаружилась кобура с пистолетом, но здесь ему не помог бы и пистолет.

«Впрочем, можно застрелиться», — цинично подумал я.

— Ладно, — поднялся со своего места Беньямин Айзикович, — юристы римского права не знают. Прискорбно, но это факт. Теперь давайте послушаем, как знают латынь студенты-филологи.

Соляные столбы в аудитории мгновенно превратились в шаловливых отроков. Мой сосед достал из кармана носовой платок, вытер им багровое

лицо и громко высморкался. Об увольнении из органов, похоже, он уже не помышлял.

Тяжело вздохнув, я повлекся к ритору. Он походил на изголодавшегося грифа-стервятника, которому не терпится вскочить на жертву, пробить мощным клювом чрево и потянуть из него кишку.

Латынь у меня отскакивала от зубов. Я склонял, спрягал и сыпал афоризмами: «Доколе же ты будешь, Катилина…»

Юристы хохотали как припадочные. Вероятно, я им казался кем-то вроде Карцева, выступавшего в университете на прошлой неделе. «Ты не кас-сир Сидоров, ты убийца!»

Не смеялся один Беньямин Айзикович, и это сильно беспокоило.

— Стоп! — наконец поднял он руку. — Несите зачетки. Всем по тройке.

— А мне?

Голос у меня внезапно сел.

— Зачет в ведомость я вам поставил еще на прошлой неделе, — удивленно посмотрел на меня Мельцер. — Надо было спросить в деканате. Давайте зачетку.

Только теперь я узнал истинную цену издевательствам.

Беньямин Айзикович расписался в зачетке и протянул ее мне.

— Начало одиннадцатого, — сказал он. — Может быть, еще успеете к столу. Вы хорошо бегаете?

С этого дня я стал любимым учеником Беньямина Айзиковича. При встрече он хватал меня цепкими пальцами за рукав пиджака и не отпускал, пока я не отчитывался об успехах, включая спортивные.

— Очень хороший мальчик, — говорил он окружающим. — А как знает латынь! Приходите ко мне домой, я вам покажу манускрипт, который еще никому не показывал. Знаете, о чем он?

— О пользе образования, — кивал я.

— Вот! — поднимал вверх указательный палец Беньямин Айзикович. — Даже современного студента можно научить латыни.

Гайворон не знал ни самой латыни, ни того, как я ее сдавал.

— А еще католик, — сказал я.

— Говорят, нам дадут ксендза, который будет служить на белорусском, — снова стал смотреть поверх моей головы Алесь. — В православии таких попов нет.

— А нам и не надо, — хмыкнул я. — Сегодня иду на банкет по случаю Дня славянской письменности.

Это был сильный удар по конфессиональным убеждениям Гайворона. Как бы торжественно ни звучали мессы в костеле, им все-таки было далеко до православных треб. Я уж не говорю о банкетах.

— Где накрывают? — спросил Алесь.

— В «Юбилейке», — сказал я.

Это была наша любимая гостиница. Студентами мы с Алесем жили в общежитии на Парковой и частенько заглядывали в интуристовскую гостиницу «Юбилейная». В баре на втором этаже было полно валютных проституток, но нам это не мешало. У Алеся среди них были даже подружки, чему я, признаться, тогда завидовал.

И вот я иду на банкет в «Юбилейную», а Гайворон, вероятно, к ксендзам.

— Quod licet Jovi non licet bovi, — сказал я.

— Чего? — покосился на меня Алесь.

Он всегда подозревал меня в гордыни, и небезосновательно.

— Да так, — сказал я. — Выучишь латынь — узнаешь.

7

День славянской письменности отмечался в Минске с размахом. Гостей из всех славянских стран возили по памятным местам, их благословлял в кафедральном соборе митрополит Филарет, в последний день празднования в банкетном зале «Юбилейной» были щедро накрыты столы, и все это говорило лишь о том, что не все ладно в Датском королевстве.

Я сам одной ногой был в Москве, но второй еще оставался в Минске. Да, обмен квартиры произошел, я сдал документы на прописку в паспортный стол на Арбате, но друзья все-таки оставались здесь. Никуда не денешь и пять книг на белорусском языке, которые вышли в издательстве «Мастацкая літаратура».

— Новые издашь, — сказала мне в храме жена. — Смотри, Крупин.

Автор нашумевшей повести «Сороковой день» истово бил поклоны перед иконой. Вообще бросалась в глаза некоторая исступленность в поведении многих гостей. Хозяева взирали на происходящее с плохо скрытым изумлением. Здешняя номенклатурная элита, как мне представлялось, сплошь состояла из председателей колхозов, бывших и нынешних.

В банкетном зале стреляло шампанское. С соседями по столу я беседовал о великолепии русского слова, объединившего не только славян, но и ордынцев с тунгусами.

— Искусства лучше всего развиваются в империи, — заключил я.

Мои соседи за столом умолкли. Слово «империя» не понравилось ни одному из них.

— Империи уже не будет никогда, — сказал сосед справа.

— Жрать и так нечего, а тут империя, — согласился с ним сосед слева.

Я посмотрел на стол, который ломился от этой самой жратвы.

— Но тогда и искусства погибнут, — сказал я.

Они уставились на меня не просто как на идиота, а как на больного идиота.

— Да этого искусства у нас девать некуда, — гоготнул тот, что справа.

Я понял, что от письменности мои соседи далеки.

«На банкетах это бывает», — подумал я.

— В Литве русский язык никто не учит, — сказал левый сосед. — Наши хлопцы давно на ихнем лабают.

«Это что же за хлопцы?» — взглянул я на соседа.

Так и есть, искусствовед в штатском. Успел я или не успел что-нибудь ляпнуть? Наверное, успел. Но на банкетах они не всегда на работе…

— Так, владыко по столам пошел, — подобрал живот сосед справа, вероятно, старший. — Давай к нему!

Они взяли по фужеру с шампанским и бодрым шагом направились к Филарету. Тот чокался с писателями за соседним столом.

Владыко, впрочем, ловко обогнул моих собеседников и направился прямиком к нам.

— С праздником! — чокнулся он сначала с Аленой, затем со мной.

Глаза его смеялись. Мне стало хорошо, будто иерарх только что благословил меня. А может, он и вправду благословил.

— За искусство! — отсалютовал я соседям, стоявшим наподобие часовых у мавзолея.

Они сделали вид, что меня не знают.

«На работе», — понял я.

— А здесь много классиков, — сказала Алена. — Михалкова что-то не видно.

— Распутин приехал?

— Должен быть.

Она завертела головой.

— «На лучшее надеемся мы зря, когда Распутин около царя», — процитировал я эпиграмму ее отца.

— Здесь папа не прав, — нахмурила бровки жена.

В такие минуты с ней лучше не спорить, да я и не собирался. Меня больше интересовали белорусские классики. Как они себя поведут в новых условиях? На последнем съезде Максим Танк сложил с себя полномочия председателя правления Союза писателей, его место занял Василь Зуенок.

Я Василь Васильевича знал еще по журналу «Маладосць». Это был хороший человек, но, как говорила наша машинистка Лариса Петровна, не умел писать. Она имела в виду не стихи, а приказы по редакции. Их она переписывала по собственному усмотрению, и как правило, значительно улучшала.

А в качестве руководителей Союза писателей Танк и Зуенок были для меня одинаковы.

Еще во время работы на телевидении мне довелось записывать встречу депутата Верховного Совета республики Максима Танка с избирателями в Островце. Там народный поэт Максим Танк был Евгением Ивановичем Скурко, как в паспорте. Мало кто, кстати, знал, что танком он стал не от танка, давящего врага, а от одной из форм японского стихосложения — танки. Но, согласитесь, Максима Танка для белорусского уха звучала не очень хорошо, и он стал Танком.

Съемочная группа состояла из кинооператора, звукорежиссера, двух осветителей и меня — редактора. Мы приехали в местный Дом культуры. Оператор установил на треноге камеру, звукорежиссер Танечка водрузила на трибуне микрофон. Осветители быстренько поставили на сцене софиты, и один из них тут же умчался в магазин за пивом. Осветители в нашем телевизионном братстве были единственные, кому дозволялось выпивать, негласно, конечно. Я в основном глазел на Танечку. Для звукорежиссера она была исключительно хороша.

Зал на пару сотен мест быстро заполнился. Народ сидел хмурый, немногословный. У всех, как говорится, хозяйство, а тут волынка часа на два, а то и на все три. Депутат Верховного Совета, конечно, большой человек, но свинью не накормит. Да и корову не подоит, если уж на то пошло. Люди сидели, мрачно разглядывая пустую сцену.

— Приехали! — подскочила Танечка и помчалась к трибуне проверять микрофон.

«Коза!» — качнул я головой.

Резвые ножки Танечки определенно были из другого спектакля.

Осветители включили софиты. Ребята тоже были излишне веселы, но здесь хотя бы понятно, почему. Я слышал звяканье пивных бутылок за кулисами.

Товарищ из райкома партии представил публике народного поэта, и Евгений Иванович принялся бодро читать доклад по бумажке. Для него это было привычное дело. Впрочем, и островецкие избиратели не сегодня на свет появились. Кто дремал, кто пялился в потолок, парочка ветеранов в первом ряду, приставив ладонь к уху, напряженно слушала.

И вдруг один из софитов, стоявших за спиной Танка, с грохотом взор-

вался. Евгений Иванович присел, втянул голову в плечи, но читать доклад не перестал. В свете второго софита, стоявшего поодаль и направленного в зал, слова на бумаге были едва различимы, но Максим Танк не сдавался. Все-таки он был проверенный боец.

Оператор делал мне судорожные знаки — картинка в кадре оставляла желать лучшего. Я это прекрасно понимал, но сделать ничего не мог.

Однако ситуация разрешилась сама собой. Второй софит тоже не выдержал напряжения и взорвался. Зал погрузился в темноту.

— Со звуком хоть все в порядке? — наклонился я к уху Танечки.

— Лучше, чем всегда! — выдохнула она.

Я подумал, что в кромешной темноте никто не заметил бы поцелуя, если бы таковой случился. Танечка, видимо, тоже подумала о чем-то похожем, потому что вздрогнула и прижалась ко мне.

Однако какие поцелуи в роковой час? А он был именно таким — роковым. Встреча народного поэта с избирателями уже стояла в телевизионной программе.

— Полный пипец! — шепнул я на ухо Танечке.

Она хихикнула.

— Пойду разруливать, — сказал я. — А ведь так хорошо все начиналось.

— Я тоже подумала, что…

Танечка замолчала.

В зале зажглась люстра. При ее свете кое-что можно было разглядеть, но для записи на кинопленку освещения катастрофически не хватало.

Евгений Иванович снова начал героически сражаться с текстом на своих бумажках. Что-то, наверное, он знал по памяти, однако не цифры ежедневных надоев. И не центнеры собранного картофеля.

Товарищ из райкома, сидевший в президиуме, поднялся и постучал пишущей ручкой по графину с водой.

— В связи с непредвиденными обстоятельствами встреча с народным депутатом отменяется, — сказал он. — Вернее, переносится. О чем будет объявлено дополнительно.

В зале с воодушевлением зааплодировали. Это был настоящий подарок небес для жителей Островца.

Я двинулся к Максиму Танку, который с нескрываемым облегчением собирал в стопочку бумажки.

— Евгений Иванович, у нас только один выход — записать выступление в студии, — сказа я.

— А вы кто? — покосился на меня народный поэт.

— Вообще-то, прозаик, но здесь редактор телевидения, — повесил я голову.

— Это ваши тут все повзрывали?

— Мои…

— У меня такого даже при белополяках не было, — оглянулся на товарища в президиуме Танк. — Начальство, небось, по головке не погладит?

— Выговор обеспечен, — согласился я.

— Ничего, я позвоню Геннадию. Когда, говорите, запись?

— Как только согласуем время, я сообщу.

Голос у меня дрогнул. Звонок Максима Танка председателю Комитета по телевидению и радиовещанию Геннадию Буравкину меня спасал.

— Если хотите, садитесь ко мне в машину, и поедем, — решил быть добрым волшебником до конца Танк.

— Спасибо, но я уж со своими архаровцами…

Мы пожали друг другу руки.

На сцене Танечка сматывала шнур микрофона. Осветители с ошалелыми лицами разглядывали взорвавшиеся приборы. Кинооператор наблюдал за ними через объектив камеры.

Вторая половина семидесятых медленно окутывалась завесой времени.

В начале же девяностых все происходило гораздо стремительнее.

Часть третья. Масоны и медальеры

1

— Ты в Ленинграде давно был? — как-то подошел ко мне во Внуково Иванченко.

— Никогда, — сказал я.

— Да ну?! — поразился Вячеслав Иванович. — Придется съездить.

— Зачем?

Я на шаг отодвинулся от него. Что-то мне подсказывало, что поездка в колыбель революции мне предлагается неспроста.

— А ты в Ревизионной комиссии, — сказал Иванченко. — У них в Ленинграде полный бардак.

«Всюду бардак, — подумал я. — Я здесь при чем?»

— Ситуация очень сложная, — нахмурил брови Вячеслав Иванович. — Ленинградская организация на грани раскола. На пятнадцатое назначено общее собрание. Представителями от Союза писателей поедете ты и Саша Возняков. Случайных людей мы послать не можем.

Он замолчал, предлагая мне проникнуться ответственностью момента.

Я проникся.

— Жить будете в гостинице «Октябрьская», это рядом с вокзалом. Что, ты и вправду никогда не был в Питере?

— После окончания Высших литературных курсов наши ездили туда на неделю. А у меня путевка в Пицунду.

— Понятно, — сказал Иванченко. — Я там на линкоре «Октябрьская революция» служил. Все подворотни на Петроградской стороне знал.

Он не уточнил, почему именно на Петроградской стороне, но я и так догадывался, в чем дело. Иванченко в молодости был ходок, только официальных жен три. Да и пил, говорят, крепко. А линкор, как мне представляется, был хорошим укрытием для ходоков.

— Мои подворотни в Минске, — сказал я.

Мы засмеялись, но как-то невесело.

— В этот раз обойдемся без подворотен, — посерьезнел Иванченко. — Встретитесь с руководством, послушаете, что они скажут. Ленинград сложный город. Одни Зощенко с Ахматовой чего стоят.

— А Гумилев? — спросил я.

— Того вообще расстреляли, — согласился Иванченко. — Есенин специально поехал туда вешаться, в Москве не захотел. Короче, сам все увидишь.

Я подумал, что повеситься можно где угодно, но спорить не стал. Действительно, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.

Русскому человеку не побывать в Питере — это что в церковь не сходить.

И мы с Возняковым поехали в Питер.

Александр всю ночь в поезде кашлял, кутаясь в шарф. Выглядел он плохо.

— Надо было дома оставаться, — сказал я. — Подумаешь, раскол в организации.

— Ничего, — улыбнулся Возняков, — до завтра оклемаюсь.

Мы с ним встречались в Коктебеле. Александр играл в теннис, в то время как остальные писатели валялись на пляже. Теннисисты тогда были настоящей элитой в писательском сообществе. Они даже в столовую ходили с ракетками. Я подозревал, что некоторые из них ракетки держат исключительно для столовой, но доказательств у меня не было. Я не играл в теннис.

— На корте простудился? — спросил я Александра уже на вокзале.

— Сейчас не до тенниса, — вздохнул тот. — Сам видишь, что за времена наступили.

«Октябрьская» была старая гостиница в прямом смысле слова. Паркет в коридорах скрипел сильнее, чем в ялтинском Доме творчества. Мебель в номерах дышала на ладан. Буфетное меню было таким же скудным, как и в первые годы Советской власти. Впрочем, тогда оно вполне могло быть богаче, ведь недобитые буржуи, коими и считались писатели, большевистские буфеты сравнивали с царскими. Даже я понимал, что это сравнение некорректно.

Первым, кого я встретил в гостинице, был публицист Ярослав Голованов. Он нес к себе в номер стакан кипятка.

«Если уж этот кипятком питается, что говорить об остальных?» — подумал я.

У меня в сумке лежала бутылка водки, но я в этом пока никому не признавался. К концу командировки станет ясно, с кем ее пить, и нужно ли вообще это делать.

В Союзе писателей на Воинова нас принял председатель организации Владимир Арро. Я смотрел спектакль по его пьесе «Смотрите, кто пришел». Он мне понравился, но говорить об этом сейчас было не с руки. И сам Арро, и два его заместителя, и даже интересная дама, присланная из райкома партии оргсекретарем, сильно нервничали. Похоже, завтрашнее собрание было для всех большой неприятностью.

— Организация со старейшими традициями, — сказал, покашливая, Возняков. — Как ни относись к Тихонову с Прокофьевым, они большие поэты.

— А нобелевским лауреатом стал Бродский! — расхохотался Валерий Петров, один из замов.

— Тоже ваш, — хмыкнул Возняков.

— Да мы еще вчера с ним неделимых женщин делили, — скривился Петров.

Я понял, что лауреатство Бродскому в Ленинграде простили далеко не все.

— Идите лучше пообедайте, — посмотрел на Петрова Арро. — У нас в Доме хорошая кухня.

— Не хуже, чем у нас? — встрепенулся я.

— Нет, — хором сказали Арро и Петров.

Мы прошли в ресторан. Я с любопытством озирался по сторонам. Дворец Шереметева был совсем не похож на особняк Олсуфьева в Москве, и в то же время в них было что-то общее.

Один из посетителей ресторана шатался от стола к столу с явным намерением устроить скандал.

— Наш поэт, — сказал Петров. — Талантливый парень, но пьет.

— Не пьют одни бездари, — согласился Возняков.

— Позавчера в ЦДЛ подрались Уткин с Василевским, — сказал я.

— И у нас дерутся, — кивнул Петров. — Может, перестанем, если по разным организациям разойдемся?

— Это вряд ли, — почесал я затылок. — Хотя чаще всего дерутся друзья, а не враги.

Петров с Возняковым вынуждены были со мной согласиться.

Я продолжал смотреть по сторонам. На днях об особняке Олсуфьева мы говорили с парторгом московской писательской организации Иваном Ивановичем Козловым. Он был сопровождающим лицом дочки Олсуфьева, приезжавшей в Москву то ли из Берлина, то ли из Лондона.

— Ну, и как, узнала особняк? — спросил я.

— Конечно узнала, — сказал Козлов. — Говорит, вон там, на втором этаже, наша детская была. Им с сестрой иногда разрешали смотреть с антресолей на танцующих внизу гостей.

— Где была детская? — заинтересовался я.

— На антресолях в Дубовом зале. До сих пор считалось, что там проходили заседания масонской ложи. А на самом деле это детские комнаты. Их с сестрой перед сном выводили посмотреть на танцующих.

— В строгости воспитывали, — позавидовал я. — Значит, у нас в доме не было никаких масонов?

— Нет, только на балах гуляли, — сдвинул мохнатые брови Козлов. — Ну, и догулялись. Но самое интересное не в этом. Бабуля про императора Александра III рассказала.

— Он тоже сюда захаживал?

— Да они с Олсуфьевым были ближайшие друзья! — Иван Иванович глянул по сторонам и понизил голос. — Гардеробную внизу знаешь?

— Конечно, сказал я.

— Тогда это была каминная комната. Император приезжал, они с графом спускались вниз и запирались в каминной.

— Зачем?

— Пили вдвоем! Никого не впускали, ни гофмейстеров, ни шталмейстеров. Охрану, и ту на улицу выгоняли. Только за водкой в магазин денщиков гоняли.

— Наверное, денщика у государя не было, — подергал я себя за ухо. — Да и не водку пили, а шампанское. Но история занятная.

— Еще бы, — сказал Козлов. — Шампанского у меня нет, а водки выпьем. Закрой дверь.

Я безропотно повиновался. Традиции надо чтить, пусть они и восходят к Романовым.

— А в вашем дворце император бывал? — спросил я Петрова в ресторане шереметевского дворца.

— Наверное, — пожал тот плечами. — Кто только здесь не бывал.

— Странно, что ваш дом имени Маяковского, а не Блока или хотя бы Ахматовой.

— Так ведь в тридцатые годы давали имя.

Да, в тридцатые годы даже Пушкин не мог сравниться с Маяковским, не говоря уж о Блоке с Ахматовой.

— Предприниматели среди ваших писателей появились? — еще раз посмотрел я по сторонам.

— Я таковых не знаю, — сказал Петров.

— А у нас есть, — похвастался я. — Медальеры.

— Кто-кто?! — уставился на меня Петров.

— Медали из драгоценных металлов делают. Например, Белугин.

— Не знаю Белугина — ни писателя, ни медальера, — сказал Петров. — Наши любят куда-нибудь за границу смыться. В крайнем случае, выпить водки.

— Это все любят, — согласился я. — Даже масоны.

Масонов я упомянул, конечно, для красного словца.

Мы поужинали и разошлись. Собрание было назначено на завтра.

— Ну, и что мы там будем делать? — спросил я Вознякова в гостинице.

— Ничего, — пожал тот плечами. — Послушаем, как они поносят друг друга, и разойдемся как в море корабли. Ты не на флоте служил?

— Я вообще не служил, — раздраженно сказал я. — Офицер запаса после военной кафедры в университете. А ты, небось, подполковник?

— Полковник, — сказал Возняков, лег на кровать и укрылся одеялом с головой.

«Все они тут полковники, а я всего лишь старлей, — подумал я. — Какой с меня спрос?»

С этой сомнительной мыслью я лег в кровать и уснул.

На следующий день мы с Александром вошли в зал ровно в шестнадцать часов. Зал был полон. Председательствующий представил нас. Никто не захлопал.

— В президиум пойдем? — спросил Возняков.

— Лучше вот здесь, с краю, — сказал я.

Уже после первых выступлений стало ясно: подавляющее большинство в зале состоит из либералов. Так называемых патриотов здесь раз-два и обчелся, но сдаваться, тем не менее, они не собирались. На трибуну взошел писатель по фамилии Кутузов, и ядра в зале засвистели не хуже, чем при Бородино.

— Где здесь батарея Раевского? — наклонился я к уху Вознякова.

— Да это «Аврора» пальнула, — усмехнулся он. — Сейчас пойдем Зимний брать.

Но силы были явно неравны. Кучка патриотов едва сдерживала натиск превосходящих сил противника.

— Откуда здесь столько либералов? — спросил я Александра.

— Так это же Питер, — сказал Возняков. — Сначала революция, потом контрреволюция. Сегодня их день.

Собрание закончилось. Кутузов со товарищи пригласил нас в гости к Горбушину.

— У Глеба жена на дачу уехала, — сказал он. — Спокойно посидим, покумекаем.

Квартира Глеба Горбушина поражала не только своими размерами, но и полным отсутствием провианта.

— Зато выпивки много, — сказал Горбушин, вытаскивая из-под кровати ящик водки. — Не пропадем.

Мы с Возняковым переглянулись. В особняке Шереметева к представителям центра отношение было гуманнее.

— Может, сходить за хлебом? — предложил я.

— Да у нас закуски навалом! — сказал Горбушин.

Он достал из холодильника два помидора и плавленый сырок.

— Не в закуске дело, — вздохнул Кутузов. — Нужно, во-первых, отсу-

дить половину Дома писателей, а во-вторых, хоть что-то оттяпать в Комарово. Народу у нас маловато.

— А мы область подтянем, — прогудел Горбушин, наливая в стаканы водку. — Главное, отделиться от исторических врагов. И в страшном сне не могло присниться, что Ленинград окажется в руках демократической сволочи.

— В чьих только руках он не был, — сказал Возняков. — Здесь сначала Распутина убили, потом Кирова. Короче, надо возвращать императора.

Он подтрунивал, и совершенно напрасно. У ленинградских писателей-патриотов положение на самом деле было аховое.

Но человек предполагает, а Господь, как говорится, располагает. Очень скоро яблоко раздора ленинградских писателей, которым был особняк Шереметева, исчезло. В Доме случился сильнейший пожар, и победители вкупе с побежденными оказались на улице. В чем-то мне этот факт представлялся символичным. В данный период общественного развития писателей выкинули с корабля современности. И сделали это не демократы с либералами, а некие высшие силы, я в этом был уверен.

Метаморфозы происходили не только во вселенском масштабе, но и в судьбах отдельных людей. В вагоне поезда, которым мы возвращались из Ленинграда в Москву, Возняков встретил одного из своих сослуживцев. Я мирно спал в купе, а Александр всю ночь беседовал со своим товарищем в тамбуре. Через полгода после этой поездки Возняков из перспективного теннисиста в одночасье превратился в банкира. Как мне рассказывали, он занимался финансированием наших войск в Украине. Одни части оттуда выводились, другие оставались на особых условиях, — там было чем заниматься. Как и Белугин, Александр теперь ездил на хорошей машине. При встрече он подавал руку, но было понятно, что в любой момент подобное панибратство может прекратиться. Слишком усталый у него был вид. А когда рядом с ним появился охранник, я и сам перестал его замечать.

«Большому кораблю большое плавание, — думал я. — А писателю, появившемуся на свет в пинских болотах, трудно стать любимчиком Венеры или Аполлона, не говоря уж о Зевсе. Пощекочет своей бородой в застолье Бахус — и ладно».

Втайне я, конечно, рассчитывал на внимание какой-нибудь вакханки, которых во все времена полно рядом с Бахусом, но разве это можно считать улыбкой фортуны? Улыбки у Вознякова с Белугиным.

Страна погрузилась в пучину девяностых. Как и абсолютное большинство граждан, я выживал, а не жил, но это меня не пугало. Все-таки мне было чуть за сорок, а в этом возрасте человеку не свойственно впадать в уныние.

2

— Ну, и куда мы теперь будем ездить? — спросил меня Иванченко, когда я столкнулся с ним во Внуково.

— А что такое?

— Домов творчества не осталось. Ялта, Коктебель, Пицунда и Дубулты уже заграница.

— Действительно, — почесал я затылок. — В России, кроме «Малеевки», больше ничего нет.

— Переделкино. Но зачем оно, если у нас Внуково?

Это была чистая правда. Домов творчества во всех перечисленных местах было жалко, но меня больше беспокоило Внуково. Оно тоже загибалось, и так же стремительно, как и СССР.

Сначала закрылся буфет, затем отключили котельную, и прошлую зиму наш поселок пережил только благодаря Шиму. Он велел, во-первых, не отключать электронагревательные приборы, а во-вторых, в сильные морозы постоянно сливать воду из бачков в туалете.

— Главное, чтобы не замерзла вода в стояках, — сказал он. — Выживем только в том случае, если сохраним систему отопления.

— Но ведь это не последняя зима, — сказал я. — Какие у нас перспективы?

— Я договорился, чтобы к нашим коттеджам подвели газ.

— Откуда здесь газ?

— Миллионеры тянут к себе на участки трубу. Через наш поселок сделать это гораздо дешевле, чем в обход. Я говорю: прокладывайте через нас, но ответвление к каждому коттеджу. Они согласны.

— А что Литфонд? — спросил я.

Это был ключевой вопрос. Судьба писательского поселка была полностью в руках руководства Литфонда.

— Бобенко хочет нас продать.

— Как продать? — поразился я.

— Целиком, — пожал плечами Шим. — Размораживается отопление, мы отсюда выезжаем, и он втихаря продает поселок какому-нибудь «Лукойлу». Сейчас все так делают.

Это было похоже на правду. Общественную собственность сейчас не продавал только ленивый. А Бобенко на ленивого похож не был.

В писательское сообщество он попал по разнарядке. Бобенко работал инструктором райкома партии. Однажды его вызвало начальство и велело отправляться на службу в Московское отделение Союза писателей.

— Какой из меня писатель? — стал отнекиваться Виктор Иванович. — Я и книг-то не читал.

— А вам и не надо читать, — сказало начальство. — В школе, небось, Толстого проходили?

— Проходил, — потупил глаза Бобенко.

— Этого достаточно. В Союзе писателей будете распределять квартиры, машины и прочее по мелочам. А главное — выдерживать линию партии.

— Может, меня все же к артистам? — в последний раз попытался отказаться Бобенко. — Я петь люблю.

— С писателями тоже кому-то работать надо, — одернуло его начальство.

И Виктор Иванович пошел на постылую службу. Очень скоро он стал писателей не только презирать, но и ненавидеть. Народ был пустой и вздорный, каждый старался урвать себе кусок побольше, а некоторые и вовсе оказались хамами. Изредка в застолье Виктор Иванович затягивал украинскую песню, но все это были тоскливые причитания: «Ой ты, доля, моя доля, доля несчастливая…»

В первые годы ельцинского правления Виктор Иванович успел продать изрядную часть литфондовского имущества, но с поселком во Внуково случилась промашка. Бобенко поехал на охоту с товарищами, и на каком-то там километре Минского шоссе «Волга» с пятью пассажирами лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Не выжил никто.

Таким образом, на какое-то время Внуково осталось без присмотра. Тут же был организован Совет арендаторов, который возглавил, конечно, Шим. Мне в нем предложили пост казначея.

— Но я ведь не бухгалтер, — запротестовал я. — Я сын бухгалтера!

— А кого ставить? — спросил меня Иванченко. — У Файзилова, например, отец владел кирпичным заводом. Ты считаешь, он будет лучше казначей, чем ты?

Я стал собирать деньги на ремонт рушащегося хозяйства. Некоторые писатели, глядя на все это, стали сдавать квартиры. А Стекловского, жившего под нами, выселили в принудительном порядке.

— Может, и нам уехать? — спросил я жену.

— Успеем, — сказала Алена. — Стекловского выселили за многолетнюю неуплату, а у нас Егор.

У Егора во Внуково было полно друзей из писательских внуков, и мысль о выселении я выбросил из головы. Вид детей, гоняющих по поселку с листьями лопухов на головах вместо панам, настраивал на оптимистический лад.

Из тех, кто уехал из Внуково, больше других мне было жалко Файзиловых. Но им дали дачу как раз в Переделкино.

— Ближе к небожителям? — спросил я Татьяну Михайловну при расставании.

— Там квартира и участок больше, — сказала она. — Обустроимся, приезжайте в гости.

— Обязательно, — кивнул я. — А вы к нам по грибы.

Однажды при въезде в поселок меня встретил Георгиев. Он стоял в воротах, широко раскинув руки.

— Сторожем нанялся? — выглянул я из машины.

— Посторонним въезд запрещен! — строго сказал Жора. — Частная собственность, охраняемая законом!

По его глазам я понял, что он меня не узнает.

— По грибы сегодня ходил? — спросил я.

— Какие грибы? — растерялся Жора. — Грибы в лесу.

Он отступил в сторону, давая мне проехать.

— Что с Жорой? — спросил я Иванченко.

— С головой что-то, — сказал Вячеслав Иванович. — Я Лене говорю, чтобы она отправила мужа на обследование, а она не хочет. В больнице, мол, и здорового уморят. Он уже давно заговаривается, своих не узнает.

— Голова у писателя самое слабое место, — согласился я.

— У кого голова, у кого сердце, — вздохнул Вячеслав Иванович.

Через какое-то время Георгиева увезла «скорая», и из больницы он уже не вышел.

— Слишком близко к сердцу принял происходящее в стране, — сказал мне Иванченко.

— Переживал, что Союз развалился?

— Наоборот, очень уж радовался. Поддерживал подписантов, которые требовали раздавить гадину. Жора всегда был демократом.

— Они вроде от переживаний не умирают? — сказал я.

— А твой Адамович?

Действительно, Алесь Адамович умер прямо на заседании суда, когда рассматривалось дело о разделении собственности Союза писателей СССР.

— Ему стало плохо, — рассказывал Вепсов, — спасать надо, а никого из подельников рядом нет. Разбежались, как тараканы! Пришлось нам с Бочкаревым его таскать.

Несмотря на то, что Адамович выступал в суде на стороне противника, мне его было жалко. Я Александра Михайловича знал еще со студенческих времен.

В начале семидесятых Адамович подписал письмо в защиту Даниэля, его выгнали из Института литературы в Москве, и он уехал в Минск и стал преподавать на филфаке университета. Лично у меня он вел спецкурсы по Толстому и Достоевскому.

Расхаживая по аудитории от стены к стене, Александр Михайлович вводил нас в большую литературу. Чувствовалось, что с нами говорит писатель, а не университетский лектор. К тому же, именно в этом году в журнале «Маладосць» вышла его «Хатынская повесть».

— Кто-нибудь из вас читал эту повесть? — спросил на лекции по русской литературе девятнадцатого века профессор Кулешов.

Как раз он был типичным университетским профессором. Сухой, язвительный, даже вредный, Кулешов ненавидел прогульщиков и разгильдяев, которыми на филфаке чаще всего оказывались парни. Девушки, во-первых, были старательнее, а во-вторых, лучше маскировались.

Саня Рисин на экзамен к Кулешову явился с длинным хвостом из прогулов и самодовольной улыбкой на наглой роже.

— Вы где в школе учились? — спросил профессор, беря в руки зачетку.

— В Сочи, — ухмыльнулся Рисин.

— Нашли где учиться! — рассвирепел Кулешов и швырнул в угол зачетку. — Вон отсюда!

«Трояк» Саня получил с пятого или шестого захода, да и то лишь после того, как с Кулешовым на повышенных тонах поговорили в деканате. Отчислять там не любили даже таких, как Рисин.

Так вот, неожиданно для всех Кулешов спросил на лекции, читал ли кто-нибудь «Хатынскую повесть» Адамовича.

— Читали, — сказал я.

— Это новое слово в белорусской литературе, — взглянул на меня Кулешов. — А может быть, и европейской. Очень талантливая вещь.

Кулешов уловил главное: Адамович был истинным первопроходцем, как сказал бы Лев Гумилев — пассионарием. Вместе с белорусскими писателями Брылем и Колесником Адамович побывал в сожженных немцами деревнях. Втроем они написали книгу «Я из огненной деревни». С ленинградским писателем Даниилом Граниным он выпустил «Блокадную книгу» — такую же страшную, как и предыдущая. Уже на следующий день после чернобыльской аварии Адамович толкался в приемной ЦК партии, пытаясь прорваться к первому секретарю. Он сразу понял масштаб трагедии, обрушившейся на страну.

Мы с Аленой во время аварии были в Гродно. Я давно хотел показать жене этот город. Для меня он был не просто областным центром, а градом Китежем, восставшим из глубины веков. Да, я кончал школу в Новогрудке, летописной столице Великого Княжества Литовского. Но что в нем осталось от этого самого княжества? Руины замка, фарный костел да холм, который насыпали в честь Адама Мицкевича. В остальном же это был обычный провинциальный городок с кривыми улицами, вымощенными булыжником, на которых стояли покосившиеся деревянные дома.

В Гродно, раскинувшемся на высоком берегу Немана, кроме замка Стефана Батория было полно костелов и церквей, а также домов, сохранившихся с девятнадцатого века. Для Беларуси это была большая редкость.

— Почему? — спросила Алена, когда я ей сказал об этом.

— В войну здесь практически все было уничтожено. Отступали, наступали, и в Минске, например, осталось не больше десятка зданий. А Гродно каким-то чудом уцелел.

Я созвонился с Игорем Жуком, с которым учился в университете, он через своего родственника в облисполкоме заказал нам гостиницу, и мы приехали в Гродно.

— Паспорт, — сказала дежурная в гостинице, оформлявшая документы.

— Я не взяла, — растерянно посмотрела на меня Алена.

— Это же приграничный город! — оскорбилась дежурная.

— У меня есть удостоверение издательства, — принялась рыться в сумочке жена.

— Какое еще удостоверение! — вернула мне мой паспорт дежурная. — Не положено.

Я снова позвонил Игорю. Начались сложные телефонные переговоры. Часа через два дежурная с каменным лицом выдала мне два бланка.

— Заполняйте, — сказала она.

Чувствовалось, ей трудно было даже смотреть на нас, не то что говорить.

— Пришлось подключать обком, — сказал Игорь при встрече. — По-моему, это первый случай, когда человек сюда приехал без паспорта.

Алена даже бровью не повела. Я пожал плечами и ничего не сказал.

На следующий день мы отправились гулять по городу и попали под дождь. Капли этого дождя походили на градины, и одна из них смачно шлепнула меня по плечу.

— Смотри, на рубашке остался след, — показала мне вечером рубашку жена.

— Поляки весь день трубят о радиоактивном облаке, идущем со стороны Союза, — сказала дежурная по этажу. — А вы вправду писатель?

— Писатель, — кивнул я.

— Наш?

— Из Москвы.

— А я с женой Быкова в школе работала, — посмотрела она на меня. — Знаете такого?

— Еще бы! — сказал я.

Я не стал говорить, что Василь Быков был председателем объединения прозаиков, когда меня принимали в Союз писателей.

— После того, как он ее бросил, она заболела и умерла, — сказала дежурная. — Сын остался. А Быков со своей новой женой уехал то ли в Минск, то ли к вам в Москву.

— А кто была эта его новая? — спросил я.

— В газете работала, — пожала плечами дежурная. — Писателям все можно.

Я не стал обсуждать с ней эту скользкую тему.

С Быковым я встретился во Франкфурте-на-Майне гораздо позже. Сейчас мне было жалко Адамовича, умершего прямо во время заседания в суде.

3

В издательстве стал часто появляться знаменитый писатель Юрий Владимирович Бочкарев. Вепсов его называл Классиком или просто Ювэ. Они были знакомы еще с тех времен, когда Ювэ работал в Союзе писателей России, а Вепсов служил в «Советской России» завотделом культуры.

Гена Петров из издательства уволился, и поневоле я стал правой рукой директора. Никаких привилегий это положение не давало, кроме одной — мне дозволялось бывать в комнате за сценой, точнее, за директорским столом. Каждый посетитель издательства знал, что именно в этой комнатке решалась судьба книг.

Меня пригласили за стол, накрытый не пышно, но и не бедно: семужка, мясцо, картошечка с укропом, ну и, само собой, водочка.

— Кто ваш любимый писатель? — осведомился Ювэ, беря со стола стопочку.

— Бунин, — сказал я.

На самом деле больше других мне нравился Куприн, но для Ювэ надо было назвать Бунина. И я был допущен в круг избранных.

— Ювэ, расскажите, как вы работали с Соболевым, — попросил как-то Вепсов.

— А откуда вы знаете? — поднял одну бровь Ювэ.

— Да уж знаю, — хмыкнул Вепсов. — Над его дворником весь Союз писателей хохотал.

— Что за дворник? — спросил я.

Мне, как самому юному за столом, разрешалось задавать нелепые вопросы.

— Про дворника действительно все знают, — махнул рукой Ювэ, — а вот о том, как я его навещал во время болезни…

— Молодежь не знает, — остановил Классика Вепсов. — Давайте сначала про дворника.

— Дворник как дворник, — пожал плечами Ювэ, — за участком смотрел. Зимой дорожки расчищал, чтобы можно было гулять. Вот он пришел рано утром, глядь…

— Ночью оттепель случилась, — вставил Вепсов.

— Ну да, оттепель, иначе как бы все растаяло? Василий, не перебивайте. Дворник смотрит — из сугроба чекушка водки торчит. Что ж, спасибо, конечно. Дворник выпил чекушку, зажевал снежком. А в следующем сугробе еще одна чекушка. Он и ее выпил. В общем, Леонид Сергеевич выходит утром на крыльцо, а на нем спит пьяный дворник.

Все засмеялись. Не смеялся один я.

— Леонид Сергеевич, гуляя по дорожкам, прятал в них водку, — объяснил Вепсов. — Жена не разрешала ему пить, так ведь, Юрий Владимирович?

— Она не только не разрешала, но и руководила вместо него Союзом, — кивнул Классик. — Очень решительная женщина.

— Но все испортила оттепель, — стал разливать по рюмкам водку директор. — Заначка Соболева вытаяла и досталась дворнику. Он, небось, думал, что это дар божий.

— Думать, конечно, можно, — сказал Классик, — но если бы не напился, не выгнали бы. Мне, думаешь, просто было выполнить его приказ?

— Досматривала? — хихикнул Вепсов.

— Еще как! Леонид Сергеевич позвонил и попросил приехать в Переделкино. Он уже почти не выходил на службу. «Как хочешь, но принеси», — велел он. А как я принесу? Супруга у него хуже Цербера.

— И куда вы засунули фляжку? — спросил Вепсов.

— В трусы, — смутился Классик. — Не станет же она там лапать.

— А если бы стала?

— Тогда между людьми были другие отношения, — строго сказал Классик. — Я достал фляжку с коньяком. «Из чего будем пить?» — спрашиваю.

Соболев подошел к окну и выдернул из горшка цветок. «Вот, — говорит, — прекрасная посуда».

Теперь засмеялся и я.

— А ведь Соболев был беспартийный, — заметил Вепсов.

— И даже дворянин, — согласился Классик. — О том, что он застрелился, официально не сообщалось.

— А он застрелился? — удивился я.

— Узнал, что у него рак, и достал из тумбочки именной пистолет.

— У вас пистолет тоже имеется? — спросил Вепсов.

— Вам это знать не обязательно.

Классик встал и медленно выпил свою рюмку до дна. Мы последовали его примеру.

— У меня доктора хорошие, — сказал, не глядя на Вепсова, Классик.

— Я не это имел в виду, — примирительно произнес Вепсов. — Лично я не возражал бы, если бы меня наградили именным оружием.

— От нынешней власти я ничего не приму! — презрительно поморщился Классик.

Совсем недавно Ювэ отказался от ордена, которым его наградил Ельцин. Писатели-патриоты одобрили этот поступок. Демократы, конечно, единодушно его осудили. Интеллигенция была разделена практически поровну. Я понимал, что это большая проблема для страны. Вопрос в том, понимала ли это власть.

— Как ваш роман? — поинтересовался директор, наполняя рюмки.

— Выйдет в следующем номере в журнале «Молодая гвардия». Я уже над новым работаю.

Несколько дней назад о работе Классика над своими романами мне рассказывал Сергей Михалков.

Я сидел в своем кабинете и размышлял, куда идти: домой или в буфет Дома литераторов.

Дверь отворилась, и предо мной предстала величественная фигура Сергея Владимировича Михалкова. Только поэт такого роста и такой осанки мог написать гимн, достойный сначала Союза Советских Социалистических Республик, а затем высвободившейся из-под обломков этого Союза свободной России.

— С-сидишь? — спросил Сергей Владимирович.

— Сижу, — кивнул я.

— З-зашел з-за гонораром, — объяснил свое присутствие здесь Михалков.

— Получили?

— Да.

Михалков сел на стул для посетителей и обозрел убогий антураж моего кабинета.

— Б-бывало и хуже, — вынес он свой вердикт. — Г-где фюрер?

— Куда-то отъехал.

Я выглянул в окно. Машины директора на месте не было.

— Ч-что пишешь? — осведомился Михалков.

— Да так, — сказал я. — Рассказики.

— Я бы на твоем месте взялся з-за роман.

Я никогда не мог понять систему в заикании Сергея Владимировича. Случалось, он надолго застревал на каком-то слове — и через минуту произносил его без запинки. Сегодня он зациклился на звуках «с» и «з».

— Почему за роман? — на всякий случай спросил я.

— С-сидишь один, никто не мешает. З-знаешь, как я с-с Бочкаревым работал?

— Нет, — помотал я головой.

— Он у меня был з-замом. Я хожу на работу, вкалываю как ишак, а Юрочка с-сидит по девять месяцев в году в творческом отпуске и пишет р-роман! Каждый год по р-роману! А у меня одни басни.

«И гимны», — хотел было сказать я, но сдержался. Его и без меня было кому обзывать Гимнюком.

От возмущения Сергей Владимирович сверх плана заикнулся на слове «роман».

— З-знаешь, с-сколько денег с-сгорело у меня во время обвала рубля?

— Нет, — сказал я.

— Двести восемьдесят тысяч.

Эту цифру Сергей Владимирович произнес без запинки. Мне почему-то показалось, что он ее сильно занизил. Что-то похожее я слышал от Ивана Петровича Шамякина. Не так давно я отвез ему в Минск гонорар за публикацию в журнале «Слово». Белорусский классик пригласил меня за стол. Сам он уже почти не пил, но мне наливал коньяк с удовольствием. В застольной беседе он тоже назвал похожую цифру — двести тысяч рублей.

— Разве мог я предполагать, что все рухнет? — пожаловался он. — Сгорели деньги ни за понюшку табаку. А я его терпеть не могу.

Шамякин не курил и не любил, когда при нем это делали другие.

Но где Шамякин — и где Михалков? Здесь был размах кремлевский, несравнимый с дачами на Лысой горе и квартирами на Ленинском проспекте в Минске.

— Теперь вот хожу по издательствам и с-собираю копейки.

Михалков тяжело вздохнул. Я тоже невольно вздохнул. У одних бриллианты мелкие, у других на бутылку не хватает.

— Ладно, — поднялся, опираясь на палку, классик детской литературы. — Не провожай меня. Я дорогу з-знаю.

Я все-таки провел его до лифта. Заслужить надо, чтобы про тебя сочиняли пародии, пусть и гнусные.

И вот теперь этот самый Юрочка сидел напротив меня за столом и рассказывал о спившемся дворнике Соболева. Похоже, он писал бы романы не только под крылом Михалкова, но и во время потопа, если бы таковой случился.

4

Однажды меня вызвал к себе Вепсов.

— Нужно съездить с Ювэ в журнал «Молодая гвардия», получить там гонорар и доставить Классика в целости и сохранности домой, — сказал он.

— Алевтина Кузьминична распорядилась? — спросил я.

— Она, — кивнул Вепсов.

Я догадывался, что неприязнь друг к другу у Вепсова и Кузьминичны была равновеликая.

В другой ситуации сопровождать Классика взялся бы сам Вепсов, но сейчас это было исключено. Пару лет назад в «Молодой гвардии» зарубили роман Вепсова «Дусина гарь». Он именно так и назывался: «Дусина гарь». Если бы мне во время работы в журнале попался роман с таким названием, я бы зарубил его за одно название. У нас в Беларуси гарью назывался самогон. Не

исключаю, что в «Молодой гвардии» его завернули по каким-то другим причинам. Сам я в этом журнале никогда не печатался. Мне хватало «Юности», «Дружбы народов» и «Нашего современника». Причем то, что я был автором последнего, вызывало вопросы у многих моих минских друзей.

— В империалисты пошел? — без обиняков спросил меня Алесь Гайворон.

— В патриоты, — поправил я его.

— Это еще хуже, — сказал Алесь. — Патриотом ты предаешь всех борцов за незалежность.

— Мои предки за незалежность не воевали, — возразил я.

— Но они ведь не в Москве сидели и не ели черную икру ложками. Тутэйшие.

— Мой дед в колхоз так и не вступил, — вспомнил я. — Остался единоличником. А умер в оккупации под немцами.

— А ты в москали подался. Натуральный предатель.

— Сам дурак, — предъявил я последний аргумент. — Ксендзы тебя охмурили, ты и рад. Рабская психология.

На том мы и расстались.

И вот теперь мне предстояло заглянуть в логово еще более лютых патриотов, чем в «Нашем современнике».

— С Поповым встречались? — спросил меня Классик в машине.

— Нет, — сказал я.

— «Вечный зов» — хороший роман. Но кличка у него дурацкая. — Классик хмыкнул.

— Какая?

— Стакан Стаканыч.

По-моему, это была хорошая кличка. Русская.

Журнал размещался в издательском комплексе «Молодая гвардия» на Новослободской. В конце восьмидесятых в «Молодой гвардии» у меня вышла книга повестей и рассказов, и мне, конечно, приходилось здесь бывать. Но, повторяю, не в журнале.

Мы поднялись на нужный этаж. Классик был здесь как дома. Заглянул в одну дверь, в другую и бодро направился в приемную главного.

— Каждый день что-то меняется, — объяснил он мне на ходу. — Чтобы выжить, приходится сдавать в аренду площади.

— Сильно ужались? — спросил я, едва поспевая за ним.

— Пока не очень. У него зам оборотистый.

«С оборотистыми как раз и ужимаются», — подумал я.

В приемной главного никого, кроме секретаря, не было.

— В бухгалтерии уже были? — спросила она Классика.

— Нет, — сказал Ювэ, озираясь.

— Пойдемте, я вас провожу, — поднялась секретарь.

Мне в бухгалтерии делать было нечего, и я остался в приемной. В дверь заглянул черноволосый человек. Отчего-то я сразу понял, что это оборотистый зам.

— С Юрием Владимировичем? — спросил он.

— Велено сопроводить и доставить в целости и сохранности, — сказал я.

— Мы бы и сами доставили, — хмыкнул зам. — Анатолий Степанович удивился, узнав, что Юрий Владимирович приехал на издательской машине. А Вепсова нет?

— Нет, — сказал я.

Зам исчез.

Интересно, что здесь было бы, если бы Вепсов на самом деле приехал. Кто автор картины «Не ждали»? Спросить об этом было некого, и я стал разглядывать книги, стоящие в книжных шкафах. В основном это были номера журнала и романы Анатолия Попова. У него, оказывается, не только «Вечный зов», но и другие. Популярный писатель. Это тебе не «Дусина гарь» Вепсова. Классик, между прочим, мог бы посоветовать изменить название. Но, как говорится в одном анекдоте, классики ушли к классикам, а тебе пакет.

Я вышел в коридор и увидел Классика, шествующего в окружении нескольких сотрудников журнала.

«А штат, наверное, у них сильно уменьшился, — подумал я. — В стране победившей демократии выживает сильнейший».

— Ну, и где Анатолий Степанович? — спросил меня Классик.

Вероятно, он посчитал, что за последние пятнадцать минут я уже уволился из «Современного литератора» и оформился на работу в «Молодую гвардию».

Однако в этом спектакле все мизансцены были расписаны до мелочей. В проеме двери нарисовалась крупная фигура Анатолия Степановича. Раскинув руки, он двинулся навстречу Классику.

— Герой Героя видит издалека, — сказал кто-то рядом со мной.

— Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе, — возразили ему.

«Наверное, зам», — подумал я.

И не ошибся.

Классик и Стакан Стаканыч троекратно расцеловались и направились в приемную. Мы гурьбой направились за ними, и оказалось, что в приемной уже не меньше десятка человек.

После визита в бухгалтерию у Классика заметно улучшилось настроение, и он пожимал руки всем подряд, даже мне.

Что ж, и у писателей, находящихся в оппозиции к нынешнему режиму, могут быть маленькие радости. Не такие, конечно, как у тех, кто этот режим обслуживает, но вот даже гонорар заплатили.

Я приглядывался к хозяину кабинета. Несмотря на грузную фигуру и мощный двойной подбородок, он двигался легко. Взгляд цепкий. В той стране, которую все находящиеся в этом кабинете потеряли, случайно Героями не становились. Как и классиками.

Радостное оживление понемногу улеглось. Классик, как и все здесь, хорошо знал традиции подобных мероприятий.

— Ну, Анатолий Степанович, — посмотрел Ювэ на Попова, — куда теперь?

— Куда? — озадачился хозяин. — Действительно, надо бы отметить… Сейчас пошлем человека. Сергей!

Зам сделал шаг вперед.

— Вот он сейчас организует, — полез во внутренний карман пиджака Стакан Стаканыч. — Сколько надо?

Из Классика будто выпустили воздух. Он беспомощно оглянулся по сторонам и увидел меня.

— Поедем в издательство, — слабым голосом сказал он. — Дела, понимаете ли…

В наступившей тишине, подобно разрыву снаряда, грянул телефонный звонок. Секретарь судорожно схватила трубку.

— Подождите, — посмотрел на нее Попов. — У меня есть пять бутылок водки, но ведь тебе, Юра, этого не хватит?

Кто-то хихикнул.

— Пять бутылок? — уставился на Попова Классик. — Каких бутылок?

Все расхохотались. От улыбки не удержалась даже секретарь, которая так и не донесла трубку до уха.

— Пойдем, — обнял Классика за плечи Стакан Стаканыч. — Уже давно все готово.

Торжественно распахнулась дверь кабинета главного редактора, и нашим глазам предстал стол, накрытый в лучших русских традициях. А может, это были советские традиции, тоже хорошие.

На столе было все, включая черную икру в розетке. «Для Классика», — понял я.

Все расселись по местам, строго сообразуясь с этикетом здешнего двора. Мое место было среди прислуги.

«Хорошо, хоть подавать не надо», — подумал я и посмотрел на зама, сидевшего рядом.

Тот все понял, и рука с бутылкой, наполнявшая рюмку, дрогнула. Несколько капель пролилось на стол.

— Сергей! — укоризненно сказал Стакан Стаканыч. — Опять после вчерашнего руки дрожат?

Зам виновато понурился.

«Похоже, преемник, — подумал я. — Но пока взберется на трон, вкусит сполна. Монаршие особы не любят преемников».

— Ну, за что пьем? — с некоторым недоумением посмотрел на свою рюмку Ювэ.

Очевидно, он еще не вполне осознал, что рядом нет Алевтины Кузьминичны.

— За роман! — поднялся с председательского места Стакан Стаканыч. — За неиссякаемый родник живого русского слова!

Послышался грохот отодвигаемых стульев. За такие слова нужно было пить только стоя.

— Не считал, который это по счету роман? — спросил меня зам.

После первой же рюмки он перешел на «ты».

— Нет, — сказал я.

— Раньше он их как блины пек.

— Теперь тоже по роману в год, — сказал сосед слева. — Плюс десятка три миниатюр.

— А что еще делать на даче? — согласился с нами сотрудник, сидевший напротив. — Не бывали у него в Переделкино?

— Он в Ватутинках, — сказал я. — Старая дача, еще пятидесятых годов.

Недавно я действительно отвозил Классику пакет с рукописями. Он принял меня в кабинете на втором этаже. Когда-то, наверное, это была роскошная дача, похожая на старые внуковские. Но время неумолимо. Скрипят половицы, кое-где отстали от стен обои, рассохлись рамы в окнах. Дому давно нужен капитальный ремонт. А лучше, конечно, снести все и отстроить заново. Для этого, правда, нужны гонорары Марининой или Акунина.

Мы спустились вниз и отправились гулять по участку.

— Вот сюда, — заботливо направлял меня Классик. — Лучше по этой тропинке.

— Боровик! — ахнул я. — А вот еще один!

Классик удовлетворенно усмехнулся. Хорошо, когда зритель на спектакле понятлив. Не заметил бы гриб — провалил бы премьеру.

— Не хотите рюмочку? — взял меня под руку Ювэ.

— За рулем.

— В следующий раз без машины приезжайте.

— Непременно, — пообещал я, но при этом подумал, что Алевтина Кузьминична вряд ли позволила бы нам разгуляться.

В журнале «Молодая гвардия» роль Алевтины Кузьминичны исполнял я. Я выпил очередной бокал минеральной воды и посмотрел на практически нетронутую черную икру в розетке. Интересно, по руке или по лбу досталось бы мне, если бы я осмелился ковырнуть ее кончиком ножа? Наверное, по лбу.

— Пора, — сказал я заму. — Время не ждет.

— Как? — вскинулся тот. — Еще даже не начинали!

— А у меня приказ, за невыполнение которого расстрел на месте, — хмыкнул я.

Я знал, что в застолье любые пререкания бессмысленны, нужны действия.

Как ни упирался Ювэ, я все-таки заставил его подняться с места и уйти со мной. Стакан Стаканыч особенно не протестовал. Что ж, пословицу про двух медведей в одной берлоге еще никто не отменял.

Но, как выяснилось позже, я зря старался. Ювэ приехал со мной в издательство и отправился прямиком в комнатку за сценой. Он уселся напротив Вепсова и не встал, пока не добрал упущенное.

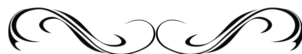
— А как же Алевтина Кузьминична? — спросил я Вепсова.

— С деньгами в кармане его в любом виде примут, — махнул тот рукой.

«Жалко, что в «Молодой гвардии» икру не съел, — подумал я. — За труды ведь ни там не платят, ни здесь».

В издательстве «Современный литератор» действительно платили крохи, но это не казалось чем-то странным. Обнищание людей было первейшей задачей нынешней власти. А с писателями она разбиралась с особым пристрастием, как говорится, в лучших традициях ЧК, ГПУ и МГБ с КГБ. По странному стечению обстоятельств многие предки теперешних реформаторов занимали в этих уважаемых организациях далеко не последние места.

Продолжение следует.



Владимир МОЗГО

Душе и радостно, и больно

Возвращение большой Анненской ярмарки

Реальность… Мираж — не мираж,
Но чудо случилось на свете.
И ярмарка наша, *кірмаш*,
Вновь в Зельву пришла сквозь столетья.

Коней разудалая прыть,
Карета… Под солнечный росчерк,
Чтоб Анненский праздник открыть,
Сапега идет через площадь.

…Дебелый такой молодец,
Удачу набулькав в стаканы,
Стоит разомлевший купец
И строит богатые планы.

Торговец, степенный на вид,
Довольный, удачливый, ловкий,
Хмелеющим взглядом скользит
По стану соседки-торговки…

Бурлит, веселится кірмаш:
— Червонец? — А вот тебе кукиш…
Но совести здесь не продашь,
И славы фальшивой — не купишь!

Конь в сквере копытами бьет —
Сапегу всё ждет-поджидает.
Сапега ж по рынку идет…
Сапега товар выбирает…

Шведская гора в Волковыске

В легендах не осталось
Ни росчерка пера…
Но как-то оказалась
Здесь Шведская гора.

Сумняшеся ничтоже
Схватились в битве тут.
И всех племен, о Боже,
Здесь косточки гниют..

Знамена полковые…
У крови — крови цвет.
И что-то Волковыя
Всё шепчет им вослед.

Да ворон, хоть и редко,
Тревожит сумрак плит.
Молчит о прошлом Шведка,
Молчит себе, молчит…

* * *

Темно… Холодает…
До зореньки алой
Я в мыслях витаю
Над Родиной малой.

Отцовская хата —
Всех тропок начало,
Глядит виновато—
Детишек не стало.

А как мы мечтали
В купальские ночи,
Чтоб в светлые дали
Уплыл наш веночек.

На Зельвенском море,
По волнам Зельвянки,
Где очи, как зори,
У Яни и Янки.

Под шелест колысок
Шептать, засыпая,
Лишь строчку Ларисы
Да строчку Тавлая…

В Сынковичском храме
Стоять одиноко.
Так хочется к маме,
А мама — высо́ко…

Ей вслед запоздало
Шепчу, как на тризне:
«Без Родины малой
Не будет Отчизны…»

* * *

Прошепчи мне ласковое слово…
А потом еще… И снова, снова…
Просто вечер нынче ясноглазый,
Звезды, как лучистые топазы.

Подари всю нежность мне и ласку —
Я поверю в ласку, будто в сказку.
Пусть летят мгновенья нашей встречи —
Отогрей ладони мне и плечи.

О любви до зорьки говори мне,
Пусть желаний радужные ливни
Окропляют утренние дали —
Мы с тобою тайну разгадали…

Подари невиданное счастье
Быть в плену желания и страсти.
Опали глаза мои и губы
Шепотом: «Любимый… Любый… Любый…»

Объясни мне ласково и мудро,
Что твое я солнечное утро…
Ну а ты, возвышенная страстью,
Для меня — молитва… Вспышка… Счастье…

Ты — гроза, ты — воздух, ты — криница,
Мне тобой вовеки не напиться.
Пусть Господь нахмурится сурово —
Прошепчи мне ласковое слово.

Пусть созвездья рушатся на крышу…
Прошепчи… И я тебя услышу…

* * *

Всё чудится —
Всевышний
Рассыпал звездный рой —
Цветут-дурманят вишни
Весеннею порой.

Так вот она какая —
Земного счастья суть.
Струится и стекает
На землю
Млечный Путь.

* * *

Зима, а снега нет…
Что за зима без снега?
Ни света — скуден свет,
Ни снежного набега…

Что толку —
Просто ждать,
Ругая непогоду?
Пришла пора менять —
Себя или природу.

* * *

Поэту и гончару Сергею Худяеву
из деревни Галынка Зельвенского района

Он чародей — властитель чар,
Седой, как будто дым, гончар.

Тут и не скажешь ничего —
Талант, как с Господом родство.

Господь открыл ему секрет:
Творить — пусть глиняный, но свет.

И круг послушен пальцам рук —
Гончарный, бесконечный круг.

Во всех зверюшек и людей
Вдыхает душу чародей.

Вдыхает… Видит млад и стар —
Ваяет вечное гончар.

Вечерний эскиз

Поет сердечно Молодечно —
Вчера, сегодня, завтра —
Вечно.

На небе звездные борозды…
И песни звонкие,
Как звезды.

Душа встревожилась невольно.
Душе и радостно,
И больно…

* * *

Горизонтов на свете немало,
Но Отчизна — всех далей родней!
Там, где мама меня колыхала,
Там, где к сердцу меня прижимала,
Чтоб я был и добрей, и сильней.

Слушал мамины я калыханкі[1]
И под ласковым солнышком рос,
Под мажорные песни Зельвянки
И минорные песни берез.

Как давно нам звонки отзвонили,
Сколько лет утекло с той поры!
Там, где саженцы мы посадили,
Зеленеют леса и боры.

Где ты, детство?.. В грибах и орехах…
Где в Зельвянке прозрачна вода…
Как давно я из дома уехал!
Как светло возвращаться сюда!

---

[1] Калыханкі *(бел.)* — колыбельные.

Перевод с белорусского Анатолия АВРУТИНА.

Адам ГЛОБУС

Два рассказа

В школу идти не хотелось…

Серое утро. Туман. В школу идти не хотелось. Когда и кому хотелось идти в школу? Таких не знаю.

Я шел вдоль проволочной ограды детского сада и думал, что отсижу первые уроки и сбегу.

Мое место в классе — за второй партой, что в среднем из трех рядов. Рядом сидит Света. Она хорошо учится, как и я, — без троек. В пятом классе мальчик еще должен сидеть с девочкой, заведенка. В шестом можно мальчику сидеть с мальчиком, а в пятом приходится сидеть с усыпанной веснушками Светой. В шестом я буду сидеть с Валиком. Мы договорились. На перемене я предлагаю Валику вместе сбежать из школы. Хотел еще перед уроками предложить, но он опоздал. Автобус, который вез школьников из деревни в город, задержался, и деревенские опоздали.

Первым уроком была история. Вел ее зауч старших классов. Уроки зауча лучше не прогуливать. Ясно. Вторым уроком была арифметика с очередной контрольной. Контрольную нужно написать. Пение, язык и ботанику я решил прогулять.

Предложил Валику:

— После арифметики сбежим. Просто сбежим, даже в медпункт заходить не будем. Одному еще можно выпросить справку, а сразу двоим они справки не дадут.

— Куда пойдем? — поинтересовался Валик.

— Можно в кино, можно в городе погулять...

— Гулять холодно, туман. Похоже, что дождь пойдет. Лучше сразу в кино.

— С портфелями в кино не пустят...

Такая реальность: все кинотеатры получили указ не пропускать в зал школьников с портфелями. Если ты с портфелем направляешься в кино, значит — прогульщик.

— Портфели спрячем.

— Где ты думаешь спрятать портфели? — в вопросе Валика слышится тревога.

— Под мостом...

После контрольной мы выбежали из школы в туман. Бежать из школы надо быстро, чтобы оказаться как можно дальше и не встретить на дороге кого-нибудь из учителей. Если будешь топтаться возле школы, то обязатель-

но нарвешься на географа или физрука. Встретишь школьного вурдалака и услышишь:

— Прогуливаем?

Придется что-то выдумывать и врать. Врать я не люблю. Поэтому мы быстро бежим от школы до винзавода. Под заводским забором отдыхаем, переводим дух и дальше спокойно идем к мосту.

Мост большой, под ним лежит аж шесть железнодорожных путей. Около моста стоит белый домик железнодорожников. За домиком начинается высоченный тюремный забор. Под мостом, в бетонной нише мы прячем портфели. Засовываем их как можно глубже, чтобы случайный прохожий не заметил.

В кинотеатре «Беларусь» два зала. Там всегда можно купить билеты. Недоверчивая контролерша спрашивает:

— Вы, часом, школу не прогуливаете?

— Нет! Мы во вторую смену ходим. У нас даже галстуков нет, — уверенно говорю придирчивой контролерше.

Галстуки мы сняли еще около винзавода и спрятали в портфели.

Киномир радует. Он широкий, многоцветный, героический и не похож на нашу вечно холодную, промозглую жизнь.

Из кинотеатра возвращаемся к мосту. По дороге обсуждаем совершенное мастерство главного киногероя в бросании большого ножа.

— Надо поехать в лес и научиться бросать! — говорю.

— Можно в подвале учиться. Поставим пару широких досок и будем бросать. Ехать никуда не надо. В подвалах нож никто не отберет. В лесу могут отобрать, — рассуждает Валик.

Он из деревни, ближе к лесу, ему можно верить.

В нише портфелей нет. Мы обыскиваем все ниши под мостом. Портфели пропали. Беда. Мы молчим. Сидим на цементных плитах под мостом, по которому с грохотом катятся грузовики, и еле сдерживаем слезы. Ждем, сами не знаем чего.

Из домика железнодорожников выходит рабочий с молоточком на длинной, почти метровой держалке. Он постучал молоточком по шпале так, чтобы мы его услышали, и стал призывно махать свободной рукой, чтобы подошли. Мы спустились к железнодорожному полотну и подбежали к рабочему. Он был сильно пьян:

— Потеряли портфели, подшиванцы? Продинамили школу и потеряли портфели? Несите каждый по пять рублей, и я верну портфели. Не принесете деньги через два часа, свои портфели больше не увидите! Бегом! Я сказал бегом, засранцы, — рабочий-железнодорожник захохотал громко и мерзко, так в кино хохочут полицаи и криминальники.

— У меня нет пятерки! — заскулил Валик.

— Найдешь! У папаши, если что, попросишь или украдешь. Бегом, у тебя два часа.

Когда мы поднялись на мост, заморосил дождь. Мы ускорили шаг, чуть не бежали, но домой я пришел совсем мокрый. Дома никого не было. Я переоделся в сухое. Попил сладкого чая. Достал из тайника деньги и пересчитал. Получилось три рубля с копейками. На выкуп портфеля не хватало почти два рубля. Их я взял в шкафу отца. Можно даже сказать, что я украл у своего отца два рубля.

Эти деньги я позже верну. Буду собирать и сдавать бутылки. Бутылка из-под пива — двенадцать копеек, бутылка из-под молока — пятнадцать.

Дорогих бутылок из-под молока на улице не найдешь, пришлось собирать дешевые — пивные и винные.

Хорошо, что дождь закончился, и хорошо, что Валик съездил в свою Барановщину и одолжил у деда пятерку. Мы вернулись к домику железнодорожников в сумерки. Железнодорожников в домике было аж четверо. Они сидели за маленьким столом, застланным пожелтевшей газетой. Посреди стола стояла водка, вокруг нее нарезанное сало, хлеб, стаканы. Рабочие курили. В домике было темно от дыма.

Длиннолицый рыжий рабочий с мешками под мутными глазами забрал наши деньги. Достал из-под стола портфели и просипел прокуренным голосом:

— Еще раз увижу под мостом или возле путей, накостыляю. Пошли вон, уроды!

Мы выскочили из домика как ошпаренные. Пьяный, дурной, агрессивный рабочий мог и впрямь побить, а мог и убить.

— Как думаешь, почему он хотел нас побить? — спросил Валик, когда мы шли узенькой тропинкой вдоль тюремного забора.

— Позабавиться хотел. Побить человека, чтобы показать свою силу, показать власть. Мозги он пропил. Козел рыжий. Надо его, козла, проучить! Давай наберем камней, вернемся и с моста будем бросать камни в домик, пока не побьем стекла.

— Поймут, что это мы сделали. Может, они лазили в портфели, прочитали на тетрадях наши фамилии, может, даже запомнили их... Рискованно возвращаться.

— Сегодня рискованно, а через месяц, когда они забудут про наши портфели, мы вернемся и камнями повыбиваем им окна.

— Надо подумать, — сказал Валик, и я понял, что бить окна железнодорожникам он не пойдет.

Чтобы поскорее вернуть украденные рубли, я несколько дней слонялся по району в поисках пустых бутылок. Больше всего я их нашел на старом, засыпанном желтыми кленовыми листьями кладбище. Районные пьяницы любили выпивать в затишье, между могил и крестов. На том кладбище я и нашел гладкий, светлый, похожий на куриное яйцо камень. Он лежал возле песчаной тропинки, размытой октябрьскими дождями.

Тот камень был первым в моем арсенале. За ним появились второй и третий. На кладбище я собрал камней десять. Все они были гладкими и похожими на яйцо. Бросать такие камни — одно удовольствие. Хотелось поскорее пойти на мост и оттуда обрушить свою накопившуюся злобу на прокуренный домик железнодорожников. На мост я ходил, но без камней. Старательно разрабатывал маршрут бегства. С моста надо бежать до кинотеатра «Нёман», оттуда закоулками нестись на старое кладбище, а через него идти домой.

Перед акцией я решил еще раз поговорить с Валиком. Подошел к нему на большой перемене в школьном буфете. Валик ел золотистую ватрушку и запивал янтарным компотом.

— Пойдешь бить стекла?

— Нет! Дед сказал, что я могу и не возвращать пятерку. Какой смысл теперь бить окна? Кстати, можно попасться, тогда и десяткой не откупимся...

— Не хочешь, как хочешь, — я немного помолчал, подождал, пока он допьет компот и сказал: — Я тоже один не пойду мстить. Одному скучно...

— Правильно! Не ходи. Пошли они на фиг. Прятать портфели в сарае с картошкой намного лучше. Сарай закрывается. Портфели никто не стибрит. Может, завтра удерем с последних уроков и сходим в «Беларусь»?

— Завтра посмотрим.

На другой день я ушел с уроков. Взял справку в медпункте, что заболел — простудился, и ушел. Пошел на озеро, чтобы потренироваться. Я пытался забросить камень с берега на небольшой остров, заросший тополями. Остров был далековато от берега, и добросить камень мне не удавалось, но бросал я достаточно далеко. На острове я набрался уверенности, что доброшу камень с моста до домика железнодорожников и попаду в окно.

Дождавшись темноты, я поднялся на мост, достал из кармана камень, размахнулся и бросил в золотой квадрат окна. Первый камень попал в стену. Второй камень попал в железную крышу и наделал грохота. В домике железнодорожников открылась дверь, и из нее повыскакивали рабочие. Они громко ругались и показывали руками на мост. Третий камень попал в окно. Стекло разбилось. Рабочие умолкли. Я пересек мост и пустился по склону в направлении «Нёмана». По склону я бежал наискосок, но все равно один раз поскользнулся на мокрой траве и проехался на пятой точке. Обогнув кинотеатр, я несся темными закоулками к кладбищу. Там я спрятался за часовней, сел на мокрые опавшие листья и притаился. За часовней я сидел долго, пока не отдышался и не успокоился.

Домой вернулся в хорошем настроении.

— Почему такой веселый? — спросил папа.

— Я лучше всех в нашем классе бросаю гранату.

На концерте

Купить билеты на концерт «Песняров» было просто невозможно. В минском Дворце спорта шло десять концертов подряд, и на все аншлаг. Купить билеты было трудно, но их можно было достать.

Было такое время, когда все более-менее ценное у нас распределяли и распространяли через какие-то профсоюзные организации и через их так называемых деятелей. Получить право на обычное посещение концерта ансамбля «Песняры» считалось наградой. Ты не просто платил и даже переплачивал за билет, ты еще был и награжден. Кто-то из нас имел право на награду и не хотел слушать «Песняров», а кто-то жаждал их увидеть и услышать, но не имел права на такую награду.

Чтобы попасть на концерт, мне надо было посетить поликлинику, где работала подруга моей матери — Галина Львовна Киселева. Она работала участковым врачом в районе бульвара Шевченко. В том районе около озера и стояла маленькая, в два этажа, кирпичная поликлиника.

Кто и как передал билеты Галине Львовне, я не интересовался. Было даже неприлично задавать подобные вопросы. Хороший человек дал билеты доктору, а хороший доктор дала билеты сыну своей хорошей подруги. Так об этом говорилось и думалось.

Вообще-то, я сказал матери, что стал встречаться с однокурсницей Аленой и хорошо бы нам вместе сходить в какой-нибудь театр или на концерт. Мать поделилась новостью с подругами. Одна из них — Галина Львовна Киселева и предложила сверхценные билеты. Таким образом я попал в ловушку. Теперь

я просто должен был купить дорогущие билеты, а с теми билетами в кармане пригласить Алену на концерт.

В поликлинику я пришел с тревогой в сердце и тяжелым кошельком. Пришел к кабинету Галины Львовны и стал в очередь. Минут двадцать стоял. Потом стул освободился, и я сел и сидел, пока Галина Львовна не выглянула из кабинета:

— Володя, почему ты сидишь? Почему сразу не заглянул в кабинет? Я тебя давно жду!

Пришел. Ждал. Тревожился. И получил выговор, потому что не полез без очереди. Стерпел я несправедливость, потому как Галина Львовна — авторитет. В моей семье к докторам всегда относились с большим уважением.

— Заходи. Садись…

Галина Львовна закрыла кабинет на ключ.

— Деньги принес? Ты же понимаешь, что это не мне десять рублей за два билета. Это хорошим людям, которые достали эти билеты для тебя и твоей девушки… Как ее зовут?

— Алена…

— Как ее фамилия? Майхрович? Она случайно не из наших девочек?

Обычно Галина Львовна не спрашивала и не вспоминала свое и чужое еврейство. Может, интимная обстановка с тайной передачей билетов за закрытой на ключ дверью побудили ее спросить про Алену.

— Нет. Алена не из еврейской семьи. Родители ее Марковичи, а не Майхровичи. Они перебрались из деревни в Полоцк. Приехала из Полоцка в минский интернат для одаренных детей, но по паспорту и в действительности она из белорусов.

— Прости. Нина мне о ней так рассказывала, что я подумала — из еврейской семьи Майхровичей. Если кто-нибудь спросит про билеты… Конечно, никто никогда не спросит! Но вдруг кто-нибудь чужой… Откуда у тебя, Володенька, билеты на «Песняров»? Скажи, что купил в кассе, во Дворце спорта. Отстоял километровую очередь и купил, как все покупают. Маме передавай привет.

С легким кошельком и приветом для мамы я вышел из пропахшей дешевыми лекарствами поликлиники. Когда выхожу из поликлиники, всегда радуюсь. Просто радуюсь первому глотку свежего воздуха.

Радость мая была короткой. Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что Алена откажется идти на концерт. Скажет, что на такие концерты не ходит. Одно дело — пригласить девушку в кино, а другое — на настоящий концерт. Мне легче было уговорить Алену раздеться и попозировать обнаженной. Что я и сделал дважды. Мне легче было ее обнаженную уговорить заняться сексом в институтской мастерской, что я однажды и сделал. Тот быстрый и какой-то совсем спринтерский секс Алене, между прочим, не понравился. Он и мне показался пресным, потому что в быстром возбуждении и согласии Алены была еще и какая-то бабская практичность. После того как я остановился, она безразличным голосом спросила: «И все? Я рассчитывала на большее…» — «В следующий раз сделаем!» — поспешно пообещал я. Теперь вместо длительной секс-игры я приду и предложу Алене сходить на концерт...

Алену я нашел в большой комнате общежития. Кроме ее кровати и тумбочки в той комнате стояло еще одиннадцать кроватей и одиннадцать тумбочек. Жить в такой комнате, может, и не очень удобно, но в ней было аж два окна и даже имелся балкон, на котором можно было постоять и покурить. Я начал с предложения покурить:

— Лен, может, покурим на шикарном балконе?

— Курить не хочу, но могу с тобой постоять, пока ты покуришь…

Мы вышли на балкон. Я прикурил «Орбиту» и достал из кармана билеты:

— Сходим на «Песняров»?

— Ты достал билеты на «Песняров»?

— Сама видишь.

— Девки не поверят, когда я скажу, что иду с тобой на «Песняров».

— Можешь и не говорить своим девкам.

— Как это не сказать? Скажу! Пусть, сучки, завидуют.

— Если для того, чтобы их жаба передушила, скажи. Еще лучше — скажи, что мы с тобой просто идем в кино. В кино все всем понятно.

— Про кино неинтересно даже говорить. В кино не надо одеваться нарядно. А тут — я стану наряжаться, и девки обязательно спросят, куда и с кем отправляюсь.

— Скажи, что Ян Буланчик пригласил тебя на репетицию «Пинской шляхты».

— И я наряжаюсь, чтобы посмотреть «Пинскую шляхту» с Яном Буланчиком?

— Хорошо, давай ты всем скажешь так, как есть. Самое простое и надежное.

Что сказала Алена своим одиннадцати соседкам по комнате, я не поинтересовался. Наверное, сказала, что идет со мной на концерт «Песняров».

Около Дворца спорта я ее встретил в белой рубашке. Бывают моменты, когда мне хочется надеть белую рубашку. Кому-то для самоутверждения нужна желтая рубашка, а мне — обязательно белая. Алена тоже пришла в белой полупрозрачной блузке. Мы были светлой парочкой. Этакой летней и светлой.

Вместо привета Алена подняла левую руку и покрутила перед моими глазами. На ее среднем пальце сияло золотое колечко:

— Родители подарили на восемнадцать лет. Нравится? Его я надеваю только в самых торжественных случаях!

Колечко мне понравилось. Аккуратное. Широкое. Отделанное ровными черточками.

Было приятно поглаживать в темноте руку, украшенную золотым кольцом. Это была первая женская рука с кольцом, которую я нежно поглаживал во время музыкального концерта. Сказать правду, из всех частей Алениного тела я полюбил только ее левую руку, которую и поглаживал. До-по-гла-жи-вал-ся! Не знаю, как так получилось, но колечко сползло с пальца и упало под кресло. Под креслом оно закатилось в щель между досок и провалилось.

Хорошо, что колечко провалилось не в начале концерта, а в самом конце, когда «Песняры» пели свое всегдашнее и прощальное «Бывайте здоровы, живите богато…». Если бы кольцо провалилось в начале песняровского выступления, то Алена успела бы меня съесть вместе с белой рубашкой, а так она успела только покусать. Покусала сильно, но только морально, до физической хватки зубами дело не дошло.

— Что я теперь родителям скажу? Пошла на концерт и потеряла золотое кольцо? Кольцо провалилось между досок? Кто мне поверит? Только девки и поверят! Они обрадуются, потому что жаба зависти, что их душила, теперь душить перестанет...

Алена шипела, сипела и посвистывала, как самая настоящая змея. Если бы она знала, как я не люблю змеюк, она сипела бы еще больше.

Когда в зале зажегся свет и публика понемногу покинула дворец, я подошел к уборщице и попросил помощи. Рассказал про золотое кольцо, которое провалилось между досок. Так как билеты у меня были дорогие и сидел я в одном из первых рядов, то мое кресло стояло на дощатом подиуме. Уборщица показала место, с которого лучше лезть под тот подиум. Я полез. В белой рубашке я залез в грязь и пыль. Пролез между какими-то металлическими уголками и трубами к месту под своим стулом и нашел золотое кольцо. Я зажал его в кулаке, поднял голову и взглянул в щель в досках. Острый свет резанул по глазам и рассек мне голову. Моя рассеченная голова стала похожей на дивный цветок, и я увидел одновременно свое будущее и прошедшее. В том будуще-прошедшем сразу зазвучали все мои песни и все мои стихи, что когда-то напишу. Одну из них даже исполнял песняр Борткевич.

Довольный, я вылез из-под подиума.

— Не нашел? Так и знала, что не найдешь!

Золото на моей ладони ее успокоило, обрадовало, но шипеть Алена не перестала.

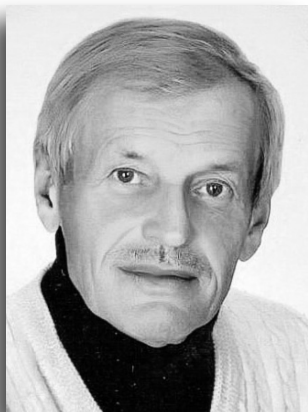
— Даже не верится, что ты его нашел. Просто не могу поверить, что это мое кольцо! Девки тоже не поверят...

— Слушай, Лен, давай подойдем к Борткевичу. Вон он на сцене стоит, около микрофона...

— И что мы скажем Борткевичу? Скажем, что потеряли и нашли золотое кольцо? Думаешь, его заинтересует история с кольцом?

«Думаю, что Борткевич будет петь мою песню!» — подумал я, но промолчал.

Перевод с белорусского Натальи КАЗАПОЛЯНСКОЙ.



Юрий МАТЮШКО

Когда светлеет небо

* * *

Много красок на небе покатом
Этим вечером видно вдали.
Озаренные перья заката
Пишут летопись нашей земли.

Расшифровывать нам бесполезно
Суть посланий с небесных листов.
Вот и запись немедля исчезла
В полыхании новых пластов.

Вот и солнце к ночлегу скатилось,
Небосвод за собой накреня,
Предоставив божественной силе
Завершить угасание дня.

Взгляд уходит в простор небывалый
За предел, за небесный порог,
Где на западе росчерком алым
Оставляет автографы Бог.

* * *

Еще не стар, уже не молод,
Но, возраст зрелости открыв,
Ты начал замечать, что холод
Вползает в радостный порыв.

И хоть живешь все беспокойней,
В угоду зрелому уму,
Все чаще думаешь: «На кой мне...»,
Не сознавая почему.

А так хотелось дальних странствий,
Туда, где множит миражи
Дорога в новое пространство,
Так непохожее на жизнь.

Друзья зовут тебя скитальцем.
И пусть синицы нет в руке,
Но пыль, текущую меж пальцев,
Еще сжимаешь в кулаке.

* * *

Неуютно быть на шпиле,
Страшно даже глянуть вниз.
Хоть имеешь пару крыльев —
Лишний раз не шелохнись.

Нет доверия опоре,
Ветру веры нет давно,
А кротам, что роют норы,
Шаткой жизни не дано.

Не таи на них обиду
И на жизнь не каркай вслух.
Никогда кротам не видно
Как прекрасен мир вокруг.

Когда светлеет небо

Замучили проклятые дожди.
Неделю не рассеивалась мгла.
Когда светлеет небо — легче жить.
Душа спокойна, ладятся дела.

Как сильно мы зависим от небес.
Как верится, что Бог мольбу услышал.
Сегодня тихий ветер. Дождь исчез.
И хорошо... Как на войне затишье.

Из жизни передвижников

(По воспоминаниям Я. Д. Минченкова)

Художник Волков был изрядно пьян.
Друзья его под локти провожали,
А он не замечал ни луж, ни ям.
Земля качалась, фонари дрожали.

И вдруг они заметили слона.
Увидели слона — остолбенели.
Реальность не трезвила их сполна,
Но как-то ослабел угар от хмеля.

Тут Волков говорит: «Смотрите... слон...
Откуда взялся этакий слонище?»
Друзья ему с усмешкой: «Где же он?
Да здесь слонов-то днем с огнем не сыщешь!»

«Позвольте, господа, да как же так!
Вот ноги и живот, вот уши, хобот...»
Ему в ответ: «Бросал бы пить, дурак,
Иначе доведешь себя до гроба!»

«Что у меня? Горячка, господа?»
— «Да-да, беда-беда, твоя беда...»

Заходит Волков в дом — там все одно...
Сидит жена, в глазах полно обиды.
А Волков ей: «Ты погляди в окно —
Случайно на мосту слона не видно?»

Она в сердцах: «Какой тут, к черту, слон!
Сто раз твержу, что надо пить поменьше!»
И как всегда: упреки, слезы, стон,
И все, что можно выслушать от женщин...

. . . .

Ох, как был Волков сильно удручен!
Замкнулся, перестал писать картины.
А горький бром, назначенный врачом,
Пить из бокала было так противно!

Неделю жил без водки и вина.
Потом в газетах вычитал с досадой
Статью о том, как крупного слона
Переводили в цирк из зоосада...

* * *

Как стали безлики звонки от знакомых.
У всех лишь одно: «Как дела...» и — «Привет!»
А прежде, в общении по телефону —
Казалось, по проводу мечется свет.

Не слышно того суматошного звона
От тех, с кем, бывало, — водой не разлей...
Лишь память хранит номера телефонов
Навеки ушедших куда-то друзей.

Дружили мы крепко, любили мы сильно.
Ценили приязнь, уважали порыв...

Теперь СМСки трясут мой мобильник:
«Общайтесь со скидками!!! Новый тариф!!!»

* * *

Валун, нетрезвым великаном
Валялся около села.
Жилетка мха на голом камне
Совсем дырявою была.

Он был для местности приметой,
Неизменяемой в веках.
Над ним закаты и рассветы
Высвечивали облака.

Свидетель множества историй,
Немой судья добра и зла,
Он знал о счастье и о горе,
К чему людей судьба вела.

Его хотели на могилу,
На окультуренный погост...
Но не смогли осилить силу,
С которой камень в землю врос.

А он и не годился, впрочем,
Стать атрибутом для могил.
Из-за того, что каждой ночью
Он был живым.
Он теплым был...

* * *

Ю. М. Сапожкову

На полках моих — изобилие книг,
Но взгляд натыкается снова
На ту, что немножко светлее других, —
На томик стихов Сапожкова.

Листаю страницы знакомых стихов,
Порой в чем-то с автором споря.
От них почему-то на сердце легко,
От них веет воздухом моря.

И мысли невольно уходят наверх,
Минуя житейское время...

Мне помнятся жесты, улыбка и смех,
И скромность, и честность суждений.

А где-то, в глуби подсознания, суть
Признанья, дающего крылья.
Еще бы немного, еще бы чуть-чуть —
И нас бы водой не разлили.

* * *

Остановиться и застыть.
Обнять тебя, закрыть от света,
Чтоб в отношеньях непростых
Осталось в памяти хоть это.

Без слов: — Моя? — Твоя. Ты мой!
Не надо слов. Слова излишни...
«Очнись! Пора идти домой!»
Но кто сказал? — Я? — Ты? — Всевышний?

И чувства спрячутся внутри,
И мысли странные остынут...

. . . .

Как тускло светят фонари,
Когда все улицы пустынны!

* * *

Поэзия любви довольно скоро
В моем пространстве перестанет жить.
Затухнув на экране монитора
Кардиограмма вытянется в нить.

Но все, о чем писалось, — не напрасно.
Перед собой ни в чем я не грешил.
И ангел, мой хранитель, нитью красной
Сошьет ошметки порванной души.

Джон Диксон КАРР

Игра в «жмурки»

Рассказ

Хотя одинокая снежинка, предвестница снегопада, уже пролетела мимо окон дома, его большие входные двери оставались открытыми. От порывистого ветра они покачивались и скрипели. Внутри дома Родни и Мюриел Хантер увидели старинный узкий холл, выстеленный блеклым красноватым кафелем, и лестницу времен короля Якова, ведущую в заднюю часть дома.

Именно такой деревенский дом семнадцатого столетия, полы которого от времени горбились, а балки чистились из года в год, и ожидали они увидеть в этой уединенной части Уилда, графства Кент. Даже наличие здесь электричества было удивительно. Родни подумал, что он редко видел так много света в одном доме. Мюриел также была этим сильно удивлена.

«Клерлонс» оправдывал свое название. Он стоял посреди склона, на плоской лужайке, покрытой жесткой от мороза травой. Ни деревца, ни кустарника не было в радиусе двадцати ярдов от него. Яркое освещение явно не вязалось с негостеприимным и унылым видом дома. Будто собственника заставили держать свет зажженным.

— Но почему входные двери открыты? — подала голос Мюриел.

Дом предстал перед ними очерченный лозами глицинии, вьющимися по стенам. Из каждой трещины таинственных черных фронтонов прорывались лучики света. По сторонам входных дверей имелись небольшие стеклянные окна с задернутыми занавесками. Через фронтальные окна в левой от них стороне дома они могли видеть низкую комнату со столом, накрытым для холодного ужина. В правой от них части виднелась затемненная библиотека с перемежающимися отсветами яркого огня от камина.

Вид огня воодушевил Родни и в то же время заставил его почувствовать себя виноватым. Они сильно опоздали. Родни обещал Джеку Баннистеру прибыть с женой в «Клерлонс» в пять часов, без опоздания, чтобы открыть рождественскую вечеринку.

В дороге двигатель их автомобиля кашлянул и заглох. Неисправность двигателя после Лондона была лишь первой причиной. Далее — расслабленность в деревенском пабе посреди дороги, питье горячего эля и слушание по радио рождественского песнопения. Какое-то, в диккенсоновском стиле, веселье незаметно охватило их. Это была вторая причина. Но оба, Родни и Мюриел, молоды, они очень любили друг друга, а это главное. Сейчас влюбленные пребывали еще в сиянии Рождества, которое, пока они стояли перед скрипучими дверями «Клерлонс», странным образом начинало остывать.

Впрочем, не было никаких причин для беспокойства. Родни вытащил из багажника машины багаж, включающий коробку с подарками для детей Джека и Молли. Эти его действия, должно быть, прозвучали очень громко, а на гравии —

естественно. Молодой человек сунул голову в дверной проем и свистнул. Затем начал стучать дверным молотком. Звук, казалось, дошел до каждого уголка дома и затем вернулся назад, как ищущая дичь собака.

— Вот что я тебе скажу, — проронил обескураженный Родни. — В доме никого нет.

Мюриел поднялась на три ступеньки и встала рядом с ним. Плотнее запахнула свою шубку. Лицо ее раскраснелось от холода.

— Но это же невозможно, — возразила девушка. — Даже если они вышли, то слуги!.. Молли говорила мне, что держит повара и двух служанок. Ты уверен, что мы правильно приехали?

— Да. Название на воротах. И на милю вокруг нет никакого другого дома.

Не сговариваясь, одновременно они вытянули шеи влево, чтобы заглянуть в окна столовой. Холодная птица на буфете, большая ваза с каштанами. Теперь они даже могли видеть другой камин, перед которым стояло кресло с брошенным вязанием. Родни снова стукнул дверным молотком, энергичнее, но звук не произвел никакого эффекта. Стоя в центре света, гости, тем не менее, чувствовали себя очень одинокими. Вместе с порывистым восточным ветром, дующим над Уилдом, двери качнулись и скрипнули.

— Полагаю, нам лучше войти, — предложил Родни и добавил уже без рождественской бравады: — Что за дьявольский трюк, черт возьми! Как ты думаешь, что здесь случилось? Могу поклясться, что этот камин разожгли не более пятнадцати минут назад.

Он ступил в холл и поставил на пол сумки. Когда повернулся, чтобы закрыть дверь, Мюриел взяла его за руку.

— Послушай, Рони. Ты думаешь, лучше будет, если ее закрыть?

— Почему нет?

— Я… я не знаю.

— Здесь довольно холодно, — заметил он, неохотно признавая, что такая же мысль приходила и ему в голову.

Родни закрыл обе створки двери и возвратил на место засов. И в тот же момент из двери библиотеки, что направо, вышла девушка.

У нее было такое приятное лицо, что оба приезжих почувствовали облегчение. Пустоты дома больше не существовало. Девушка была хорошенькая, не более двадцати одного-двадцати двух лет, и имела чопорный вид, который у Родни Хантера смутно вызывал ассоциацию с гувернанткой или секретарем. Хотя Джек Баннистер никогда не упоминал о такой особе. Она была полной, но с удивительно узкой талией. Одета во все коричневое. Каштановые волосы аккуратно разделены пробором. Карие продолговатые глаза могли намекать на скрытную или любопытную улыбку, если бы не смотрели так спокойно и заинтересованно. В одной руке девушка держала то, что выглядело как маленький белый мешочек из льняного или из хлопкового материала. Говорила она с достоинством, которое не вязалось с ее годами.

— Я сильно извиняюсь, — проговорила девушка. — Мне показалось, что услышала кого-то. Но была так занята, что не сразу поняла. Вы простите меня?

Она улыбнулась. По личному мнению Хантера, звук дверного молотка был таким громким, что мог разбудить и мертвого. В ответ он только пробормотал общепринятые фразы. А девушка, будто чувствуя некоторую неуместность белого мешочка в руке, подняла его.

— Для игры в «жмурки», — объяснила она. — Обычно в ней обманывают не только детей. Если используется обычный мужской платок, завязанный вокруг глаз, всегда получается, что угол прилегает неплотно.

Но если вы возьмете мешочек, натянете на голову человека и закрепите его вокруг шеи…

Внезапно в голове Родни Хантера возник ужасный образ.

— …тогда будет намного лучше, не правда ли? — Ее взгляд, казалось, обратился внутрь и стал отсутствующим. — Но я не должна держать вас здесь, болтая. Вы?..

— Мое имя Хантер. Это моя жена. Боюсь, мы прибыли с опозданием, но я так понял, что мистер Баннистер ожидает…

— Он не говорил вам? — задала вопрос девушка в коричневом.

— Говорил мне что?

— Все жильцы, включая слуг, всегда выезжают из дома на этот особый период. Такова традиция. Полагаю, что существует она уже в течение более чем шестидесяти лет. Существует даже особый вид церковной службы.

Воображение Родни Хантера изобретало разные виды фантастических объяснений, первым из которых было, что эта скромная леди убила членов семейства и избавилась от их тел. Откуда такая мысль появилась в его голове, он сказать не мог. Разве только из-за его профессии — автора детективных произведений. Но Родни почувствовал бы облегчение, услышав обыкновенное объяснение.

— В действительности это повод, — снова заговорила девушка. — Приходский священник, этот милый человек, приглашал их все эти годы, чтобы уберечь от неприятности. То, что случилось здесь, не связывалось с убийством, так как времена были другие. И я полагаю, большинство людей уже забыли, почему жители этого дома предпочитают в канун Рождества стоять на церковной службе в течение семи-восьми часов. Я сомневаюсь, известна ли даже мистеру Баннистеру действительная причина? Хотя, наверное, известна. Но то, что случилось здесь, не может быть приятным. И нельзя, чтобы дети это знали, не так ли?

И тут вмешалась Мюриел, с такой внезапной прямотой, которой, по мнению ее мужа, она и сама боялась:

— Кто вы? — спросила она. — И о чем вы все-таки говорите?

— Я совершенно в своем уме, — заверила их хозяйка с улыбкой, которую можно было бы считать полувеселой, полужеманной. — Осмелюсь сказать, что все это сбило вас с толку, бедненьких. Но я забыла о своих обязанностях. Пожалуйста, входите и устраивайтесь перед камином. И позвольте мне предложить вам что-нибудь выпить.

Она повела их в библиотеку, идя впереди походкой вприпрыжку и глядя через плечо своими миндалевидными глазами. Библиотека была длинной низкой комнатой с балками. На окнах, выходящих на дорогу, занавески раздвинуты, а с другой стороны, где находился камин, выложенный блеклым красным кирпичом, выступающие окна были плотно закрыты шторами. Когда хозяйка устроила их у камина, Хантер мог поклясться, что одна из драпировок шевельнулась.

— Вам не нужно беспокоиться об этом, — заметила она, проведя взглядом в сторону выступа. — Даже если вы туда заглянете, ничего там не обнаружите. Полагаю, какой-то джентльмен попытался сделать это однажды, много лет тому назад. Он заключил пари, остановившись в доме. Но когда отдернул драпировку, то не увидел ничего в этом выступе. Совершенно ничего. Лишь почувствовал, как шевелятся его волосы. Вот почему в наше время здесь так много света.

Мюриел села на софу и зажгла сигарету.

«К чопорному неодобрению хозяйки», — подумал Родни.

— Подайте нам, пожалуйста, что-нибудь горячее, — решительно заявила Мюриел. — А потом, если не возражаете, мы пройдемся, чтобы встретить Баннистеров, идущих из церкви.

— О, пожалуйста, не делайте этого, — воскликнула девушка. Она стояла у камина со сложенными руками. Но вдруг сорвалась, подбежала к софе и села рядом с Мюриел. Стремительность ее движения, как и касание рукой запястья Мюриел, заставили последнюю отодвинуться.

Теперь уже Хантер был полностью уверен, что их хозяйка потеряла рассудок. Хотя почему она так притягивает его, Родни понять не мог. В стремлении удержать их здесь девушка пришла к новой идее. На столе позади софы в книгодержателе стоял ряд современных романов. Очевидно, размещенные в соответствии со вкусом Молли. Там были и две детективные истории Хантера. Девушка указала пальцем на эти книги.

— Я могу попросить вас подписать их?

Хантер согласился.

— А теперь, — произнесла она с внезапным хладнокровием, — вам, возможно, будет интересно узнать об убийстве? Это было самое запутанное преступление, знаете. Полиция ничего не смогла сделать. И никто никогда не смог разгадать его. — Приковывающий взгляд остановился на Хантере. — Это случилось там, в холле. Бедная женщина была убита, хотя не было никого, кто мог это сделать. Но она была убита.

Хантер начал приподниматься с кресла, но потом снова сел.

— Продолжайте, — попросил он.

— Простите меня, если буду не совсем уверена относительно дат, — начала девушка. — Я думаю, это было в начале 1870-х, и уверена, что в начале февраля, потому что лежал снег. Это была плохая зима. Падеж домашнего скота у фермеров. Я знаю, потому что мои родственники обучались в этом округе в те годы. Потому и мне известно. Дом был больше, чем сейчас. Но не имелось электричества (только керосиновые лампы). И людям приходилось качать воду, когда она была им нужна. Они читали газеты, а потом обсуждали прочитанное.

Тогда люди даже выглядели по-другому. Я не совсем понимаю, почему нынче бороды считаются странностью. Может, из-за мнения, что бородатые мужчины лишены эмоций. Но тогда даже молодые люди носили бородки и выглядели достаточно красивыми. В то время в этом доме жила молодая пара. Поженились они недавно, только перед летом. Их звали Эдвард и Джейн Уэйкросс, и всюду они считались хорошей парой.

Эдвард не носил бороду, но у него были кустистые бакенбарды, которые он завивал. Молодожен был не очень симпатичным мужчиной, обладая, в некоторой степени, сухой и неприятной внешностью. Но он считался религиозным, хорошим человеком, и как говорили, прекрасным бизнесменом. Поставщик сельскохозяйственного инвентаря в Хокхерсте. Эдвард решил, что Джейн Андерс (девичье имя) будет ему хорошей женой, и смею заверить, такой она и была. У девушки имелось несколько почитателей. Хотя мистер Уэйкросс был лучшей парой. Я знаю, людей немного удивило, что она согласилась, так как считалось, что ее любит другой человек, более эффектный, у которого впоследствии появилось много девушек. Это Джереми Уилкс, который происходил из хорошей семьи, но считался порочным. Он был не моложе мистера Уэйкросса, но имел большую черную бороду. Носил белый жилет с золотыми цепочками и ездил в кабриолете. Конечно, ходили разные слухи, но это потому, что Джейн считалась хорошенькой.

Хозяйка дома говорила строгим голосом. Она сидела на софе, откинувшись назад. В руке по-прежнему сжимала маленький белый мешочек. И тут она сделала то, что бросило ее слушателей в дрожь. Вы, возможно, видели такое много раз. Девушка коснулась щеки пальцами. Тронула кожу под глазом. И вдруг оттянула уголок нижнего века. У любого человека в таком случае должна показаться красная плоть внутренней части века в уголке глаза. Но у нее она была не красная, а нездорового бледного цвета.

— В ходе своих деловых отношений, — продолжила она, — мистер Уэйкросс часто ездил в Лондон и обычно вынужден был оставаться там на ночь. Но Джейн Уэйкросс не боялась ночевать в доме одна. У нее были хорошая служанка, пожилая преданная женщина, и хорошая собака. Даже мистер Уэйкросс удивлялся ее смелости.

Девушка улыбнулась.

— В ту ночь февраля, о которой собираюсь вам рассказать, мистер Уэйкросс отсутствовал. К несчастью, отсутствовала также и служанка. Ее вызвали как акушерку, чтобы следить за кузиной. И Джейн Уэйкросс разрешила женщине уйти. Это было известно в деревне, как известны и все иные дела. Некоторое беспокойство чувствовалось в этом изолированном доме, как вы понимаете. Но Джейн не боялась.

Стояла холодная ночь с обильным снегопадом, который прекратился в девять часов вечера. Вы должны знать, без сомнения, что бедная Джейн Уэйкросс была еще жива после прекращения снегопада. Должно быть, время приближалось к половине десятого, когда мистер Муди, очень хороший и рассудительный человек, который жил в Хокхерсте, ехал домой мимо этого места. Как вы уже знаете, дом стоит посреди голой вытянутой лужайки, и он мог ясно видеть его с дороги. Так вот, мистер Муди заметил бедную Джейн в окне одной из верхних спален. С подсвечником в руке, она закрывала ставни. Но он был единственным свидетелем, который видел ее живой.

В тот же самый вечер мистер Уилкс (красивый джентльмен, о котором, я уже рассказывала) находился в деревенской таверне «Пять ясеней» вместе с местным доктором Саттоном и джентльменом по имени Поули, который играл на скачках. В половине двенадцатого они отправились домой в кабриолете мистера Уилкса. Боюсь, они выпили, но все же были достаточно трезвые. Хозяин таверны вспомнил время, потому что стоял в дверях, следя за кабриолетом с прекрасными желтыми колесами, который ехал так быстро, будто не было снега. И на мистере Уилксе была модная круглая шляпа с загнутыми краями.

Светила яркая луна. «И никакой опасности, — говорил впоследствии доктор Саттон. — Тени от деревьев и изгородей были такие четкие, будто силуэты, что вырезаются на бумаге. Такое привлекает внимание». Но перед домом мистера Уилкса они резко остановились. В окне одной из нижних комнат горел свет. Вот в этой самой комнате. Ездоки вскочили от удивления, глядя из-под складного верха кабриолета.

«Не нравится мне это, — сказал мистер Уилкс. — Вы знаете, джентльмены, что мистер Уэйкросс все еще в Лондоне. А леди, о которой идет речь, ложится спать рано. Я собираюсь подняться туда, чтобы узнать, не случилось ли чего».

С этими словами он выпрыгнул из кабриолета. «А если это грабитель, — прибавил он, — тогда, джентльмены…» Я не буду повторять то слово, которое он сказал после «джентльмены». Это не красит его. Уилкс прошел через ворота, поднялся к дому. Оставшиеся в кабриолете могли следить за каждым его шагом, одновременно поглядывая на окна этой комнаты. Некоторое время спустя мистер Уилкс вернулся. Он выглядел успокоенным (это они видели в свете фар), но стирал пот со лба.

«Все хорошо, — сказал он. — Уэйкросс уже дома. Но… джентльмены, может, он выращивает прореживатель в эти дни или нечто подобное, раз лампа горит».

Затем Уилкс рассказал, что видел. Если вы заглянете сюда во фронтальные окна, то увидите главный холл. Он сказал, что видел в холле миссис Уэйкросс, стоящую у лестницы. На ней был синий халат поверх

длинной ночной рубашки. Перед ней, спиной к мистеру Уилксу, стоял высокий худой мужчина, похожий на мистера Уэйкросса, в длинном пальто и высокой, как у него, шляпе. Женщина держала в руке то ли подсвечник, то ли лампу. И Уилкс помнил, что высокая шляпа качалась вперед-назад, в то время как человек что-то говорил, протягивая к ней руки. Из-за этого, сказал Уилкс, он не мог видеть лица женщины.

Конечно, это был не мистер Уэйкросс, но откуда им было знать?

Около семи часов утра вернулась миссис Рэнделл, пожилая служанка (хорошенький мальчик родился в ту ночь). Она прошла в дом через лужайку, покрытую белым снегом, и обнаружила, что все двери заперты. Она стучала, но ответа не было. Будучи женщиной решительной, она в конце концов выбила окно и проникла в дом. Но когда увидела то, что было в переднем холле, выбежала с криком о помощи.

Бедной миссис Уэйкросс уже не нужна была помощь. Знаю, что мне не следовало бы говорить о таких вещах, но я должна. Она лежала на полу в холле. От пояса вниз ее тело было обнажено и обуглено, потому что огонь сжег большую часть ее ночной рубашки и халата. Кафель в холле пропитался кровью и керосином. На некотором расстоянии от нее располагалось голубоватое пятно от керосина, вытекшего из разбитой лампы. Ближе к ней был китайский подсвечник со свечой. Огонь обуглил также часть панели в холле и часть лестницы. К счастью, пол был кафельным и в лампе оставалось немного керосина, иначе дом был бы охвачен огнем.

Но женщина умерла не от огня. В ее горле виднелась глубокая рана, сделанная очень острым лезвием. Но еще некоторое время она была жива, так как ползла на руках, пока горела. Это была мучительная смерть, ужасная смерть для такой мягкой женщины, как она.

Наступила пауза. Выражение лица рассказчицы в коричневой одежде слегка изменилось. Изменилось также выражение ее глаз. Она сидела возле Мюриел и придвинулась поближе.

— Конечно, приехала полиция, — продолжила рассказчица. — Боюсь, я не понимаю всего, но они обнаружили, что дом не был ограблен. Они также заметили странную вещь, о которой я упоминала: рядом с женщиной были и лампа, и свеча в канделябре. Других ламп и свечей внизу не имелось. В задней кухне есть лампы, но они пустые. Их обычно заполняют утром. Полиция решила, что хозяйка не могла идти вниз, держа в руках и лампу, и подсвечник.

Она, должно быть, несла лампу, которая разбилась. Когда убийца схватил ее, женщина выронила лампу, и та разбилась. Керосин вытек, но не загорелся. И чтобы закончить дело, мужчина в высокой шляпе, перерезав хозяйке горло, поднялся наверх. Там он взял свечу, зажег ее и, спустившись вниз, поджег керосин. Я глупа в таких вещах, но даже я догадалась бы, что это должен быть тот, кто знаком с этим домом. К тому же, хозяйка спустилась вниз и впустила человека через переднюю дверь. А это не мог быть грабитель.

Можете быть уверены, что все слухи рассматривались полицией с самого начала. Даже когда полиция выражала сомнение. Потому что понимали: миссис Уэйкросс открыла дверь человеку, который не был ее мужем. Подтверждение этому они нашли в беспорядке, созданном огнем и кровью.

На некотором расстоянии от тела Джейн находилась медицинская бутылка, которую используют аптекари. Кажется, она была разбита на две части. И на одной из них, нетронутой, полицейские обнаружили приклеенные фрагменты письма, которые сгорели не полностью. Это был почерк

мужчины, но не ее мужа. Фрагменты были достаточно различимы, чтобы понять. Они полнились выражением любви. И там было предложение о свидании, которое должно состояться в ту же ночь.

Когда девушка сделала паузу, Родни Хантер задал вопрос:

— Они знали, чей это почерк?

— Джереми Уилкса, — просто ответила собеседница. — Хотя полиция так ничего и не доказала. Только слегка подозревала его. И обстоятельства не подтверждали это. Действительно, нож, запачканный кровью, как ни странно, был найден у мистера Уилкса. Но полицию это ни к чему не привело. И все из-за того, понимаете ли, что ни мистер Уилкс, ни кто-нибудь еще в мире не мог совершить это убийство.

— Не понимаю, — довольно резко произнес Хантер.

— Простите, если я была так глупа, что вы не все поняли в моем рассказе, — произнесла хозяйка извиняющимся тоном. Она, казалось, прислушивалась к гудению камина под холодным потолком. И слушала его с внимательным и безмятежным видом. — Но даже деревенские сплетницы могли бы вам разъяснить. Когда миссис Рэнделл пришла сюда, в дом, тем утром, передняя и задняя двери были закрыты и надежно заперты изнутри на засовы. Все окна закрыты ставнями. Если вы посмотрите на крепление во всем этом доме, то поймете, что имеется в виду.

Но, честно говоря, было еще последнее, самое важное обстоятельство! Я говорю о снеге. Снегопад прекратился в девять вечера, за несколько часов до убийства миссис Уэйкросс. Когда полиция пришла, имелись лишь два ряда следов от ног в нетронутом полуакре снега вокруг дома. Одни принадлежали мистеру Уилксу, который той ночью подходил к дому и смотрел через окно. Другие — миссис Рэнделл. Полиция смогла исследовать и объяснить оба ряда следов. Но больше никаких других следов не имелось. И никто не прятался в доме. Конечно, было бессмысленно подозревать мистера Уилкса. И не только потому, что он рассказал совершенно откровенную историю о человеке в высокой шляпе. Но оба, доктор Саттон и мистер Поули, которые возвращались с ним из «Пяти ясеней», могли поклясться, что он не мог совершить преступление. Вы понимаете, он подходил только к окну этой комнаты. Свидетели могли проследить каждый шаг, сделанный им в лунном свете. И они подтвердили это. Впоследствии он приехал домой с доктором Саттоном и лег спать. Или, я бы сказала, продолжили свою ужасную пьянку до рассвета. Это правда, что у него обнаружили нож со следами крови на нем. Но он объяснил, что использовал его при потрошении кролика. И то же самое с бедной миссис Рэнделл, которая всю ночь была занята своими обязанностями акушерки. Хотя, конечно, было бы еще более абсурдно подозревать служанку. Но больше не было никаких следов, идущих к дому или от него на всем снежном покрове. И все входы-выходы дома были плотно заперты изнутри.

Теперь уже вмешалась Мюриел. И хотя она старалась говорить четко, голос ее дрожал.

— Все, что вы рассказываете нам, это правда? — спросила она.

— Я вас еще немного помучаю, дорогая, — призналась рассказчица. — Но это истинная правда. Все так и случилось. Возможно, я докажу вам через минутку.

— Полагаю, это сделал муж? — настаивала Мюриел поскучневшим тоном.

— Бедный мистер Уэйкросс! — воскликнула девушка с нежностью. — Он, как всегда, провел ночь в отеле, где не продают спиртное, около станции Чаринг-Кросс. И конечно, никуда оттуда не уходил. Когда же он узнал о двуличности его жены…

И снова Хантер подумал, что рассказчица собирается дотронуться до уголка нижнего века.

— …то чуть не сошел с ума, бедняжка. Я думаю, он бросил свои сельскохозяйственные поставки и начал проповедовать. Но не уверена. Знаю, что он вскоре уехал из округа. Но перед тем как уехать, настоял на том, чтобы сожгли матрас с его кровати. Ужасный был скандал.

— Но в таком случае, — вступил в разговор Хантер, — кто убил ее? И если не было никаких следов и все двери закрыты, то как убийца смог войти и выйти? И наконец, если все это случилось в феврале, что заставляет людей выходить из дома в канун Рождества?

— О, это настоящая история. Вот ее я хотела вам рассказать.

Рассказчица стала более мягкой.

— Должно быть, очень интересно следить, как изменяются люди по прошествии лет, когда они становятся старше. Если, конечно, ничего не случается. Некоторое время спустя полиция оставила это дело. Ради приличия разрешено было его не закрывать. В то время разговоры шли о событиях более важных: строительство насоса на торговой площади, новости о принце Уэльском, который собирался в Индию в семьдесят пятом. А вскоре в «Клерлонс» переехала жить новая семья. Начали поднимать своих детей. Деревья и летние дожди остались прежними, знаете. Должно быть, семь или восемь лет ничего не случалось. Потому что Джейн Уэйкросс была очень терпелива.

За это время несколько человек умерли. Миссис Рэнделл — от приступа ангины. Не стало и доктора Саттона. Но это было большое милосердие, потому что он чувствовал свой конец, между прочим, когда собирался делать ампутацию после выпитого очень большого количества спиртного. Мистер Поули благоденствовал. Но больше всего преуспел мистер Уилкс. Ближе к среднему возрасту он превратился в мужчину с прекрасной фигурой. Так мне рассказывали. После женитьбы оставил все свои разболтанные привычки. Да, он женился на наследнице Тинсли, мисс Линшоу, за которой ухаживал раньше. И я слышала, что бедная Джейн Уэйкросс, даже после замужества за мистером Уэйнроссом, кусала по ночам подушку, потому что ужасно ревновала его к мисс Линшоу.

Мистер Уилкс всегда был высоким, а теперь стал прекрасно сложенным полным мужчиной. Постоянно носил сюртуки. Хотя он потерял много волос, но борода его оставалась густой и кудрявой. У него были блестящие черные глаза, красные щеки и грубоватый голос. Все дети бежали к нему. Говорят, что ранее он разбил очень много женских сердец. Он непременно участвовал в любом благотворительном предприятии и всегда что-нибудь делал: отправлял материю на платье или аплодировал скрипачу. Даже не знаю, что хозяйки бы делали без него.

Тогда, в канун Рождества (я не уверена в датах, помните?), Фентоны устраивали рождественскую вечеринку. Фентоны были очень хорошей семьей, которая впоследствии поселилась в этом доме, знаете. Танцев не было, их заменяли старинными играми. Естественно, мистер Уилкс был первым из приглашенных и первым, кто принимал приглашение. Все, что было, ушло, сгладилось со временем, как разглаживаются складки на прошлогоднем покрывале. Что прошло, то прошло, как говорят. Они украшали дом остролистом и омелой. Гости начали приезжать рано, еще в два часа дня.

Все это я слышала от тети мистера Фентона (одной из Уорикширских Эбботов), которая действительно находилась там в то время. Вопреки такому праздничному настроению, приготовления в тот день шли вовсе не так хорошо. Хотя и шли как обычно. Миссис Эббот жаловалась, что в

доме присутствует землистый запах. Это был пасмурный и промозглый день. И тяга в каминах казалась не такой, как всегда. Более того, миссис Фентон порезала палец, когда разделывала холодную птицу. Из-за того, сказала она, что один из детей прятался здесь, за оконной шторой, и оттуда писал. Она была очень рассержена. Но мистер Фентон, который ходил по дому в шлепанцах перед приездом гостей, назвал ее «мать» и сказал, что это Рождество.

И конечно же, об этом забыли, когда началось веселье с играми. Такого визга вы никогда не слышали! Я вам говорю. Первым из всех в «Прыжках за яблоками» и «Орехах в мае» был мистер Уилкс. Он стоял, по-отцовски серьезный, посреди всех, со своей уродливой женой рядом и поглаживал бороду. Под омелой он приветствовал каждую леди поцелуем в щечку. Впрочем, было несколько ответных приветствий и ему. И хотя он оставался несколько дольше, чем необходимо, за оконными шторами с молоденькой мисс Твайджелоу, его жена только улыбалась. Случился еще один неприятный инцидент. Ближе к сумеркам начал подниматься сильный ветер, и камины загудели сильнее, чем обычно. Уже ближе к ночи мистер Фентон заявил, что пора принести «Чашу львиного зева» и посмотреть на его пламя. Вы знаете эту игру? Это большая чаша легкого спиртного, в которую вы должны быстро опустить руку и вытащить со дна изюм, не обжигая пальцев. В полумраке мистер Фентон держал поднос с чашей, которая сверкала голубоватым пламенем. Как на рождественском пудинге. Мисс Эббот говорила, что в какой-то момент он вздрогнул и обернулся. Она сказала, что в ту секунду ей показалось, будто из-за его плеча выглянуло лицо. И это было неприятное лицо.

Позже, вечером, когда детей уложили спать и оберточная бумага валялась по всему дому, взрослые начали свои игры всерьез. Кто-то предложил «жмурки». Главным образом использовались холл и эта комната, так как здесь больше пространства, чем в столовой. Различным членам вечеринки завязывали глаза мужскими носовыми платками, но было ужасно много мошенничества. Это обстоятельство очень рассердило мистера Фентона, потому что леди почти всегда хватали мистера Уилкса, когда получалось. Мистер Уилкс смеялся и сильно потел. Его шейный платок с серебряной булавкой почти развязался.

Чтобы никто не смог подсматривать, мистер Фентон принес небольшой белый льняной мешочек. Такой вот. Это была наволочка с детской кроватки. И сказал, что если надеть это на голову, то уже никто не сможет подсматривать.

Хочу объяснить, что у них было некоторое беспокойство по поводу ламп в комнате. Мистер Фентон сказал: «Черт возьми, мать, что-то не так с лампой? Подкрути фитиль!» Это была очень хорошая лампа. От «Спенса и Мистедов». Она не должна гореть так тускло. В неразберихе, пока миссис Фентон пыталась сделать свет получше, мистер Фентон, глядя на нее через плечо, довольно рассеянно поспешил надеть мешочек на голову последней схваченной персоне. Впоследствии он сказал, что не заметил, кто это был. И никто не заметил. Свет был тусклый, а людей — большое количество. Кажется, это была девушка в широкой, голубоватого цвета одежде, которая стояла ближе к двери.

Возможно, вам известно, как двигаются люди с завязанными глазами во время игры? Вначале они обычно стоят неподвижно, чтобы почувствовать и понять, в каком направлении пойти. Иногда они делают внезапный прыжок или начинают скользить вперед. Все заметили, что у персоны с мешочком на голове имелось явно выраженное намерение. Она шла медленно и, казалось, немного приседала.

Девушка начала двигаться к мистеру Уилксу очень короткими, но резкими толчками. Белый мешочек подпрыгивал на ее лице. В это время мистер Уилкс сидел на краю стола со стаканом сидра в руке. Его бородатое лицо порозовело. Я хочу, чтобы вы представили эту комнату такой, какой она была в то время. Тусклый свет, кисточки на мебели, обычные в те годы. Леди с высокими прическами. И рождественская суматоха. Персона с мешочком на голове, достигнув конца стола, начала медленно продвигаться к мистеру Уилксу. А затем она прыгнула.

Мистер Уилкс вскочил и отпрыгнул (да, отпрыгнул), смеясь, с ее пути. Девушка в голубом спокойно выждала, потом продолжила движение к нему, в том же самом медленном темпе. И снова настигла его в том месте, где стояли растения в горшках. Все это время она не промолвила ни слова, понимаете, хотя ей аплодировали, кричали и поддерживали советами. Она держала голову вниз. Мисс Эббот говорит, что начала ощущать слабый неприятный запах, то ли горелой ткани, то ли еще чего-то, от которого ей стало нехорошо. Тем временем персона с мешочком на голове шла через комнату точно к нему, будто видела свою жертву. Мистер Уилкс больше не смеялся.

Запертый в углу, у книжного шкафа, он вдруг громко выкрикнул: «Мне надоела эта глупая, дурацкая игра. Прекратите, слышите!» Никто никогда не слышал от него таких слов. К тому же, сказанных громко и неистово. Поэтому все рассмеялись, посчитав, что в этом виноват кентский сидр. «Прекратите!» — снова вскричал мистер Уилкс и начал отбиваться от персоны с мешочком руками. Все это время, говорит мисс Эббот, она следила за лицом мужчины и видела, как оно постепенно меняется. Уилкс снова увернулся, очень забавно и проворно для такого большого мужчины. На лице его появилась испарина. Он снова пятился назад через комнату, девушка в голубом следовала за ним. И тут мистер Уилкс сделал то, что всех несколько шокировало.

Он завопил: «Ради бога, Фентон, убери ее от меня!»

И тут персона с мешочком на голове прыгнула в последний раз.

Они находились недалеко от этого выступа с окнами, который был задернут, как и сейчас. Мисс Твайджелоу, которая стояла поближе, говорит, что мистер Уилкс не мог видеть лица нападавшей из-за мешочка на ее голове. Только одну вещь она заметила. В нижней части мешка, где должно быть лицо, появилось некое обесцвеченное пятно, которого раньше не имелось. Будто что-то просачивается сквозь ткань. Мистер Уилкс отступил за шторы, а за ним бросилась преследовательница. Он снова завопил. За шторами послышался шум ударов, затем падение тел, и наступила тишина.

«Ну и ну, — сказал мистер Фентон. — Как же крепок наш кентский сидр». Он не знал, что и думать. Попытался рассмеяться, но смех вышел беззвучный. Тогда хозяин дома прошел к шторам, грубовато призывая обоих выйти оттуда и не валять дурака. Но заглянув за шторы, он резко обернулся и попросил приходского священника вывести из комнаты женщин. Так и было сделано. Но мисс Эббот часто говорила, что ей удалось бросить короткий взгляд вглубь. Хотя окна были закрыты изнутри, мистер Уилкс находился там один. Он лежал у окна. Она видела бороду, торчащую вверх, и кровь. Он был мертв, конечно. Я искренне считаю, что мистер Уилкс заслужил смерть, потому что именно он убил Джейн Эйкросс!

В течение нескольких секунд слушатели не двигались.

Рассказчица также успешно, как по волшебству, создала обстановку семидесятых годов прошлого столетия в этой комнате, с ее спертостью, которая, казалось, проникла оттуда в нынешнее время.

— Но послушайте! — запротестовал Хантер, когда ему удалось подавить желание поскорее выскочить из комнаты. — Вы говорите, что он убил ее?! После всего! И еще вы рассказывали нам, что у него было абсолютное алиби. Вы сказали, что Уилкс подходил только к окнам дома…

— И тем не менее, он это сделал, дорогой мой, — подтвердила собеседница. — В то время, он ухаживал за наследницей Линшоу, — возобновила свой рассказ девушка. — А мисс Линшоу была очень порядочной молодой леди, которая пришла бы в ужас, услышав о Джейн Уэйкросс. Естественно, брак бы не состоялся. Но бедная Джейн Уэйкросс намеревалась сделать так, чтобы она услышала. Джейн очень любила мистера Уилкса и собиралась рассказать обо всем публично. Мистер Уилкс пытался убедить ее не делать этого.

— Но…

— О, вы так и не поняли, что случилось? — воскликнула собеседница раздраженно. — Все до ужасного просто. Я не умна в таких вещах, но должна была понять сразу, даже если бы не знала ранее. Я рассказала вам все так, что вы и сами обязаны догадаться.

Когда мистер Уилкс, доктор Саттон и мистер Поули проезжали в ту ночь мимо этого дома, они увидели яркий свет, горевший в окне этой комнаты. Я говорила вам это. Но ни полиция, да и никто другой, не поинтересовались, какова причина этого освещения. Джейн Уэйкросс не входила в эту комнату, как вы знаете. Она вышла в холл, держа и лампу, и свечу. Но лампа, с ее слабым голубоватым пламенем, находясь в холле, не могла быть причиной такого яркого света, чтобы создать буквально иллюминацию в этой комнате. Не могла этого сделать и маленькая свеча. Это абсурдно. И я рассказывала вам, что нет в доме других ламп, за исключением нескольких пустых, которые находились в задней кухне и ожидали, когда их наполнят. Была только одна вещь, которую могли увидеть собутыльники. Они увидели бы огромное пламя горящего керосина вокруг тела Джейн Уэйкросс.

Разве я не говорила вам, что это было ужасно просто? Бедная Джейн находилась наверху, ожидая своего любимого. Из окна она увидела кабриолет мистера Уилкса, с прекрасными желтыми колесами, ехавший в лунном свете по дороге. Она не знала, что в нем были и другие люди. Женщина думала, что он один. И пошла вниз…

Ужасно, что полиция не придала большого значения разбитой медицинской бутылке, лежащей в холле. Большой бутылке, разбитой на две части. Как хозяйка, Джейн должна была использовать ее для чего-то. Она так и сделала. Вы знали, что в лампе керосина оставалось немного, хотя пламя вокруг ее тела было большое. Когда Бедная Джейн спускалась вниз, она держала незажженную лампу в одной руке, а в другой — горящую свечу и старую медицинскую бутылку, содержавшую керосин. Она намеревалась внизу заполнить лампу керосином и зажечь ее от свечи.

Боюсь, Джейн была слишком нетерпелива, поспешно сбегая по лестнице. А где-то на полпути она споткнулась из-за своего длинного халата и полетела со ступенек лицом вниз. Медицинская бутылка разбилась, и весь керосин вылился на кафель вокруг ее тела. Конечно, когда она упала, от зажженной свечи керосин воспламенился. Но это было еще не все. При падении одна половинка медицинской бутылки, длинная, острая и гладкая, как лезвие ножа, воткнулась ей в горло. Она не была полностью оглушена падением. И когда почувствовала, что горит и что кровь ее закипает, попыталась спастись. Она ползла на руках вперед, в холл, прочь от крови, керосина и огня.

Вот что действительно увидел мистер Уилкс, когда смотрел в окно.

Он не смог избавиться от своих пьяных друзей, которые прицепились к нему, чтобы продолжить пьянку. Он был вынужден везти их домой. Его

мучил вопрос: если он не сможет войти сейчас в «Клерлонс», то как дать знать об этом Джейн? И свет в окне как раз и явился для него поводом послать такое известие.

Он хорошо видел в холле Джейн, которая приподнялась на руках и умоляюще смотрела на него, в то время как голубое пламя становилось желтым. Вы могли бы подумать, что он должен был почувствовать жалость, ведь девушка очень сильно любила его. Ее рана не была в действительности глубокой. Если бы он вломился в дом в тот момент, то мог бы спасти ей жизнь. Но он предпочел, чтобы она умерла. Тогда не будет публичного скандала, исчезнет помеха в его шансах на брак с богатой мисс Линшоу. Вот почему, вернувшись к друзьям, он солгал о мужчине в высокой шляпе. Вот почему, «по божьей правде», мистер Уилкс сам убил ее. И неудивительно, что по его возвращении собутыльники заметили, как он вытирает пот со лба. Теперь вы знаете, как Джейн Уэйкросс вернулась за ним, лично.

Наступило еще одно глубокое молчание.

Рассказчица встала. При этом сделала своеобразное «подпрыгивающее» движение, будто намекая на нечто смутно знакомое. Так, будто собиралась бежать. Она стояла, немного согнувшись, в чопорной коричневой одежде, странно суженной в талии, по старомодному фасону. И, проследив за игрой света на лице девушки, Родни Хантер вдруг сделал вывод, что ее привлекательность — это только оболочка.

— То же самое случилось и впоследствии, в канун Рождества, — объяснила рассказчица. — Гости снова играли в «жмурки». Вот почему люди, которые здесь живут в наше время, не желают рисковать. Это случилось в четверть восьмого.

Хантер уставился на шторы.

— Было четверть восьмого, когда мы прибыли сюда! — воскликнул он. — И сейчас должно быть…

— О да, — подтвердила девушка. Ее глаза увлажнились. — Я сказала вам, чтобы вы ничего не боялись. И вот теперь все закончилось. Но не за это я благодарю вас. Я умоляла вас остаться, и вы остались. Вы слушали меня так, как никто еще никогда не делал. А сейчас скажу вам последнее. Наконец-то, я думаю, мы оба сможем уснуть спокойно.

Складка на темных шторах, закрывающих оконный выступ, зашевелилась и сместилась. Будто затуманенная линза вошла в фокус, и теперь эти шторы не пугали. Вы могли бы здесь поставить рождественскую елку. Родни Хантер, под пристальным взглядом Мюриел, прошел к шторам и раздвинул их. Он увидел обычный оконный выступ, прикрытый ситцем. И луну за окном. Когда он повернулся, девушки в старомодной одежде уже не было. Но входные двери вновь оказались открытыми, потому что он почувствовал, как в дом задувает ветер.

Обняв рукой побледневшую Мюриел, Хантер направился с ней в холл. Они старались не обращать внимания на опаленные и капельные пятна внизу панельной обшивки, хотя сейчас уже эти шрамы от огня казались почти незаметными. Вместо этого они встали в дверном проеме и смотрели на большое пятно света, которое протянулось из дома по морозному Уилду. Это был гостеприимный свет. На вершине холма появились темные точки, которые тащились по снегу. Это возвращалась компания Джека Баннистера. Они услышали звуки голосов вдали. Один из них затянул веселую, беззаботную рождественскую песенку во славу и радость. И детский смех вошел в этот дом.

Перевод с английского Валерия ЧУДОВА.

Всемогущее время излечит…

Из испаноязычной поэзии

Антонио МАЧАДО

В поезде

Я налегке пускаюсь в путь,
Мне лишь одно местечко надо
В вагоне третьего разряда,
И я устроюсь как-нибудь.

Я налегке пускаюсь в путь,
Я взглядом буду провожать
Деревьев череду — и знать,
Что ночью глаз мне не сомкнуть.

Я побываю в Понферраде,
Увижу Лондон и Мадрид,
Как это сладостно звучит!
Ах, до чего маршрут отраден!

Мой поезд мчит, набрав разгон,
Все больше миль одолевая,
А я мечтаю, забывая,
Насколько тесен мой вагон.

Я вижу девушку напротив
В льняном монашеском чепце;
В ее хорошеньком лице
Есть святость и презренье к плоти,

Благословенность и покой,
Отказ от счастья материнства,
Стремленье с Господом единства…
И щек румянец озорной.

Скромны, сестра, твои одежды;
Отдав свою любовь Христу,
Ты излучаешь красоту,
Не подающую надежды.

О, если б каждая девица
Вверяла *церкви* плоть и кровь!
Так лучше! А моя любовь
С другим желает обручиться…

Я налегке пускаюсь в путь,
Под стук колес и жар печи,
Мой поезд, словно искра, мчит
Туда, где можно отдохнуть.

Весна дарила нежность поцелуя

Весна дарила нежность поцелуя
Деревьям, утопающим в цвету,
И, молодою зеленью балуясь,
Мир одевала в свежую листву.

Над ранним полем тучи проплывали,
И в каплях свежего апрельского дождя
Я видел своей молодости дали,
Я угадал в них самого себя.

Устроившись под тенью крон миндальных,
Раскинувших соцветия свои,
Я вспомнил вдруг, как проклял безоглядно
Мои златые годы без любви.

Прошло полжизни; время не вернулось.
Все чаще порываюсь я спросить:
Моя ушедшая непрожитая юность,
Кто будет тебя в памяти хранить?..

Федерико Гарсиа ЛОРКА

Гитара

Начинается плач гитары,
Тишины ночной порвана нить,
Безутешные слезы гитары

Невозможно остановить.
Ее плач на рассвете
Бежит как вода,
Ее плач, словно ветер,
Летит в никуда.
О чем плачет гитара?
О снегах и метелях,
О горячих песках
И о белых камелиях…
Плачет, словно стрела,
У которой нет цели,
Плачет, словно скала
У земли омертвелой.
Умирающей птицей
Плачет сердце гитары,
Оно ранено спицей,
Смертоносным ударом.

Сомнамбулический романс

Я люблю твой зеленый убор,
Зелень ветра и зелень ветвей,
Стук копыт у подножия гор
И корабль на волнах морей.

Она спит, опоясана тенью,
Вечным сном по ту сторону глади:
Зелень волоса, кожи зелень…
И серебряный холод во взгляде.

Я люблю твой зеленый убор;
Под лучами кочевника-месяца
Обращен на нее каждый взор,
Но она ни с одним не встретится.

Я люблю твой зеленый убор.
Звезды инеем-недотрогой
Тают, прячут вечерний узор,
Уступая заре дорогу.

На заброшенных горных стежках
Ветер треплет смоковницы ветви,
А гора сама, словно кошка,
Ощетинила иглы-деревья.

Но откуда к ней едут? И кто же?..
Она дремлет на вóлнах моря:
Зелень волоса, зелень кожи…
И прибрежных потоков горечь.

— Мчался я, истекая кровью,
К твоей дочери, добрый хозяин;
Раздираемый жуткой болью,
Я спешил к ней из Кабры дальней.
Пропусти меня в дом, прошу я!
За твой кров, за ее одеяло
Я отдам скакуна со сбруей,
Обменяю кинжал на зерцало!

— Коли б мог я, скиталец младой,
Все сменял бы: и кров, и зерцало,
Только я в этом доме чужой;
Уж давно быть моим перестал он.

— Я хочу умереть достойно,
На постели из ковкой стали;
Иль не видишь ты раны огромной,
Что мой враг на груди оставил?

— На рубаху твою из-под кожи
Просочилось три сотни роз алых;
Только я в этом доме ничтожен,
Уж давно быть моим перестал он.

— Разреши мне хотя бы подняться,
За перила держась, к порогу!
Умоляю, дозволь мне остаться,
Отдохнуть после долгой дороги!

— Как-то раз поднялись сюда двое,
На ступенях оставив следы:
За одним пролегла река крови,
За другим — соль девичьей слезы.
Жестяная дрожала крыша,
Дребезжало, как бубен, стекло,
Целый мир эти звуки слышал,
Пока солнце над ним не взошло.

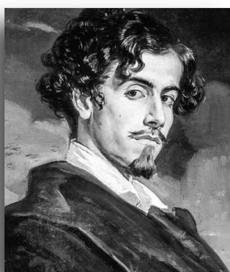
Я люблю твой убор зеленый,
Зелень ветви и зелень ветра,
Что оставил свой привкус соленый
На губах навсегда, наверно.

— Где же нынче дочь твоя? Где же
Та, что здесь всегда верно ждала?
Где лица ее смуглого свежесть,
Кудри воронова крыла?..

Тело юной цыганки качалось
На морской беспокойной глади:

Кожа зеленью отливала,
Серебро угасало во взгляде.
Над водою ее держало
Ледяной луны отражение;
Дверь от стука жандармов дрожала,
Одурманенных опьянением…

Я люблю твой зеленый убор,
Зелень ветра и зелень ветвей,
Стук копыт у подножия гор
И корабль на волнах морей.



Густаво Адольфо БЕККЕР

Возвратятся однажды ласточки

Возвратятся однажды ласточки,
Возвещая собой весну;
Сизокрылые, дивные ласточки
Подлетят к твоему окну.
И заденут его ненароком
Истомленным в пути крылом,
И совьют у тебя под боком
Свой дом.
Но не эти птицы когда-то
Щебетали о твоей красоте
И о счастье моем безвозвратном…
Не те.

Еще краше, чем прежде, жимолость,
Одолев зимний сон, оживет;
Непокорная, дикая жимолость
В вешних сумерках зацветет.
И, ночным серебром отливая,
Усыпать лепестки будут ро́сы,
Словно день уходящий роняет
Слезы.

Но не эти цветы нас помнят,
Окрыленных в своей простоте
И любви — настоящей, огромной…
Не те.

Вновь услышишь ты страстные речи
И признания под луной;
Всемогущее время излечит
Твое сердце, хворавшее мной.
Преклонив пред тобою колени,
Я навеки останусь стоять
И, подавленный болью, в смятении
Молчать.
Нет, ничья любовь не сравнится
С той, что слепо дарил тебя!
Разуверься, довольно таиться:
Ничья!

Одно и то же

Свинцовое небо, унылость утрá —
Одно и то же!
О, дни мои: завтра, сегодня, вчера, —
Как вы похожи!

Бездумное сердце вслепую стучит,
Подобно станку,
А разум холодный не мыслит: молчит,
Заснувши в углу.

Душа утомилась бесцельно блуждать
И рая искать,
Но верить не может она перестать,
О счастье мечтать.

Голос знакомую песню заводит,
Старый мотив;
Капля за каплею, время уходит,
Наземь летит.

Так и проносятся дни чередою,
Все как всегда;
Я не знаком ни с блаженством, ни с болью —
В этом беда.

Воздух в груди отравляет вкус горький
Муки былой,
И утешает меня одно только:
«Значит, живой».

Мигель де УНАМУНО

Читая

Читая, читая, читая,
Я грезы других проживаю;
Читая, читая, читая,
Былое душа забывает.

Шедевры на бумаге остаются,
Пера соцветия,
Творения людей, как волны, бьются
И густо пенятся.

Читая, читая, читая,
Я сам чтивом стану, возможно?
Своим же творцом и созданием,
Своим настоящим и прошлым?..

Тело поет; кровь воет, бурлит,
Моря журчит пучина,
Земля шелестит, а небо молчит,
И внемлет им всем мужчина.

Пабло НЕРУДА

Печальнейшие строки

Я напишу печальнейшие строки
Сегодня ночью; чувствую: пора.
К примеру: «Синим светом звезд далеких
Озарены и небо, и ветра...»

Я напишу печальнейшие строки
О том, как я любил ее тогда

И как она под небом чернооким
Мне отвечала тем же иногда;
О том, как по ночам, подобным этой,
Я нежно целовал ее лицо
И обнимал, до самого рассвета
Не разжимая теплых рук кольцо.

Как можно было взять и не влюбиться
В открытый взгляд ее бездонных глаз?..
...Теперь пора печали проявиться
В моих стихах, где нет отныне «нас»,
А только «я». Наедине с собою
Я слышу бесконечной ночи вой
И думаю о той, кого любовью
Считать привык; но нет ее со мной.

Не уберег, не удержал, так что же?!
Чужое сердце сердцем не сковать!
Что мне осталось? В свете звезд ничтожных
Печальнейшие строки создавать…

Мой взгляд блуждает в поисках напрасных,
Как будто силясь стать чуть ближе к ней,
Но нет ее со мной; мне неподвластно
Ни «нас» вернуть, ни тех далеких дней.

Я больше не люблю ее, поверьте,
Однако *как же* я ее любил!
Я голос свой оборотил бы в ветер,
Лишь бы мой крик услышан ею был!..

Иначе. Скоро будет все иначе,
Как будто нет и не было любви
В ее глазах, в ее душе — тем паче.
Она вернет объятия мои
И поцелуи, крепкие до сме́рти,
Которые я ей не подарю…
Я больше не люблю ее, поверьте!
...А может быть, по-прежнему люблю.

Мне вспоминаться будет поневоле
Взгляд ее глаз, бездонных и больших,
Хотя не причинит мне больше боли
Та, для кого написан этот стих.

Перевод с испанского Владиславы КРЕЛЬ.

Ирина ШЕВЛЯКОВА-БОРЗЕНКО,
кандидат филологических наук, доцент;
эксперт Межкультурного исследовательского центра
Университета Хучжоу (КНР)

Литература современной Украины как культурное явление и художественный феномен

1. Социокультурный контекст становления и развития современной украинской литературы

В литературоведении постсоветских стран понятие «современная литература» имеет разное наполнение: в ряде национальных традиций отсчет современной художественной словесности ведут со второй половины 1980-х годов, в некоторых — с начала 1990-х; отдельные исследователи предлагают говорить о современном литературном процессе только по отношению к событиям и явлениям, происходящим в XXI веке, с начала 2000-х годов.

Дискуссионным этот вопрос остается и в украинском литературоведческом дискурсе. Хотя существует мнение, что современная украинская литература начинается в 1970-х годах после так называемого поколения шестидесятников [1, с. 6], как правило, большинство специалистов сходятся на том, что приципиальные изменения в украинской литературе стали происходить еще во времена так называемой «перестройки», в середине 1980-х годов, причем заметно ускорились после 1986 года в связи с катастрофой на Чернобыльской атомной электростанции. В последнее время доминирует точка зрения, согласно которой под современной украинской литературой понимают совокупность художественных произведений, которые создаются украинскими писателями с момента выхода Украины из состава СССР и обретения ею статуса независимого государства, то есть с 1991 года до настоящего времени. При этом известный украинский литературовед и культуролог Тамара Гундорова литературный процесс 1990-х годов рассматривает как двухфазный [2]. В первой половине 1990-х годов, по ее мнению, литературная деятельность была способом выражения обретенной свободы и оказалась нацеленной, прежде всего, на создание-возрождение национальной литературы. Со второй половины 1990-х годов стали развиваться многочисленные литературные направления, чрезвычайно разные в смысле концептуальных, эстетических и художественно-стилевых установок.

Вместе с тем, справедливым кажется замечание другого известного украинского филолога Ярослава Полищука, что становление новой фазы литературной жизни не буквально совпадет с 1991 годом, поскольку в художественной литературе новые тенденции наблюдались уже в конце 1980-х годов, «причем они явственно свидетельствовали о кризисе и переломе в развитии словесности. Очевидно, что рождение нового качества не бывает молниеносным, поэтому процесс создания литературы Независимости растянулся на годы и даже десятилетия» [3].

Таким образом, наше внимание будет сосредоточено на литературном процессе в Украине 1990-х годов — начала XXI столетия, который мы, вслед за боль-

шинством украинских исследователей, рассматриваем как пространство создания современной украинской художественной словесности. Мы, безусловно, понимаем, что любые попытки «уместить» живой литературный процесс в рамки одного журнального обзора изначально обречены на некую реферативность, поверхностность, тем более если речь идет о внешнем (по отношению к тому, кто эту попытку обозреть необозримое предпринимает) литературном контексте. Однако специфика развития нынешнего литературно-критического и литературоведческого дискурсов такова, что дефицит статей панорамного, обзорно-аналитического плана обусловливает, в числе прочего, ощущение некой хаотичности и случайности, как бы «произвольности» происходящего в литературном пространстве. Между тем при условии адекватной (прежде всего, аналитико-рефлексивной) сфокусированности зрения в «хаосмосе» текущей литературной жизни даже при относительно глубоком погружении в происходящее обнаруживаются весьма интересные причинно-следственные связи и закономерности.

Особенности современной украинской литературы как художественно-эстетического феномена обусловлены целым рядом факторов, как внешних по отношению к собственно искусству слова, так и внутрилитературных.

Одним из наиболее важных факторов внешнего плана стало уже упомянутое обретение Украиной в 1991 году статуса самостоятельного государства. С этим было связано начало бурных процессов политического, экономического, культурного строительства новой — постсоветской — государственности, характер которой в современной Украине определяется через ориентацию на демократические европейские ценности. Все это сопровождалось активными поисками национальной идентичности и стремлением утвердить ее в новой исторической реальности как актуальный духовно-ментальный феномен.

Украинские исследователи, указывая на доминирование в национальной ментальности на мировоззренческо-философском уровне экзистенциональных мотивов, в качестве основных компонентов аутентичной ментальной парадигмы, духовно-культурной традиции называют любовь, достоинство, самопожертвование, свободу воли, личностную самодостаточность, а также «деликатность и утонченность взаимоотношений, чувство собственного достоинства, религиозность и склонность к мистицизму», при этом национальной психологии украинцев издавна «присуще поклонение природе, которую считали проявлением Высшей силы и воспринимали как закон, установленный Божественной силой» [4, с. 178].

Отправной точкой для своего рода воссоздания целостности национальной идентичности в 1990-х годах было отрицание любых проявлений идеологии имперского типа (к каковым причислялась и советская идеология) как идеологии насилия над свободой личности, лишающей права выбора не только отдельного человека, но и целые народы.

Не менее важным фактором, в значительной мере определившим специфику развития украинского искусства слова на рубеже XX—XXI веков, стала чернобыльская трагедия. Взрыв на Чернобыльской АЭС оказался не только одной из крупнейших в истории восточноевропейского региона техногенных катастроф, осмыслить ущерб и последствия которой в полной мере вряд ли возможно и сегодня. По сути, взрыв не меньшей силы произошел и в сознании людей, навсегда изменив экзистенциальный ландшафт как общественного, так и индивидуального бытия. В восточноевропейском гуманитарном дискурсе, особенно в украинском и белорусском его сегментах, широкое распространение получили понятия «постчернобыльская эпоха» и «постчернобыльское бытие», которые вобрали в себя целый комплекс онтологических, экзистенциальных, аксиологических представлений

и установок. Ситуация «постчернобыльского бытия» способствовала появлению новой генерации творцов, которая жаждала, по выражению известного украинского лингвиста и литературоведа, американского слависта Юрия Шевелева «разрушить Карфаген украинской провинциальности», что для украинских писателей — творцов новой национальной литературы в начале 1990-х годов предполагало, прежде всего, выход искусства слова за рамки идеологической советской догматики и риторики, преодоление комплекса неполноценности, отказ от своего рода подчинительной роли в истории, которая навязывалась в разные периоды исторического развития.

Радикальные, по сути, тектонические изменения картины мира обусловили коренные изменения в самом характере развития литературного процесса. Он как бы естественным образом оказался ориентированным на активный поиск таких способов постижения и изображения действительности, которые позволили бы создать адекватную новой ситуации художественную модель бытия украинской нации в «постчернобыльскую эпоху». Если в целом говорить об изменениях в тематическом диапазоне, то наиболее пристальное внимание на начальном этапе становления литературы независимой Украины уделялось проблемам национальной идентичности и свободы индивидуальности. Специфика историко-культурного развития обусловливала обращение писателей, вовлеченных в процесс художественного моделирования национальной идентичности, к осмыслению роли украинского языка на разных этапах становления украинцев как нации, а также к феномену украинского села как источнику неповторимости, украинской духовности.

Важными шагами на пути к формированию целостного представления об украинской национальной литературной традиции как об одном из истоков мироощущения и миропонимая жителей современной Украины в 1990-х годах стало возвращение запрещенных в советское время произведений писателей предыдущих эпох, а также устранение искусственно созданного в предшествующие десятилетия разрыва между развитием литературы метрополии и диаспоры. Современному украинскому читателю был возвращен, а по сути, впервые открыт целый ряд произведений известных украинских писателей разных периодов: Пантелеймона Кулиша, Николая Аркаса, Михаила Грушевского, Дмитрия Дорошенко, Дмитрия Яворницкого, Ивана Франко, Леси Украинки, Николая Хвылевого, Владимира Винниченко, Валерьяна Пидмогильного, Григория Косынки, Михаила Драй-Хмары и др. Также в Украине стали доступны призведения писателей, по разным причинам оказавшихся в эмиграции. Это способствовало воссозданию целостного понимания истории Украины (в том числе литературной) как процесса сложного, неоднозначного, драматического, иногда трагичного, но вместе с тем и героико-оптимистичного, нацеленного на созидание и утверждение национальных духовных ценностей.

2. Литературный процесс конца XX — первых десятилетий XXI века: основные компоненты и тенденции развития

Украинский литературный процесс представляет собой полифоническое явление; в наиболее общем виде его можно представить в качестве динамичной целостности, которая включает субъектный, объектный и событийный компоненты. При этом следует обратить внимание, что одной из важных особенностей литературного процесса в Украине на современном этапе является рост разнообразия на самых разных уровнях

художественной литературы как сложной системы, способной к самоорганизации.

Субъектный компонент объединяет самых разных участников литературного процесса, круг которых с начала 2000-х годов существенно расширяется. Наряду с писателями (поэтами, прозаиками, драматургами), читателями, представителями экспертного сообщества (профессиональными критиками и литературоведами), издателями в процесс созидания новой литературной реальности вовлекаются так называемые литературные журналисты, блогеры, а также посетители сети Интернет, выступающие не просто в роли читателей, но довольно активно проявляющие себя как носители критической рефлексии, нарастаюшая масса которой постепенно оформляется в особое явление новейшего литературного дискурса — в так называемую пользовательскую критику [5]. Также следует обратить внимание на то, что одной из характерных для этого периода тенденций стало появление достаточно большого количества новых литературных групп, объединений, сообществ, некоторые из них довольно быстро стали своеобразными «эпицентрами» новых художественно-эстетических платформ и даже дискурсов.

В украинском литературоведении поколения писателей принято разделять и называть по десятилетиям вхождения в литературу: «шестидесятники», «постшестидесятники» («вытесненное поколение»), «семидесятники», «восьмидесятники», «девятидесятники», «двухтысячники», «дветысячедесятники», «внедесятники», литературные «отшельники» («одиночки»).

Феномен *«шестидесятничества»* оказал огромное влияние на формирование интеллектуального и культурного ландшафта всего постсоветского пространства. Что касается Украины, то с ним часто связывают начало отсчета ее современной интеллектуальной истории, поскольку это явление «охватывает все сферы интеллектуального и художественного самовыражения украинской элиты» [6, с. 76], включая философию, пластическое и визуальное исскусство, музыку, кино, литературу. В историко-литературном контексте «шестидесятниками» на постсоветском пространстве называют писательское поколение, вошедшее в литературу в 1960-е годы и сформировавшееся под влиянием относительной либерализации жизни советского общества — атмосферы хрущевской «оттепели»: «Это особенная атмосфера душевной тревоги: разочарования-боли и радости-свободы, в которых происходит пробуждение человека к жизни в сфере духа» [7, с. 24].

Собственно активная (открыто-публичная) фаза «шестидесятничества» длилась недолго, несколько лет: в 1959 году в Киеве был создан Клуб творческой молодежи, во Львове в 1961 году — клуб «Подснежник», а в середине 1960-х годов по Украине прокатилась волна арестов в среде украинской интеллигенции, положив конец атмосфере «оттепели» в культуре и искусстве. К «шестидесятникам» причисляют также некоторых авторов, вошедших в литературу чуть раньше и позже пика формирования «шестидесятничества». К числу наиболее ярких писателей-«шестидесятников» относят Лину Костенко, Дмитрия Павлычко, Николая Винграновского, Ивана Низового, Бориса Олейника, Ивана Драча, Владимира Забаштанского, Евгения Гуцало, Владимира Дрозда, Виктора Миняйло, Валерия Шевчука, Григория Тютюнника, Юрия Мушкетика, Владимира Яворивского. Существенный вклад в формирование феномена внесли литературные критики и публицисты Иван Светличный, Иван Дзюба, Михайлина Коцюбинская, Виктор Иванысенко, Юрий Бадзе, Вячеслав Черновол, Богдан и Михаил Горыни и др.

В 1960-е годы активной была и литературная жизнь украинской эмиграции, наиболее заметным явлением которой стала Нью-Йоркская группа. Под этим названием в истории украинской литературы известно неформальное объединение поэтов-эмигрантов, возникшее в 1950-х годах в Нью-Йорке. Несмотря на то, что группа не издавала творческих манифестов, поскольку объединяла писателей скорее по принципу общности территориальной (в нее входили жившие в США писатели-эмигранты, причем далеко не все из Нью-Йорка), нежели эстетической, она стала явлением, существенно повлиявшим на формирование современного литературного ландшафта Украины. Члены Нью-Йоркской группы Богдан Бойчук, Юрий Тарнавский, Богдан Рубчак, Женя Васильковская, Эмма Андиевская, Патриция Килина, Вера Вовк, Роман Бабовал, Юрий Коломиец, Олег Коверко, Марк Царинник, Юрий Соловей, Вольфрам Бургард, Мария Ревакович несмотря на различия в эстетических и стилистических предпочтениях продолжали традиции высокого модернизма, элитарность и интеллектуализм которого возникали из синтеза собственно украинских традиций модерного искусства первой трети XX века и европейского опыта, усвоенного писателями-эмигрантами.

В целом же, несмотря на различия в личностном и литературном опыте, всех «шестидесятников» в идейно-духовном плане объединяло стремление к свободе, которая понималась многомерно, как противостояние любым проявлениям тоталитаризма.

Наряду с «шестидесятниками» в истории украинской литературы выделяют *«постшестидесятников»*, которые дебютировали в 1960-х годах, но в канон шестидесятничества не вписывались, стояли особняком. Современные украинские исследователи спорят о корректности термина «постшестидесятники», иногда включая их в поколение «семидесятников», иногда предлагая заменить его понятием «вытесненное поколение».

В начале 1960-х годов в Киеве образовалась группа поэтов, преимущественно студентов-филологов. Сначала, в 1964 году в нее входили Василий Голобородько, Виктор Кордун и Василий Рубан, а с 1965-го к ним присоединились Михаил Саченко, Валентина Отороженко, Надежда Кирьян, Николай Воробьев, еще через несколько лет — Михаил Григорьев, Иван Семененко, Станислав Вишневский, Валерий Илья. Впоследствии эта группа стала известна как Киевская школа поэзии (иногда можно встретить вариант Киевская школа поэтов), представителей которой чаще всего и ассоциируют с «вытесненным поколением»: их произведения было запрещено печатать в советских изданиях, а творчество оказалось закрытым для читателей на четверть века.

Судьба многих писателей-«шестидесятников», как и «постшестидесятников», была драматичной: одни были исключены из высших учебных заведений, другие не могли найти работу, перебиваясь случайными заработками; их литературное творчество было по сути исключено из литературного процесса до конца 1980-х годов.

Поколение *«семидесятников»* (к нему причисляют писателей, рожденных межу 1939 и 1953 годами [1, с. 128]) наряду с авторами, имевшими широкие возможности печататься в периодических изданиях и издавать книги, включает творцов, которые в силу разных причин вынуждены были оставаться в «андеграунде», не имея возможности представить свои произведения читательской аудитории. В числе наиболее ярких, состоявшихся авторов этого поколения называют Павла Мовчана, Любовь Голоту, Светлану Йовенко, Наталью Белоцерковец, Владимира Забаштанского, Леонида Талалая, а также поэтов-диссидентов Ивана Гнатюка, Игоря Калынца, Ирину Калынец, Степана Сапеляка и др.

Поколение *«восьмидесятников»*, в отличие от предшественников, входило в литературное пространство в условиях ослабления цензуры. В числе прочих факторов это обусловило своего рода поколенческую переориентацию с социального, коллективного на индивидуальное, персоноцентричное как основной объект художественного внимания. Некоторые исследователи называют «восьмидесятников» «провокационным поколением», в мировоззрении которого ироничное отношение к действительности сочетается с экзистенциальной тоской. Это поколение состоит из целой плеяды авторов, оригинальных и продуктивных не только в смысле собственно писательском, но и наделенных талантом своеобразного «литературного менеджмента», организации различных литературных событий, продвижения собственных идей и творчества на международной литературной арене. К числу наиболее известных восьмидесятников принадлежат Юрий Андрухович, Александр Ирванец, Игорь Рымарук, Василий Герасимюк, Иван Малкович, Оксана Забужко, Виктор Неборака, Галина Пагутяк, Евгений Пашковский, Иван Лучук, Людмила Таран, Галина Петросаняк, Петр Мидянко, Владимир Цыбулько, Назар Гончар, Владимир Диброва, Александр Ульяненко, Леонид Кононович, Богдан Жолдак, Владимир Сердюк, Костя Москалец и др. Определить амплуа «восьмидесятников» как «чистых» поэтов, прозаиков, драматургов иногда довольно сложно, поскольку многие из них с упехом выступают в самых разных жанрах (как Оксана Забужко, Александр Ирванец, Юрий Андрухович и др.). По мнению Владимира Ешкилева, именно «восьмидесятники» создали первую в истории украинской литературы второй половины XX века оппозицию традиционалистскому дискурсу не в виде отдельных индивидуальных явлений, а как феномен нового литературного поколения [8, с. 39].

Поколение так называемых *«девятидесятников»* (Сергей Жадан, Иван Андрусяк, Марьяна Савка, Павел Вольвач, Марианна Кияновская, Игорь Павлюк, Иван Ципердюк, Василий Махно, Роман Скиба, Андрей Бондарь, Тарас Прохасько, Степан Процюк, Наталка Сняданко, Роман Кухарук, Тимофей Гаврилов, Юрий Бедрык, Леся Демская, Юрий Издрык, Неда Неждана и др.) входило уже в бесцензурное литературное пространство, в период, когда духом эксперимента было пропитано не только искусство, но вся атмосфера общественной и культурной жизни. Это поколение (как и белорусские «девяност(н)ики») было изначально ориентировано на тотальный эксперимент, концептуально отталкивавшийся от неприятия творческих установок предшествующих поколений. В частности, некоторые исследователи указывают на существование идейного конфликта между поколениями «шестидесятников» и «девятидесятников», поскольку, если первые верили в социальную ответственность и даже некую мессианскую роль писателя, то вторые отвергали саму возможность социальной ангажированности в пользу литературы для литературы, «герметичного» творчества и стилистических экспериментов [9, с. 128—130]. Представители этого поколения издали несколько поэтических и прозаических антологий («Молодое вино», «Тексты», «Существительное», «Малая украинская энциклопедия актуальной литературы»), которые вкупе со сборниками критических статей Евгения Барана, Василия Слапчука, Ивана Андрусяка, теоретико-концептуальными, критическими и эссеистическими публикациями в периодике позволяют составить достаточно ясное представление о литературной и окололитературной активности этого поколения, оказавшего огромное влияние на трансформации литературного пространства Украины в конце XX — начале XXI веков.

Литераторы, которые заявили о себе в литературном пространстве Украины в первое десятилетие XXI века через публикации и участие в

самых разных событиях литературной и окололитературной жизни (фестивалях, конкурсах, презентациях, слэмах — поэтических битвах, акциях, перформансах и т. п.), получили в соответствии с украинской историко-литературной традицией название *«двутысячники»*, иногда можно встретить другое определение — *«миленаристы»*. Они зарекомендовали себя одним из самых эпатажных и вместе с тем прагматичных литературных поколений, которое добивается популярности с помощью публичных акций и грамотного, активного продвижения своего творчества в иформационном пространстве. Относительно панорамное и вместе с тем детализированное представление о поэзии этого поколения можно получить благодаря антологии «Две тонны. Антология поэзии двутысячников» (2007), а также изданию «Карпатская саламандра: альманах молодежного фронта искусств» (2007).

Поэтическое «крыло» поколения составляют Екатерина Бабкина, Олесь Барлиг, Андрей Бондарь, Богдан-Олег Горобчук, Ярослав Гадзинский, Степан Дупляк, Екатерина Калытко, Виктор Коврей, Павел Коробчук, Олег Коцарев, Галина Крук, Дмитрий Лазуткин, Андрей Любка, Анна Малигон, Олеся Мамчич, Богдан Матияш, Светлана Поваляева, Остап Сливинский, Юлия Стаховская, Олесь Степаненко, Илья Стронговский, Ирина Шувалова, Любовь Якимчук. В прозе успешно выступают София Андрухович, Михаил Брыных, Любко Дереш, Анатолий Днестровый, Ирена Карпа, Светлана Пыркало, Светлана Поваляева, Сашко Ушкалов, в драматургии — Павел Арье, Олесь Барлиг, Наталия Ворожбыт. При всем многоголосии творчества представителей этого поколения роднит, с одной стороны, скепсис по отношению к ценностям литературных предшественников, а с другой — некое общее чувство недоверия к культуре родительского поколения, воспитанного в тоталитарном обществе [9, с. 154—158], выражаемое и на уровне текста, и на уровне подтекста (мотивном, атмосферном).

Новая генерация литераторов, которая, по сути, только начинает складываться в некую поколенческую общность, получила название *«дветысячедесятники»*. Судить о поэтических исканиях представителей этой волны литераторов можно по творчеству Леся Белея, Оксаны Гаджий, Елены Герасимюк, Дарины Гладун, Мирослава Лаюка, Михаила Жаржайло, Василия Карпюка, Тараса Малковича, Ивана Непокоры, Лесика Панасюка, Зазы Паулиашвилы, Карины Тумаевой, Романа Романюка, Виктории Дикобраз, Богуслава Поляка, Григория Семенчука и др. В качестве прозаиков позиционируются Виктория Амелина, Алексей Чупа, Елена Мордовина, Мирослав Лаюк; в пространстве современной драматургии с успехом представляют свои произведения Мирослав Лаюк, Дан Воронов. При этом некоторые литераторы пытаются освоить все литературные роды — поэзию, прозу, драматургию — одновременно (как Мирослав Лаюк, например).

Показательно, что, в отличие от «восьмидесятников» и «девятидесятников», более молодые литераторы не проявляют интереса к консолидации в разного рода литературные объединения и группы, предпочитая индивидуальное участие в литературном процессе оформленному (даже минимально, условно институализированному) коллективному и групповому участию. По крайней мере, с начала 2000-х годов группы появляются не так часто, как прежде; преимущественно в XX веке остаются и «динамичные периоды» деятельности литературных групп, созданных во второй половине 1980-х—1990-е годы. Если и говорить о неких формах консолидации по отношению к литературному процессу 2010-х годов, то чаще всего речь идет о разовых или повторяющихся периодически проектах (мероприятиях), в которых литературные сообщества составляются по

принципу ангажемента (пригласительному) в зависисмости от контекста и целей проекта.

Следует принимать во внимание, что поскольку современная литература представляет собой феномен становящийся, процессуальный, создающийся прямо на наших глазах, все попытки систематизировать и типологизировать живые литературные явления результат могут иметь тоже подвижный, то есть существенно зависящий от точки зрения конкретного эксперта либо субъекта анализа. Так, например, если одни исследователи включают таких заметных писателей, как Виктор Миняйло, Лесь Подервьянский, Оксана Забужко, Галина Пагутяк, Людмила Таран, Наталка Белоцерковец в определенные поколения, в соответствии с годом рождения либо временем вхождения в литературу, то другие утверждают, что этих авторов следует рассматривать вне литературных школ либо идеологий; об этом, например, говорит Саломея Павлычко по отношению к Наталке Белоцерковец, Оксане Забужко, Людмиле Таран, а также об Александре Гриценко и Атилле Могильном [10, с. 554]). К числу литературных одиночек, отшельников предлагает относить Владимира Даниленко таких разных по возрасту и творческой манере писателей, как Виктор Миняйло, Феодосий Роговой, Лесь Подервьянский, Григорий Гусейнов [1, с. 134—137]. А Александр Гордон вообще предложил использовать понятие «внедесятники» (*«позадесятники»*) по отношению к ряду писателей старшего поколения, которые начали печатать свои произведения только в 1990-х годах [11]. К литературным «одиночкам» разные исследователи относят и Юрия Покальчука, Олега Лышегу, Владимира Назаренко, Андрея Охримовича, Тараса Мурашко и уже упоминавшуюся Галину Пагутяк.

Объектный компонент литературного процесса иначе можно назвать «результирующим», поскольку в данном случае речь идет о собственно художественных произведениях как о результатах литературного творчества, представляемых в разных форматах и видах: в формате традиционном (на бумажной основе) и электронном, в виде публикаций в литературной периодике, включая журналы, газеты, электронные ресурсы, — и в виде отдельных книжных изданий (бумажных, аудио- и мультимедийных книг). При этом очевидно, что в строгом смысле слова компонент ***событийный*** охватывает не только разного рода мероприятия и события, составляющие литературную жизнь современной Украины (дискуссии, встречи, презентации, премии, фестивали, книжные выставки и т. д.), но и корпус художественных текстов как структурообразующих «событий» живого литературного процесса, и деятельность целого ряда литературных объединений и групп.

Как уже отмечалось, на первом этапе формирования современного литературного пространства Украины четко обозначилась тенденция к активизации событийной стороны литературной жизни, что в числе прочего нашло выражение в появлении десятков новых, разнонаправленных художественных и научно-гуманитарных журналов, которые выходили в самых разных регионах и городах Украины: в Киеве — «Хроника 2000», «Световид», «Факел Украины», «Неопалимая купина», «Основа»; «Перевал» — в Ивано-Франковске, «Конечно» — в Житомире, «Курьер Кривбаса» — в Кривом Роге, «Украинский посев» — в Харькове, «Холодный яр» и «Апостроф» в Черкассах, «Башня» (*«Вежа»*) и «Степь» в Кировограде и др. В Украину не только вернулись известные издания диаспоры (журнал «Современность», газета «Украинское слово»), но и существенно обновились существовавшие с советских времен издания «Отчизна», «Днепр», «Киев», «Вселенная», «Литературная Украина», «Звон» (прежде назывался «Октябрь»), «Март» (некогда «Знамя»), «Слово и Время» (прежнее «Совет-

ское литературоведение»), «Дивослово» (ранее назывался «Украинский язык и литература в школе») [12, с. 336]. Особое значение имело активное обсуждение проблем развития литературы в нелитературных изданиях (как правило, неформальных), что, с одной стороны, интенсифицировало собственно литературные дискуссии, а с другой стороны, как бы «размыкало» относительно герметичное литературное пространство, включая его в качестве актуального компонента в общественно-политическую жизнь страны.

Также в этот период были подготовлены несколько прецедентных для формирования панорамного взгляда на украинскую литературу книжных изданий. Например, заметным событием стал выход в 1991 и 1997 годах двух антологий украинской поэзии «Золотой гомон», которые представили национальную лирику XX века как полифонию художественных методов и направлений, а также антологии «Близнецы еще встретятся» (1997), в которой были собраны пьесы писателей украинской диаспоры (Леонида Мосендза, Игоря Костецкого, Богдана Бойчука, Веры Вовк и др. Молодые литераторы в 1995 году издали альманах прозы «Тексты», куда вошли рассказы и новеллы 28 авторов.

Предметом бурных дискуссий в украинском литературном дискурсе конца XX — начала XXI веков стала проблема «провинциальности», рассматриваемая в глобальном, общемировом контексте. Специфика украинской социокультурной ситуации, а также стремительность разнонаправленных движений внутри единого литературного процесса от относительного единообразия (идеологического и художественно-стилевого) к концептуальному и эстетическому разнобразию обусловили высокий уровень активности различных литературных сообществ, активности не только художественной, но и общественно-культурной. Эти литературные сообщества возникали в конце 1980-х—1990-х годах в больших количествах, что добавляло динамики и пестроты литературному процессу. В рамках данного обзора мы остановимся лишь на некоторых из них, ставших наиболее прецедентными явлениями того времени и повлиявших на характер литературного ландшафта современной Украины.

Заметное влияние на формирование новой литературной ситуации оказали писательские объединения и литературные группы. В последнем случае речь идет о сообществе писателей, объединенных близкими творческими интересами, стилевыми предпочтениями, «пониманием специфики литературного творчества» (Юрий Ковалив). В украинском литературном пространстве с конца 1980-х годов наряду с несколькими относительно крупными объединениями существовало множество довольно камерных литературных групп (группировок); впрочем, эта «немноголюдность» не уменьшает их значимости и влияния на литературную жизнь. Следует иметь в виду еще одну интересную тенденцию литературного процесса Украины конца XX века: речь идет о децентрализации литературной жизни, своеобразной регионализации, при этом региональные различия становятся источником (и важным фактором) разнообразия художественно-стилевого.

Так, в 1984 году во Львове тремя поэтами Иваном Лучуком, Назаром Гончаром и Романом Садловским была основана поэтическая группа «ЛуГоСад». Художественное творчество группы было практическим воплощением так называемой лугосадовско-арьергардной теории; идея и изложение основных положений этой теории принадлежат брату Ивана Лучука Тарасу Лучуку и по сути представляет собой постмодернистскую концепцию «поэзии на марше» (изложена в статье-послесловии к коллективному изданию «“ЛуГоСад”: канва канона»), нацеленную на переосмысление культурного опыта предшествующих эпох. В духе же постмодерна

формируется художественное-стилистическое пространство «поэтического арьергарда», который охотно обращается к находкам украинского барокко и модерна, осваивает на современном украинском материале диалогические формы поэзии Близкого и Среднего Востока (Назар Гончар), палиндромы (Иван Лучук), создают образцы визуальной (зрительной) поэзии (Роман Садловский). В 1986 году группа издала два коллективных альманаха («ЛуГоСад I» и «ЛуГоСад II»), а также сборники Назара Гончара «Улыбающийся Элегион» и Романа Садловского «Антология».

Литературная группировка «Бу-Ба-Бу» была основана Юрием Андруховичем, Виктором Небораком и Александром Ирванцом в 1985 году также во Львове. Название группировки представляло собой своеобразный код и расшифровывалось как «Бурлеск—Балаган—Буффонада». Эти три слова по сути содержали с себе формулу мировоззренческих и художественных ориентиров группы, деятельность которой стала воплощением карнавального необароккового мышления. В Украине социальным фундаментом так называемого метаисторического карнавала стал подсознательный массовый синдром взлома, сопровождавший распад советской империи, который, с одной стороны, стал причиной масштабной социальной депрессии, а с другой стороны, породил массовую рефлексию смехового, карнавального типа как реакцию на катаклизмы советской системы.

В 1995 году в издательстве «Каменяр» вышла книга «Бу-Ба-Бу». Творчество участников группы рассматривается специалистами как некий ситуативный и вместе с тем концептуально оформленный художественный отклик на общекультурное состояние, отражающее ситуацию растерянности и потерянности и вместе с тем жаждущее выхода из этой тотальной растерянности-потерянности. «Бу-Ба-Бу» культивируют необарокко, впрочем, существенно его модернизируя: смешивая компоненты национальной стихотворной барокковой драмы, бурлеска и травести XIX века, поэтическое кабаре начала XX века, они превращают поэзию в шоу, но шоу не легковесное, а довольно сложное и качественное в художественно-стилевом смысле.

В период наибольшей активности (1987—1991 годы) деятельность «Бу-Ба-Бу» включала проведение поэтических вечеров, фестивалей (прецедентным стал фестиваль «Вывих-92», в ходе которого были представлены четыре постановки поэзооперы (поэзия + опера) «Крайслер Империал», многочисленных хеппенингов, акций и перформансов. Это «бубаисты» открыли для украинской читающей публики хеппенинг (от *англ*. happening, to happen — происходить, случаться) как жанр искусства, синтезирующий слово и жест, событие, разыгрываемое на сцене, — и отклик на него самого исполнителя, без устали импровизирующего. Перформансы и хеппенинги стали неотъемлемой частью событийной составляющей литературного процесса 1990-х — начала 2000-х годов; с середины первого десятилетия XXI столетия эта активность пошла на спад.

В Киеве в конце 1980-х — начале 1990-х годов также возникали литературные группы, одной из наиболее известных стала «Пропала грамота»; в 1991 году вышла книга под таким же названием. Ее основателями — поэтами Юрко Позаяком, Виктором Недоступом и Семеном Лыбоней — «Пропала грамота» провозглашалась как авангардный проект. Авангардность проявлялась в стремлении ломать литературные табу, взрывать кодифицированную, «узаконенную» мелодичность традиционной поэзии, сталкивать несочетаемое, соединять «высокое» и «низовое». Так, Юрко Позаяк, работая, как и его товарищи, в бурлескно-травестийном стиле, классические формы стиха наполняет жаргонизмами, специфической фразеологией, аллогизмами; почти всегда его лирические герои — это

герои-маргиналы (хиппи, бомжи, диссиденты), в результате чего получается поэзия авангардистского типа. Своего рода фирменным жанром группы становится персонажная (ролевая лирика).

В начале 1990-х годов появилась еще одна литературная группа — «Новая дегенерация», которую основали поэты из Ивано-Франковской области Иван Андрусяк, Степан Процюк и Иван Ципердюк. В 1992 году появилась книга с одноименным названием, где под одной обложкой увидели свет три первых поэтических сборника основателей «Новой дегенерации». Участники группы, в названии которой содержится очевидная игра смыслами и подтекстами, в творческом манифесте объявляют себя «детьми дегенерировавшей страны и дегенерировавшего времени». Поэты широко использовали эпатаж, тотальную иронию, сарказм в своем творчестве, однако это был не просто эпатаж ради эпатажа: протест, бунт были для них естественной реакцией на столкновение с трагичным и несправедливым, абсурдным и хаотичным миром. Исповедуя философию так называемого трагического бунта, они пытались выстроить вокруг себя бастионы собственного, «внутреннего» микрокосма, способного укрыть их от трагедийной бессмысленности внешнего хаоса.

Примерно в это же время харьковские поэты Сергей Жадан, Ростислав Мельников и Иван Пилипчук объявили о создании литературной группы «Красная телега» (1991). Хотя они провозгласили себя неофутуристами, преемниками украинского футуризма 1920-х, харьковские поэты оказались в поле притяжения не столько собственно неомодернизма, сколько постмодернистско-деконструктивистского комплекса мировоззренческих и художественных установок. Это особенно ярко проявилось на примере игровой, травестийно-гротескной поэзии Сергея Жадана, уже в 1990-е годы издавшего три сборника («Розоватый дегенерат» (1993), «Генерал Иуда» (1994), «Цитатник» (1995), собирательный лирический герой которых — персона, без устали примеряющая на себя разные «маски»-личины.

Годом позже харьковской «Красной телеги» в 1992 году в Тернополе появилась группа «Западный ветер», которую составили поэты Василий Махно, Борис Щавурский, Виталий Гайда, Гордей Бескоровайный; еще спустя два года, в 1994-м был опубликован альманах «Западный ветер». В отличие от деконструктивистских намерений представителей большинства других групп, Василий Махно в тексте-маниферсте «Конспекты из будущей Нобелевской лекции» настаивал на самодостаточности литературы как величайшей ценности нации, указывая на огромную социально-историческую ответственность ее создателей: «Лучшие поэты моего народа, от Шевченко до Стуса, должны были выполнять двойную функцию — реализации Духа и противостояния. Поэтому литературное творчество для украинцев шло параллельно с внешним и внутренним сопротивлением творческого индивида». Надо сказать, специфическая манифестационность, стремление к теоретизированию в яркой, трибунной, публицистической форме стали одной из тенденций литературного процесса 1990-х. При этом манифест «Западного ветра» выделялся на фоне других деклараций новых литературных сил, так как призывал не к разрушению традиций, а к созданию нового искусства как некой консолидации компонентов, отвечающих критериям общественной, художественной и личностной значимости.

Наряду с названными группами существовало еще множество других: «Ассоциация Новая литература», «Группа имени Марко Проклятого», «Музейный переулок, 8», творческая ассоциация «500» и др.

Существенные изменения происходят и со структурами, с которыми традиционно в постсоветских странах связывается институциональный аспект литературной жизни. Речь идет о самом массовом профессиональ-

ном писательском объединении — Союзе писателей Украины, который отделился от Союза писателей СССР в 1991 году. Ко второму десятилетию XXI столетия Национальный союз писателей Украины насчитывал уже более полутора тысяч человек, включая литераторов метрополии и диаспоры.

Вместе с тем, 1990-е годы были периодом бурных дискуссий, в том числе затрагивавших проблемы функционирования Союза писателей в современном обществе, в изменившихся социокультурных условиях. В 1997 году была создана Ассоциация украинских писателей, на установочном собрании которой присутствовало более 100 человек и которая поставила своей главной целью преодоление стагнационных процессов («структурно-идеологического омертвения») в писательской среде. По мнению инициаторов создания Ассоциации украинских писателей, эти процессы стали результатом недееспособности руководства Союза писателей, которое не могло и не хотело реформировать профессиональный творческий союз в соответствии с вызовами времени. В качестве главных принципов и ориентиров деятельности Ассоциация украинских писателей провозгласила профессионализм, преодоление колониального синдрома в украинской литературе и открытость мировому интеллектуальному и художественному опыту.

Несмотря на некоторую условность самого понятия «регионализации» по отношению к специфике литературного развития, она представляется нам одним из существенных факторов концептуально-стилевой полифоничности украинского литературного процесса конца XX — начала XXI веков. Проявляется это, безусловно, не только в возникновении в разных областях и регионах страны литературных групп, выступающих с оригинальными творческими манифестами, но и в постепенном складывании целых литературно-художественных школ, отличных не просто по месту локации, но различающихся сущностно, в смысле художественной методологии исследования и воспроизведения действительности. Так, сегодня говорят о существовании двух школ украинской художественной прозы: «киевско-житомирской» и «львовско-франковской». Принимая во внимание тематическое и стилевое разнообразие, полифоничность каждой из школ, можно все же попытаться сформулирвать в общем виде ключевые моменты, определяющие их различия. Если творчество представителей «киевско-житомирской прозы» (к которым относятся Вячеслав Медведь, Евгений Пашковский, Александр Ульяненко, Богдан Жолдак, Любовь Пономаренко, Евгения Кононенко, Оксана Забужко, Владимир Диброва и др.) центрировано вокруг экзистенциальных мотивов, в осмысление которых погружен некий собирательный герой-интеллектуал, рафинированный интеллигент, то в «львовско-франковской» школе прозы (представлена произведениями Юрия Андруховича, Тараса Прохасько, Юрия Издрика и др.) мир предстает грандиозным и весьма специфичным карнавалом, карнавалом постмодернистского типа, в котором бал правят игра, тотальная ирония, буффонада, и посреди этого действа оказывается герой-маргинал, нередко — условный горожанин, недавний деревенский житель с комплексом неполноценности.

Не последнюю роль в формировании событийности литературного процесса играют литературные премии и награды. Наиболее значимой официальной премией является Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко, хотя почти за три десятка лет возник и целый ряд независимых наград и конкурсов: «Коронация слова», литературный конкурс издательства «Смолоскип» (дает возможность победившему молодому автору издать книгу), «ЛитАкцент года», Премия фонда Антоновичей,

Литературная премия фонда Ивана Багряного и др. Есть премии, основанные на популярности произведений, измеряемой в тиражах изданий: например, в 2012 году была основана премия «Золотые писатели Украины» для романистов, чьи произведения вышли совокупным тиражом свыше 100 000 экземпляров.

Таким образом, сосуществование различных художественно-стилевых феноменов — течений, направлений, платформ — наряду с восстановлением целостности панорамного видения национальной литературной традиции (через возвращение запрещенных в советское время имен и произведений, «дополнение» литературы метрополии творчеством писателей украинской диаспоры), расширением проблемно-тематического диапазона (связанного со стремлением украинских писателей выйти в глобальный, мировой контекст, сохранив при этом национальное своеобразие), интенсивным ростом разнообразия на разных уровнях литературного дискурса как системы можно в общем виде назвать наиболее заметными тенденциями развития литературного процесса в Украине конца XX — начала XXI веков.

3. Художественное разнообразие как фактор и принцип развития современного литературного процесса

Одной из наиболее ярких черт литературы современной Украины, как уже не раз отмечалось, является ее художественное разнообразие: все исследователи в том или ином виде указывают на сосуществование в литературном хронотопе конца XX — начала XXI веков целого ряда феноменов, очень отличающихся в концептуальном, эстетическом и стилевом отношениях.

Типологизация этого разнообразия представляет собой отдельную теоретико-литературную проблему. Некоторые исследователи указывают на стилевой синкретизм как на одну из определяющих черт современного литературного творчества в Украине. В числе прочего это означает своего рода диффузный характер взаимодействия и взаимовлияния различных художественных школ и течений. Принимая во внимание изменчивость украинского литературного ландшафта, который создается практически в режиме онлайн, литературоведы все же предлагают выделять три основных стилевых направления [12, с. 337]:

1) «традиционное реалистичное со значительным доминированием неореализма и неоромантизма» (в числе наиболее значимых представителей называют Анатолия Димарова, Василия Захарченко, Романа Иванычука, Юрия Мушкетика, Бориса Олейника, Дмитрия Павлычко и др.);

2) «модернистское, от собственно модерного (с тяготением к старому либо новому традиционализму) до неоавангардистского» (наиболее ярко выражено в творчестве Лины Костенко, Эммы Андевской, Романа Бабовала, Василия Барки, Валерия Шевчука, Евгения Пашковского, Галины Пагутяк, Ивана Драча, Ирины Жиленко и др.;

3) «постмодернистское с элементами неоавангардизма» (Иван Андрусяк, Юрий Андрухович, Николай Бабак, Оксана Забужко, Александр Ирванец, Василий Кожелянко, Константин Москалец, Степан Процюк, Александр Ульяненко, Юрий Винничук).

Осмысление современного литературного процесса, как мы уже отмечали, всегда представляется делом очень сложным, поскольку субъект анализа (литературовед, критик, даже писатель и читатель, вовлеченные в рефлексию) одновременно является и его объектом, участвует в созда-

нии этого литературного хронотопа. Несмотря на это, время от времени предпринимаются попытки дать обобщенную характеристику поэзии, прозы, драматургии, вычленить их квинтэссенцию, сущностные характеристики — как в ключе диахроническом (через определение качественных изменений внутри одного литературного рода), так и синхроническом (в аспекте сравнения, что происходит с разными литературными родами в поле напряжения современных художественно-эстетических поисков).

Так, еще в 1990-х годах Юрий Андрухович высказал в духе ироничного парадоксализма мысль о том, что украинская *поэзия* становится все лучше такими темпами, что скоро ее будут читать исключительно поэты. В качестве ключевых особенностей современной украинской поэзии называются полифоничность, которая обнаруживается на разных уровнях — концептуально-идейном, проблемно-тематическом, жанрово-стилевом. Эту полифонию иногда определяют как барокковую, хотя точнее было бы назвать ее необарокковой. Двигаясь от утонченного импрессионизма к барокковой полифонии, поэзия, по мнению украинских исследователей, в определенный момент начинает казаться как бы «перегруженной цветением», настолько интенсивно разворачиваются в этот период художественные поиски. Одной из отличительных черт поэзии рубежа XX—XXI веков становится мифологизация художественного мышления. Причем у некоторых поэтов миф начинает восприниматься как реальность, альтернативная абсурдной действительности. Очевидно, что в данном случае речь идет не только об актуализации мифов предшествующих эпох, но и о творении новой, «авторской» мифологии современности, в границах которой может быть воссоздан мир как некая целостность, мир, по которому тоскует человек в разорванной бесчисленными информационными потоками реальности.

Не менее полифоничной предстает и современная украинская *проза*, отличительной чертой которой становятся интеллектуализация, рост идейно-тематического, жанрового, изобразительного разнообразия. В наиболее общем виде качество трансформаций прозы как художественной системы в этот период определяется украинскими исследователями как движение от лирико-романтических, патетических мотивов предшествующих десятилетий к иронической карнавальности (впрочем, не лишенной меланхоличности). Однако, на наш взгляд, это только одна из тенденций.

Указывая на трансформацию так называемого химерного стилевого течения в прозу постмодернистского толка, литературоведы обращают особое внимание на тот вклад, который вносят в формирование новой литературной ситуации писатели старшего поколения, ориентированные на реалистичную эстетику. В 1990-е годы выходит целый ряд масштабных исторических произведений: романы Юрия Мушкетика «На брата брат», Михаила Винграновского «Северин Наливайко», Романа Иванычука «Орда», «Рев оленей на рассвете», роман в стихах Лины Костенко «Берестечко» и др.

На новом витке литературного развития оказывается востребованным и, казалось бы, «громоздким» для эпохи постмодерна с ее сегментированным сознанием, клиповым мышлением жанр эпопеи: большой резонанс имел вышедший в 1994 году роман-эпопея Валерия Шевчука «Тропинка в траве. Сага о Житомире».

В национальных литературных традициях постсоветских стран реализм как художественная система и способ моделирования мира (в структурах и на языке искусства слова) по-прежнему занимает сильные позиции, несмотря на существенные («тектонические») трансформации художественой парадигмы на рубеже XX—XXI веков. В литературе современной Украины

хранителями реалистических традиций являются писатели старших поколений. Причем быть хранителем не значит быть ретроградом, противником качественных изменений. В новой литературной ситуации они защищают реалистическую концепцию искусства, поскольку полагают, что стремление показать жизнь в формах самой жизни, во всем ее многообразии и есть ответ на вызовы времени. Саму возможность прогресса они видят, помимо прочего, в «омоложении» (обновлении) известных литературных жанров и видов, в совершенствовании изобразительно-выразительного арсенала. Писатели старшего поколения стремятся по-новому осмыслить в жанрах философско-психологической и социально-психологической прозы события, которые в XX веке самым серьезным способом повлияли на формированние облика современных украинцев как нации. Так, к теме сталинизма и его последствий для национальной («великой») и персональных («малых», но не «маленьких») историй обращаются в своих произведениях «В-ван!» Павел Загребельный, «Белый лебедь на зимнем берегу» Юрий Мушкетик). Традиционно важное место в произведениях многих писателей занимает чернобыльская тематика; возрастает интерес к гендерной проблематике; внимание многих писателей привлекает новое осмысление феномена Города.

Если говорить в целом о расширении жанрового и проблемно-тематического диапазона украинской прозы, то оно, конечно, не ограничивается трансформацией химерной в постмодернистскую. Так, интерес современных украинских писателей к историческому жанру охватывает самые разные периоды национальной истории, от дославянских времен (Иван Билык), древнерусских времен Павел Загребельный, эпохи казачества (уже упоминавшиеся романы Юрия Мушкетика, Михаила Винграновского, Лины Костенко, а также «Крепость на Бористене» Валентина Чемериса), до трагических событий XX века, включая коллективизацию, голодомор (романы «Черный ворон» Василия Шкляра, «Праздник последнего помола» Феодосия Рогового, голода 1947 года (роман «Прибутні люди» Василия Захарченко). Кроме того, появляются произведения в жанре альтернативной истории, где предлагаются самые невероятные варианты развития истории страны (романы Василия Кожелянко, а также «Рівне/Ровно» Александра Ирванца. В последние годы можно говорить об усилении интереса к жанрам фэнтези (произведения Марии Рымар, Татьяны Винокуровой-Садыченко, Елены Захарченко, Константина Матвиенко, Марины Соколян, Тараса Завитайло и др.) и фантастики (книги Марины и Сергея Дьяченко, Тимура Литовченко, Александра Левченко, Яны Дубинянской, Марианны Малиной, Дары Корней). Большой интерес у читательской аудитории вызывают детективы Леонида Кононовича, Василия Шкляра, Ирэн Раздобудько, Евгении Кононенко, Алексея Волкова и др. Литературная неоготика в современной Украине представлена романами ужасов Наталки и Сергея Шевченко, Михаила Рошко, Любко Дереша. Особой популярностью у читателя пользуется жанровый «микс», романы с детективной интригой и элементами готики, мистики, триллера: так, изданный в 1999 году мистическо-детективный роман уже упомянутого Василия Шкляра «Ключ» только за последующие 10 лет переиздавался 12 раз многотысячными тиражами и был переведен на несколько иностранных языков.

Довольно широк диапазон и так называемой любовной прозы, который включает как хорошо известные массовому читателю мелодрамы (Галины Вдовиченко, Милы Иванцовой, Ирэны Раздобудько), так и эротические романы, к которым причисляются некоторые произведения Юрия Покальчука, Олеся Ульяненко, Юрия Винничука, Светланы Поваляевой. Украинские прозаики пытаются осваивать и жанры экзотические для отечествен-

ной литературной традиции: так, в 2012 году Максим Кидрук, известный как автор приключенческих романов, представил читателю первый украинский техно-триллер «Бот».

Общие трансформации художественной парадигмы для *драматургии* современной Украины означали активизацию поисков нового языка, который был бы интересен читателю-зрителю, находящемуся внутри меняющегося мира. Ключевыми параметрами украинской драматургии уже в 1990-е годы становятся ориентированность на эксперимент (сюжетный, жанровый, стилевой), а также тенденции к ителлектуализации (то есть усилению философского, символико-аллегоричного, рефлексивного компонентов) и камерности (внимание сосредотачивается больше на внутреннем космосе человека, нежели на катаклизмах внешнего по отношению к «жизни души» мира).

Новая литературная ситуация ознаменовалась появлением целой плеяды молодых драматургов, ориентированных на разрыв с классической традицией и на реализацию преимущественно постмодерной эстетики в театре. Об этом свидетельствуют и поставленные на сценах различных театров пьесы «Иисус — Сын Божий» Василия Босовича, «Берегись льва», «Синий автомобиль» Ярослава Стельмаха. Последняя из названных пьес — трагикомедия, автор которой в очень удачной комбинации соединил элементы реалистичной и постмодернистской драматургии для того, чтобы воссоздать на сцене историю человека, переживающего переломный момент в жизни и пытающегося найти некую точку опоры для движения вперед. Эта пьеса, а также «Стена» Юрия Щербака, «Игра в шахматы» Алексея Шипенко, «Миллион парашютиков» Неды Нежданной, «Маленькая пьеса о предательстве для одной актрисы» Александра Ирванца определяются как новая жанроформа — монодрама, предполагающая на сцене пребывание одного героя, произносящего монолог. В 2002 году Александр Ирванец опубликовал сборник «Пять пьес», посвященных, по сути, «истории болезни» постмодерного человека как истории внутреннего опустошения: сталкиваясь с горькими реалиями, действующие лица попадают как бы в «мертвую зону» экзистенции, становятся еще одним «утраченным поколением».

Еще в 1998 году вышла антология «В ожидании театра», которая представила читательской публике произведения целой плеяды молодых драматургов: Натальи Ворожбит, Юрия Данилюка, Леси Демской, Анатолия Днестрового, Елены Клименко, Неды Нежданной, Елены Савчук и др. Это и другие издания позволяют говорить о том, что современная украинская драматургия с начала своего становления была ориентирована на поиск и эксперимент: авторы вдохновенно экспериментируют с сюжетом, хронотопом действия, тяготеют к различным формам художественной условности, символизму, абстракциям, коллажности, смешению эпох и стилей.

Несмотря на определенный репутационный кризис, который переживает в современном информационном пространстве профессиональная литературная *критика*, ее роль в формировании литературного пространства современной Украины весьма значительна. В числе известных исследователей современной украинской литературы, которые формируют экспертное мнение о ее особенностях и качестве, называют Тамару Гундорову, Саломею Павлычко, Веру Балдынюк, Андрея Дрозда, Ростислава Семкива, Евгения Барана, Андрея Бондаря, Игоря Бондаря-Терещенко, Михаила Брыниха, Стефанию Андрусив, Марка Павлишина, Ивана Физера, Оксану Пахловскую, Сергея Квита и др. Показательно, что многие украинские писатели имеют ученые степени и принимают участие в исследованиях разных сегментов гуманитарного дискурса; нередко писатели

одновременно выступают и в качестве литературных критиков (Марианна Кияновская, Анна Белая, Олег Соловей, Олег Коцарев, Игорь Бондарь-Терещенко, Игорь Павлюк и др.). При этом, пожалуй, одной из наиболее важных особенностей современной литературной критики является разнонаправленность ее интересов и методологическое разнообразие, с которым различные критики подходят к анализу литературных явлений и процессов. Критические практики разворачиваются на основе концептуальных и идей постструктурализма (Тамара Гундорова, Саломея Павлычко, Марк Павлишин), феминизма (Вера Агеева, Тамара Гундорова, Саломея Павлычко, Нила Зборовская), герменевтики (Евгений Баран, Сергей Квит), востребованным оказывается и методологический «микс».

Прецедентным нам представляется то, что в Украине изучением новейшей художественной словесности занимается особая научная структура — Центр исследований современной литературы при Киево-Могилянской академии. Довольно активно украинскую литературу исследуют не только собственно в Украине, но и в Беларуси, России, Польше, Австрии, Румынии, Германии, Великобритании, а также в Австралии, Канаде, США.

В Украине литературная проблематика довольно широко освещается в информационном пространстве. Можно говорить о формировании определенного поля литературной журналистики благодаря интервью и обзорам Ирины Славинской, Юрия Володарского, Евгения Стасиневича, Анны Улюра. В сети интернет наряду с большим количеством сайтов и ресурсов, где публикуются собственно художественные произведения, существуют литературно-критические порталы, регулярно публикующие рецензии и обзоры новинок («Буквоед», «ЛитАкцент» и др.).

С конца 1990-х украинские исследователи и критики, живущие как в самой Украине, так и за рубежом, подготовили целый ряд интересных изданий, позволяющих составить панорамное и вместе с тем детальное мнение о современной украинской литературе. В их числе «Послечернобыльская библиотека. Украинский литературный постмодерн» (2005) Тамары Гундоровой, «Современная украинская проза: постмодерный период» (2008) Роксаны Харчук. «Украинские дискуссии об идентичности» (2003) Оли (Александры) Гнатюк, «Интеллектуал как герой в украинской прозе 1990-х годов» (2012) Марка Андрейчика и др. Ряд писателей предложили собственное видение литературного процесса в книгах, которые стали резонансными изданиями: это уже упоминавшаяся ранее «Малая украинская энциклопедия актуальной литературы» (1998) Владимира Ешкилева, «Артеграунд. Украинский литературный истеблишмент» (2006) Ярослава Голобородько, «Лесоруб в пустыне: писатель и литературный процесс» (2008) Владимира Даниленко и др.

4. Современное литературное пространство Украины: феномен полидискурсивности

Наряду с более или менее традиционным (контурно представленным в предыдущем разделе) существует и несколько иной подход к систематизации явлений и событий, составляющих литературу современной Украины как полифонический в концептуальном и художественно-стилевом отношениях феномен. Украинские исследователи говорят о функционировании нескольких *дискурсов*, в перечне которых, как правило, называют неомодерный, постмодерный, заповетно-крестьянский; иногда в качестве самостоятельного выделяется феминистический дискурс, хотя чаще всего он рассматривается в контексте постмодерного.

Для современной философии «решающим критерием дискурса оказывается особая языковая среда, в которой создаются языковые конструкции. Поэтому сам термин “дискурс” требует соответствующего определения — “политический дискурс”, “научный дискурс”, “философский дискурс”. В соответствии с этим пониманием дискурс — это “язык в языке”, т. е. определенная лексика, семантика, прагматика и синтаксис, являющие себя в актуальных коммуникативных актах, речи и текстах» [13]. По отношению к литературе современной Украины можно говорить о полидискурсивности как явлении на самом деле прецедентном. Иначе говоря, можно говорить об уникальности, прецедентности подобной литературной ситуации, когда в рамках одного национального художественного хронотопа одновременно сосуществуют не просто отдельные явления или феномены, а именно разные в концептуально-ценностном и стилевом планах дискурсы — как некие сложно структурированные системы, со своей специфической процессуальностью и событийностью, уникальной ментальностью, находящей выражение в художественных текстах как особых формах социокультурной коммуникации. Сохраняя свою неповторимость, самодостаточность, они вместе с тем неизбежно вступают во взаимодействие, оказывая друг на друга определенное влияние.

Специфика ***неомодерного дискурса*** в современной украинской литературе обусловлена особенностями предшествовавшего ему модерного дискурса, который хронологически охватывает последние годы XIX века (отсчитывается с 1898 года) и включает значительную часть XX века (до 1970-х годов) [14].

Особый характер украинского модернизма, в свою очередь, был обусловлен его глубинной связью с «философией сердца» — одним из традиционных направлений украинской философии, которая построена на осмыслении и отражении специфики национального самосознания и представляет собой в определенном смысле синкретическую — этическую, этико-религиозную и эстетическую — интерпретацию смыслов человеческого существования одновременно.

Истоки «философии сердца» связаны с учением известного странствующего просветителя, философа, поэта и педагога Григория Сковороды (1722—1794), который на протяжении не одного столетия остается одной из наиболее уважаемых личностей в истории украинской культуры и духовно-просветительской деятельности, его творчество называют вершиной староукраинской культуры.

Концепция Сковороды «кордоцентричная». Это значит, что истинным человеком в человеке есть сердце. Как отмечают современные исследователи, «общая концепция Сковороды основывается на христианском учении о теле и душе, развитом апостолом Павлом, и обозначенном символикой сердца. В этом смысле все христианство является “философией сердца”. Но Сковорода руководствуется библейским пониманием слова “сердце”, которое не совпадало с романтическим представлением о противостоянии “сердца” и “разума”» [4, с. 180]. Философ называет его «родником вечных лучей», «истинным Богом», центром человеческого бытия [15, с. 52, 53, 113]. Иначе говоря, Сковорода не различает в «сердце» его чувствительной и рациональной сторон; оно для него некая неосознанная сущность, альфа и омега человеческого бытия.

Идеи «философии сердца», видоизменившись под влиянием европейской «философии жизни» еще в начале XX века, не только получают своеобразную интерпретацию и развитие в художественном творчестве, формируя дискурс неомодерный; они оказывают влияние и на литературоведение, особенно той его части, которая обращена к осмыслению модерного дискурса в украинской литературе конца XIX—XX столетий [14].

Наиболее ярким явлением, вобравшим в себя концептуально-стилевые особенности неомодерного дискурса, считается так называемая Киевская школа поэзии (хотя, например, творчество поэтов литературной группы «Новая дегенерация» также находится в поле притяжения неомодерного дискурса).

Киевская школа поэзии сегодня рассматривается не только как собственно литературное, но и как особое историко-культурное явление, возникшее в результате концептуально-эстетического синтеза национальной культуры (в том числе фольклорной и литературной классики) и идей европейского модернизма. Будучи связанными с «шестидесятниками», поэты Киевской школы, вместе с тем, отличались недекларативностью своей гражданской позиции, отвергали любые идеологические каноны и схемы, в том числе метод «социалистического реализма» как выражение тоталитарной идеологии в искусстве. Как и «шестидесятники», они стремились к свободе творчества, личности, к свободе устремлений, но это было особое понимание сути этой свободы. Их поэзия в определенном смысле «десоциологизируется», избавляясь от гнета общих идей, норм, схем, их интерес был обращен к искусству как таковому, к поэтике чистой красоты.

Неомодерный характер творчества представителей Киевской школы поэзии связан с их своеобразным «возвращением» к Мифу — погружением в глубины мифологического сознания и моделированием мифологического мышления в художественных образах, вобравших в себя концепты и принципы западноевропейской философии, психологии, культуры и искусства. Поэзия Киевской школы изначально философична, обращена к осмыслению первооснов бытия. Это приводило к ощущению значимости и знаковости всех элементов мироздания, когда оно воспринималось постоянно творимым таинством. На уровне тематики это выразилось во внимании к темам природы, человека как высшей ценности этого мироздания, к исследованию глубин и возможностей слова, прежде всего — слова художественного; на уровне образно-изобразительном — в возвращении к лексическим «первообразам», воплощенным в виде художественных символов, связанных с народнопоэтическими представлениями, фольклорной поэтикой. Яркие образцы этого можно найти в сборниках Виктора Кордуна «Земля вдохновленная» (1984), «Славия» (1987), «Куст огня» (1990), «Солнцестояние» (1992), Василия Голобородько (книги «Калина о Рождестве» (1992), «Летающее окошко (Избранные стихи)» (2005); Михаила Григорьева (сборники «Сады Марии» (1997), «Сооружение храма» (1992) и др.

По мнению современных украинских исследователей, в лирике поэтов Киевской школы отразился настоящий драматизм народного бытия; вместе с тем, ориентированность на неомодерный тип творчества обусловливает определенную недоговоренность, нацеленность на читателя-«соавтора», способного довершить процесс создания поэтического образа в своем сознании. Так, сотканная из фантазийности, погружений в глубины психологии, сновидений поэзия Виктора Кордуна представляет собой целый мир — «персонализированный, масштабный, химерный, мистический», наполненный «энергией земли, которая заряжает человека», жаждущего «быть самим собой, жить в гармонии с природой, окружающим миром» [6, с. 77].

Для подобных концептуально-эстетических целей необходима была адекватная поэтическая форма, которую представители Киевской школы поэзии (*Київська школа поезії*) искали в более древней поэтической традиции, нежели силлабо-тоническое рифмованное стихосложение. Такой

формой для них стал свободный стих — верлибр, который оказался одной из доминирующих жанровых форм в поэзии Киевской школы и понимался ее участниками как сам принцип созидания поэзии.

Иной вариант воплощения неомодерных дискурсивных практик обнаруживается в творчестве «восьмидесятников», точнее, той части поколения, которая не принадлежит к ярко выраженным постмодернистам. По мнению Владимира Ешкилева, неомодерная составляющая украинского «восьмидесятничества», ориентированного на европейские культурные ценности, особенно на литературу поставстрийского пространства ХХ века (Георга Тракля, Франца Кафки, Милана Кундеры) стала более органичной частью текущего литературного процесса, нежели рефлексивный постмодерн [8]. Именно в неомодерном дискурсе осуществляется своего рода компенсация утрат украинской литературы, связанных с ее герметизацией и изоляцией от внешнего эстетического и художественного опыта (в рамках советской системы управления литературным процессом). Речь идет о подчеркнутом внимании к формальной составляющей произведения, о тяготении к синтетическому типу творчества, о концептуальном движении к индивидуализму урбанистического типа.

Постмодернизм (*англ*. postmodernism) как сложный комплекс философских, научно-теоретических, социокультурных и художественно-эстетических явлений в значительной мере повлиял на ландшафт европейской мировой культуры второй половины и особенно последней четверти ХХ века. В самом общем виде постмодерн рассматривается в нескольких плоскостях: как принципиально отличное от предшествующих эпох — «плюральное» — состояние общественной и культурной жизни, которая характеризуется многовекторностью путей развития; как своеобразный способ осмысления мира и роли человека в этом мире; как специфический феномен (направление) в искусстве.

Дискуссии о статусе постмодернизма продолжаются и сегодня, но в данной работе нам представляется целесообразным рассматривать его (вслед за российским исследователем Ильей Ильиным) в качестве специфического способа мировосприятия, мироощущения и оценки как познавательных возможностей человека, так и его места, роли в современном мире. Постмодернизм, возникший в буквальном смысле после модернизма как явление, с ним и связанное, и оппонирующее ему, стал результатом глубокого разочарования западного общества в идеологии исторического прогресса, сформулированной французскими просветителями XVIII века. В самом общем виде его ключевыми концептами стали:

- тотальный плюрализм (в том числе ценностный), критическое отношение к глобальным идеологиям; диалогизм;
- утрата веры в некий высший смысл человеческого существования, растерянность личности перед собственной экзистенцией;
- децентрированность как базовый принцип существования и осмысления любого явления, фрагментарность (в противовес целостности);
- мифологичность мышления (постижение действительности доступно только интуитивному — «поэтическому» — мышлению;
- сближение высокой и массовой культуры, эпатажность;
- взгляд на действительность как на театр абсурда; подчеркнутый интерес к маргинальности и вместе с тем элитарность.

В западной литературной традиции постмодернизм связывается, как правило, со специфическим «стилем письма», который отражает сложность, хаотичность, неравновесность, релятивность современного мира. Одной из важнейших черт постмодернизма становится радикальный пересмотр понятий «текст», «текстуальность». Мир в произведениях

писателей-постмодернистов предстает многоуровневым и многозначным Текстом, который возникает в результате игры. Игра в постмодернизме понимается как сложный полилог культур: текст, фрагменты которого находятся в сложных нелинейных взаимосвязях, сначала превращается в интертекст, потом в гипертекст. Постмодернизм — феномен цитатный по своей природе, он «играет» с уже известными эстетическими и художественными моделями. К числу ключевых его принципов принадлежат ирония и самоирония (пастиш), пародийность, углубленная рефлексивность, игра и карнавализация. Все вместе помогает наладить диалог с хаосом, найти компромисс между высоким и низким, целостностью и фрагментарностью, фантазией и реальностью, закономерностью и абсурдом.

Концептуально-ценностные ориентиры определяют стилевой эклектизм постмодерного искусства, который иные исследователи предпочитают называть стилистическим плюрализмом как результатом манифестации идей «открытого искусства», в пространстве которого свободно взаимодействуют все старые и новые стили.

Все эти черты в общем виде присущи и украинскому постмодернизму, хронологически соотносимому, как правило, со второй половиной 1980-х и 1990-ми годами. Вместе с тем, *постмодерный дискурс* в украинской литературе имеет целый ряд специфических особенностей.

Тамара Гундорова отыскивает истоки украинского постмодернизма в авангарде 1920-х годов, украинской химерной прозе и литературе диаспоры; специфика украинской версии постмодернизма связывается с посттоталитарным и постколониальным состоянием общества [2, с. 323—325]. Однако возникновение постмодернизма как особого феномена литературного пространства современной Украины большинство литературоведов связывают с творчеством представителей уже упоминавшихся выше литературных групп «Бу-Ба-Бу», «Пропала грамота», «ЛуГоСад», «Новая дегенерация».

Специфика украинского постмодернизма обусловлена рядом историко-культурных факторов и обстоятельств, в частности, некоторой его «запоздалостью» (относительно начала так называемой постмодерной эпохи в западной Европе), особенностями общественно-политической ситуации после обретения Украиной независимости в 1991 году, а также экзистенциальным и аксиологическим контекстом «постчернобыльского бытия».

В качестве особенностей постмодерного дискурса в Украине можно выделить:

● определенную преемственность с предшествующей историко-литературной традицией (национальной версией литературного модернизма первой трети XX века);

● национальную окрашенность: в отличие от вненационального или транснационального характера постмодернизма западного, украинский постмодерн имеет яркую национальную маркированность, что связано с включенностью в поиск национальной идеи в ситуации постколониальности;

● политичность, идеологичесскую «локализованность»: если в других странах посмодернисты смеются над понятиями и идеями глобального характера, то украинские писатели нацелены с помощью смеха вскрывать «рецидивы» советскости в сознании «постсоветского» человека;

● подчеркнутую эмоциональность, в некотором смысле — трибунность, манифестационный характер продвижения собственных идей и творчества;

● обращение к стилизации и иронии как к наиболее востребованным принципам и приемам творчества.

Общая нацеленность литературного сообщества на поиски национальной идентичности весьма интересно преломилась в постмодерном дискурсе. С одной стороны, исследователи обнаруживают в ряде произведений иронизирование над традицией и игру с символами национальной истории. С другой стороны, рассматривая украинский постмодернизм как явление постколониальной культуры, Богдан Рубчак, писатель, литературовед, эссеист, представитель старшего литературного поколения, делает вывод, что игра, карнавальность, ирония, другие элементы постмодернизма направлены прежде всего против негативных явлений в украинской культуре и политике. Это позволяет ему видеть в произведениях украинских постмодернистов то, чего нет у западноевропейских: веру в духовность народа и глубокий патриотизм [12]. Интересно также, что характерное для постмодернизма в целом сближение и смешение высокого и низкого, игра с традициями и иронизирование над классикой в украинском постмодернизме 1990-х привело, в числе прочего, к развитию массовой литературы, которая унаследовала от постмодернизма многие приемы.

Следует заметить, что плюрализм как один из основополагающих принципов постмодернистского мировосприятия в украинском литературном пространстве обусловил не только многовекторную полемику с предшествующей традицией и концептуально-эстетическими оппонентами, но и существование внутри самого постмодерного дискурса целого ряда разновидностей (ответвлений). Так, Тамара Гундорова в числе таких ответвлений называет ***гротескное*** (представлен творчеством Владимира Диброви, Леся Подервъянского, Богдана Жолдака), ***карнавальное*** (деятельность литературной группы «Бу-Ба-Бу»), ***апокалиптическое*** (наиболее ярко выражен в творчестве Юрия Издрика, Тараса Прохасько, Евгения Пашковского), ***попкультурное*** (самая яркая фигура — Сергей Жадан), ***популярное*** (Юрий Винничук), ***феминистическое*** (Оксана Забужко) [2].

Пожалуй, наиболее известным украинским автором постмодернистских романов является Юрий Андрухович (родился в 1960 году в Ивано-Франковске). Первые свои произведения он опубликовал в середине 1980-х годов, представив читателю себя и как поэта (сборники «Небо и площади» (1986), «Центр» (1989), «Экзотические птицы и растения с приложением “Индия”: Коллекция стихотворений» (1997), и как прозаика, дебютировав армейскими рассказами, написанными в середине 1980-х годов и опубликованными в журнале «Знамя» в 1989 году. В 1990-е годы в журнале «Современность» впервые были опубликованы романы, ставшие настоящим событием в литературном пространстве Украины того времени и причисляемые сегодня к так называемой «классике» постмодерна (в его восточноевропейском варианте). Речь идет, в первую очередь, о романах «Рекреации» (1992), «Московиада» (1993) и «Переверзия» (1996).

Роман «Рекреации», который вызвал неоднозначную реакцию читателей и критиков, стал своего рода практическим воплощением концептуальных ориентиров, манифестированных писателем еще в период возникновения «Бу-Ба-Бу». Сам автор говорил о том, что, работая над романом, он ориентировался на концепцию средневековой смеховой культуры как культуры «карнавализации», сформулированную известным советским литературоведом и философом Михаилом Бахтиным. Собственно, принцип «карнавализации» определяет сюжетно-композиционные особенности романа, где смешиваются реминисценции, образы и мотивы из разных историко-литературных эпох («Энеиды») Ивана Котляревского, романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, из произведений Николая Гоголя, Федора Достоевского). В романе Юрия Андруховича смех, пародия, ирония не сменяют друг друга, а столь тесно переплетаются, что создается

некий принципиально новый эффект, зачастую эпатирующий читателя, особенно воспитанного на благоговении перед классической литературой. Само название романа происходит от латинского *recreatio* — восстановление, перерыв для отдыха, и имеет сразу несколько смыслов, один из которых — «творить по-новому». Это у Юрия Андруховича действительно получилось. С помощью самых разных способов художественного моделирования реальности (включая использование цитатности и аллюзийности, сочетание реалистичности и карнавализации повествования, обращение к приемам украинской вертепной драмы и др.) ему удалось создать особый художественный мир. Этот мир заселен не только действительно живыми (объемными, оригинальными, неординарными) персонажами (образы поэтов Мартофляка и Юрко Немирича, режиссера Павло Мацапуры, Грицко Штундеры и др.), но и многофункциональными символами. По мнению украинских литературоведов, Юрий Андрухович с помощью своего произведения стремился изменить эстетическую стратегию украинского романа, обращаясь к речи, которая охватывает различные пласты языка, от довоенного галицкого говора до современного суржика. Причем самые разные языковые потоки сталкиваются автором, что создает непередаваемый комический эффект и одновременно является великолепным средством создания образов-персонажей, развития сюжета.

В силу всплеска в конце XX века в гуманитарном дискурсе постсоветского пространства интереса к теоретико-методологическим исследованиям феминизма и соответствующим художественным практикам, ***феминистическое*** ответвление в украинском постмодернизме иногда рассматривается в качестве самостоятельного дискурса. В центре творчества таких неординарных писателей, как Оксана Забужко, Нила Зборовская, Мария Матиос, Галина Пагутяк, Ирена Карпа, Любовь Пономаренко, Людмила Таран, София Майданская, Марьяна Савко, Евгения Кононенко, находится женщина как многомерный феномен, как некая особая вселенная, со своим особым онтологическим порядком (бытийностью) и экзистенциальными установками. Концептосферу феминистического дискурса в современной украинской литературе составляют понятия «феминности (специфической «женскости», безусловно, не равной «женственности») как структурообразующего понятия «инаковости женщины», феномен «женского письма» как особого способа художественного моделирования мира. Особенностью украинского литературного феминизма становится понимание самоидентичности женщины как хранительницы национальной духовности. Проблемно-тематическое поле феминистической художественной словесности охватывает и исследование собственно феноменологии «женскости» в разных измерениях (в онтологическом, экзистенциальном, персоноцентричном), в социокультурном, ценностном, эстетическом контекстах, и многовекторное осмысление гендерных отношений.

Одним из самых заметных представителей феминистического дискурса, а также постмодерного письма в целом, является Оксана Забужко (родилась в 1960 году в городе Луцке). Она издала ряд поэтических сборников «Майский иней» (1985), «Дирижер последней свечи» (1990), «Автостоп» (1994), «Новый закон Архимеда: Избранные стихотворения 1980—1998» (2000). Большой резонанс получил роман «Полевые исследования украинского секса» (1996), неоднократно переиздававшийся и переведенный на другие языки. Она также является автором повести «Сказка о калиновой сопилке» (1998), книги прозы «Сестра, сестра…» (2003, 2005), а также ряда философских, литературоведческих исследований и эссе [16, с. 181—182].

Прозу Оксаны Забужко, обращенную к детализированному и вместе с тем объемному изображению психологического состояния и душевного

мира героинь-женщин, часто называют «современной классикой», обнаруживая некое сходство на уровне мотивов и концептуальных ориентиров (вера в творческие, созидательные силы женщины, в ее способность все преодолеть во имя цели, которая для нее действительно значима) с творчеством других известных писательниц современности — лауреата Нобелевской премии из Австрии Эльфриды Елинек и английского прозаика Анджелы Картер.

Очень интересный феномен в смысле жанровой пестроты, полифоничности представляет собой творчество Марии Матиос. Дебютировав в начале 1980-х сборником поэзии «Из травы и листвы» (1983), издав книгу поэзии «На Николая» (1995), она начинает проявлять интерес к прозе, осваивая все новые и новые жанры. В 2000-х годах у нее вышли книги повестей «Жизнь коротка» (2001), историко-психологический роман «Сладкая Даруся» (2004), за который год спустя она получила Национальную премию имени Тараса Шевченко, сага в новеллах «Почти никогда не наоборот» и даже книга кулинарных рецептов «Фуршет от Марии Матиос». В смысле аксиологическом неизменно оставаясь приверженцем традиционных украинских ценностей, в плане художественно-изобразительном писательница как бы «раздваивается» между высокой и массовой литературой, чтобы показать жизнь в самых ее «невозможных странностях».

Современные украинские писатели-мужчины, конечно, тоже предлагают свой взгляд на взаимоотношения полов: стоит упомянуть, например, произведения «Закон зла», «Чертовка», «Лунная кукушка из Ласточкиного гнезда» Валерия Шевчука, «Переверзию» Юрия Андруховича. Однако по отношению к представительницам феминистического ответвления в данном случае речь идет не просто об обращении к теме взаимоотношений мужчины и женщины, но о попытке проникнуть в глубины оппозиционости феминности и так называемой маскулинности как порождению исторического доминирования «мужского» начала во всех сферах социальной и культурной жизни. В произведениях писательниц-феминисток «мужчиноцентричный» мир — это пространство постоянной борьбы для женщин, чаще всего, одновременной борьбы с самыми разными препонами, испытаниями, преградами, запретами, причем как внешними, так и внутренними.

Несмотря на разнообразие индивидуально-творческих стилей, в целом украинские постмодернисты представляют собой довольно последовательного и, в определенном смысле, единодушного коллективного «оппонента» реалистической концептуально-стилевой парадигмы. Понимание мира как хаоса, бесконечного карнавала, течение которого в любой момент может быть прервано самым неожиданным событием либо изменено в самом непредсказуемом ключе, отрицает саму возможность отражения жизни в формах самой жизни (как в общем виде иногда представляется суть реалистичного метода в искусстве), поскольку действительность оказывается бесформенной. Мир как хаос — вне формы, он не постигается рационально, его можно только прочувствовать (вспомним о понятии «постмодернистской чувствительности» как одном из ключевых для понимания теоретизирований постмодерного типа).

Так называемый ***заповетно-крестьянский*** дискурс, построеный на крестьянской ментальности и мироощущении, сформировался на основе художественных традиций реализма в украинской литературе с определенными вкраплениями романтизма и модернизма.

Структурообразующими концептами дискурса становятся понятия нации, традиции, государственности, земли, труда; знаковыми фигурами, олицетворяющими идеальное воплощение украинского национального

менталитета для представителей этого дискурса, являются Тарас Шевченко и Иван Франко.

В современном литературном пространстве специфика художественной модели мира так называемых писателей-«почвенников» нередко осмысливается через сопоставление их аксиологических, эстетических, стилистических поисков с соответствующими компонентами литературы постмодерной ориентации. В ходе такого контрастного («оппозиционного») сопоставления с особой очевидностью обнаруживается специфика художественного миропонимания «почвенников» и писателей со схожим мироощущением (Вячеслав Медведь, Евгений Пашковский, Василий Герасимюк, Игорь Римарук), для которых возрождение-воссоздание национальной аутентичной культуры и собственно литературы связано с художественной реконструкцией (воплощением в объемных литературно-художественных образах) украинства как многомерного феномена. Дух украинства, по убеждению авторов, ориентированных на поиск сущностных компонентов, характеристик национальной самобытности, в наиболее подлинном виде воплощен в крестьянском бытии, антологии села (деревни), которое воспринимается ими как метафора истинного украинского мира. Этот мир видится им последним оплотом гуманизма, в чем исследователи усматривают отголоски еще народнических принципов создания литературы, провозглашенных в XIX веке. При этом, как уже отмечалось ранее, чаще всего ключевые идеи и концепты заповетно-крестьянского дискурса воплощаются в художественных структурах и формах реализма, но реализма обновленного, обогащенного компонентами неоромантизма и ощущающего на себе влияние неомодерного дискурса.

Таким образом, сосуществование в едином литературном пространстве нескольких дискурсов, которые, с одной стороны, обладают очевидными концептуальными, ценностными, художественно-стилевыми различиями, но с другой стороны, оказывают друг на друга определенное влияние, приводит к формированию, точнее, своего рода «самоорганизации» литературы современной Украины как культурного и художественного феномена симфонического (полифонического) типа.

Литература:

1. Даниленко, В. Г. Лісоруб у пустели: письменник і літературний процес / В. Г. Даниленко. — Київ: Академвидав, 2008. — 352 с.

2. Гундорова, Т. І. Післячорнобильска бібліотека. Українськкій літературний постмодерн. Видання друге, виправлене і доповнене / Т. І. Гундорова. — Київ: Критика, 2013. — 344 с.

3. Поліщук, Я. Українська література періоду незалежности: тенденції розвитку / Я. Поліщук // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://litgazeta.com.ua/articles/ukrayinska-literatura-periodu-nezalezhnost-tendentsiyi-rozvytku/. — Дата доступа: 22.05.2018.

4. Пашковська, Л. Л. Творчість Г. Сковороди як феномен преромантизму / Л. Л. Пашковська // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. — 2014. — Т. 27 (66). — № 1. — С. 174—183.

5. Шаўлякова-Барзенка, І. Л. Сеціўная крытыка як літаратурны і камунікатыўны феномен / І. Л. Шаўлякова-Барзенка // СМИ и художественная культура: научное издание. — Вып. 5: Литературно-художественная критика в современном интернет-пространстве: сб. науч. трудов / под ред. Л. П. Саенковой-Мельницкой. — Минск: БГУ, 2016. — С. 118—124.

6. Масловська, Т. О. Поети київської школи / Т. О. Масловська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. — 2011. — № 2. — С. 76—79.

7. Сверстюк, Є. Шістдесятники і захід / Є. Сверстюк // Блудні сини України. — Київ, 1993. — С. 24—26.

8. Проект «Повернення деміургів». Мала українська енциклопедія актуальної літератури (МУЕАЛ). — Плерома. — № 3. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. — 287 с.

9. Гундорова, Т. І. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травмы / Т. І. Гундорова. — Київ: Грані-Т, 2013. — 548 с.

10. Павличко, С. Теорія літератури / С. Павличко. — Київ: Основи, 2002. — 664 с.

11. Позадесятники: Поетична антологія. Упор. О. Гордон. — Львів: Престиж-Інформ, 1999.

12. Мовчан, Р. В. Українська література: Підручн. для 11 кл. загальноосвітн. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / наук. ред. Р. В. Мовчан / Р. В. Мовчан, О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко. — Київ : Грамота, 2011. — 352 с.

13. Гутнер, Г. Б. Дискурс / Г. Б. Гутнер, А. П. Огурцов // Новая философская энциклопедия: В 4 тт.; Под ред. В. С. Степина. — Москва: Мысль, 2001 [Электронный ресурс]: Академик. — Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/337/%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1. — Дата доступа: 26.05.2018.

14. Павличко, С. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія / С. Павлічко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ: Либідь, 1999. — 447 с.

15. Сковорода, Г. С. Повне збірання творів: у 2-х тт. / Г. С. Сковорода. — Київ: Навукова думка, 1973. — Т. 2. — 576 с.

16. Гаев, Т. Українська література ХХ століття *(розгорнені конспекти лекцій) / Т. Гаев, Зоряна Гук.* — Белград, 2008. — 184 с.

Любовь ТУРБИНА

Творческий путь Михася Стрельцова — экзистенциальный аспект

Михась Стрельцов — один из самых многоплановых белорусских писателей, «с лица необщим выраженьем», недооцененный критикой как особое явление в белорусской литературе, зато наиболее ценимый молодыми авторами нескольких поколений. Многие прозаики в юности начинали как поэты, бывают прозаики, всю жизнь продолжающие писать и печатать стихи, например, Иван Бунин; народный писатель Беларуси Янка Брыль сопоставил Стрельцова именно с Буниным не только по этому признаку, а в первую очередь, как великолепного стилиста и мастера малых форм прозы. Проза Стрельцова несет ощутимый элемент поэтичности, а стихи, которые он начал писать поздно, когда перестал писать прозу, полны прозаизмов. Кроме того, Михась Стрельцов на редкость чутко реагировал на изменения общественного климата, но имел при этом мужество оставаться самим собой.

Нет другого автора в белорусской литературе, до недавней поры деревенской преимущественно, герой которой существовал в первую очередь в природе — даже если он городской житель. Он растворен в ней настолько, что без природы просто не может начать писать: для него важно и время суток — темно ли, светло ли на дворе, какая погода, и уж тем более — в какое время года все происходит.

Однако почти все написанное Стрельцовым до рассказа «Смоление вепря» укладывается в русло так называемой лирической прозы, хотя и со своим, только этому автору присущим душевным ладом, а также с изощренным, не линейным даром сюжетосложения. А вот «Смоление вепря» — это прорыв в экзистенциализм: изображается жизнь вполне будничная, практически бессобытийная, и при этом возникает представление об изначальной трагичности бытия. Попробуем это доказать. Прежде всего обнажается прием — автор начинает с того, что давно собирался написать рассказ и назвать его «Смоление вепря», он делится с читателем этим замыслом прямо у нас на глазах: поначалу описывается район в городе, где жил он юношей, только что приехавшим из деревни; незаметно, через воспоминание, действие переносится в деревню. Как всегда у Стрельцова точно обозначены время дня (закат) и время года — «в ту пору, когда в деревне свежуют свиней».

Далее, описывая эту пору в деревне во всех ее бытовых подробностях («запах мерзлых щепок в дровянике», «тарахтенье тракторишки возле фермы», «стылый звон колодезного ведра»), автор фиксирует неожиданное включение пласта природного, неуправляемого людской волей, несущего неотвратимое: «упругий

выпад налетевшего наискосок ветра», — а надо всем этим «надменное, затаенное молчание земли, травы и холодного, шершаво-синего неба» (1).

В этом месте своего повествования автор лукаво признается, что хотел бы все это увести в подтекст, но не знает, как это сделать. Однако настроение уже создано, память читателя разбужена, а это и есть подтекст, можно идти дальше.

Описывая давящую тяжесть в душе хозяина, готовящегося убить кабана, суетливую тревогу хозяйки, которая передается самому вепрю, автор ухитряется в этом месте быть одновременно и жертвой, и палачом. Так ему удается передать самую важную, трудноуловимую сущность изображаемого — о единстве всего живого в мире перед лицом смерти, о том, что никому не избежать судьбы: ни человеку, ни вепрю.

Автор подробно описывает бытовые, будничные детали — ведерные чугуны с водой в печи, сани, на которых везут вепря, — и тем подчеркивается не утраченный современной деревенской традицией ритуальный, жертвенный характер забоя домашней живности.

И снова герой в городе, и не вепрь — малая птаха помогает ему остро ощутить сиротливое единство в богооставленном мире, уязвимость и неприкаянность жизни, а также — да, это так, — бесполезность, бессилие любви. И уже человек чувствует, будто кто-то стоит за его спиной, глядя на встрепанного птенца; он вспоминает о матери, «о растраченной понапрасну силе его любви, которая, может быть, никого не согрела».

Затем идет описание длинного тревожного сна, где впервые в рассказе появляется зримо мать автора — «она повернула к нему голову — о, какой темный, невидящий, тяжелый, словно всплеск воды в ведре, у нее взгляд!»

И все ритуальные принадлежности тоже присутствуют в том сне: чугуны с водой, солома, лукошки, пуня. А на другой день автор получает телеграмму из деревни о смерти матери. Вот и весь рассказ.

Последние строки, звучащие как «чур меня, чур» автора, в чем он сам и признается, — это тщетная попытка одной фразой снять, отменить трагичность, безысходность, экзистенциальную природу человеческого существования, не зависящую от внешних условий и обстоятельств жизни… О трагичности будничной, вполне мирной жизни прежде не писали в белорусской литературе, на земле, пережившей за XX век несколько вражеских нашествий, преодолевающей их одно за другим: о трагичности жизни как таковой фактически некогда было задуматься.

Великий испанский поэт Федерико Гарсия Лорка в статье об андалузских колыбельных песнях писал, что они вводят в подсознание засыпающего ребенка «всю грубую реальность мира, заставляя проникнуться всем драматизмом его» (2). Вот таким же эффектом действия на подсознание обладает и проза Стрельцова, особенно в этом рассказе.

Прогностическая чуткость художника конца XX века нащупала трещину в душе современника, ту самую щель сомнения в спасительной силе любви и добра, которую он пытается этим откровенным рассказом закрыть, как голландский мальчик — дыру в плотине пальцем. Иначе хлынувшая разрушительная стихия океана может все разрушить и затопить землю, а разъедающие душу сомнения — ее погубить.

Написав этот рассказ, Михась Стрельцов больше не писал прозу, только стихи. Вот как он сам это объяснил в своем последнем интервью: «После книжек прозы и критики я, для многих неожиданно, стал утверждать себя как поэт. Признаюсь, это было нелегко. Забота всякого слова — кратчайший путь к сочувствию, к собеседнику. Понятно, что и средства (жанр) предлагаются самые кратчайшие. Современный французский поэт Рене Шар как-то сказал: «Поэт на своем пути оставлять должен не доказательства, а следы. На доказательства у поэзии просто нет времени» (3). Стрельцов предчувствовал, что времени у него действительно осталось в обрез, — 1987 год — год его полувекового юбилея — стал для него последним.

«Ему казалось, что не может быть на свете человека, который, узнав, не полюбил бы его — ну хотя бы за эту его жажду сочувствия и ласки, не для себя только — для всех!..» (1).

Эти слова из все того же знаменитого рассказа — своеобразный словесный автопортрет художника; все, кто лично знал писателя, это подтвердят. Но и о его раздвоенности, о несовпадении с самим собой им тоже немало написано, например, в этом стихотворении из его последней книги стихов «Мой свете ясный» (4):

Под шорох капель дождевых
Стоял он в будке телефонной,
А ветра резкого порыв
В листве запутался зеленой.

Но наблюдал он не спеша,
Как ветер ветки гнет нещадно,
Лечилась будто бы душа,
И даже было ей отрадно,

Что одобрения не ждал,
Бесился ветер этот прыткий
Над городом — и в клочья рвал
Плащи, и юбки, и накидки.

Из этой будки под дождем,
В своем отчаянье великом
Себя — за дальним рубежом
Увидел вдруг — и не окликнул.

Не захотел или не смог…
И, чудом вырванный из мрака,
Тот, прежний, юн и одинок,
То ли смеялся, то ли плакал.

Но в этом городе чужом,
Что был своим давно, вначале,
Иным омытые дождем.
Иначе листья трепетали.

Вот что пишут (и писали о нем, живом!) белорусские писатели, его ровесники и друзья по «филологическому поколению»; например, со свойственной поэту краткостью и образностью написал Рыгор Бородулин: «Михась Стрельцов дал интеллектуальное начало современной прозе, глубину нашей эссеистике, широту, горизонтность — критике, акварельность и одухотворенность — поэтическому слову. К его оценке прислушивались все — от Янки Брыля и Пимена Панченко до самых молодых фрондистов в прозе и поэзии. Где бы ни работал Михась Стрельцов, к нему очередь была, как после войны на мельнице» (5).

Более взвешенно с дистанции времени рисует портрет М. Стрельцова белорусский прозаик Анатоль Кудравец, посвятивший ему отдельный очерк в книге «За дальним причалом» (кстати, взявший в название книги строку из стихотворения интересующего нас автора): «Если бы меня просили одним словом обозначить, кто он, Михась Стрельцов, в литературе, я бы сказал, что он — поэт одиночества. Одиночества не как модерна, не как позы, а как человеческой сущности, как составной части «пакутнага духу». Данное белорусское слово переводится на русский как страдание, мука, но перевод не совсем точен: понятие это вбирает в себя всего человека, выражает состояние его души, его самость — деликатность, интеллигентность, хрупкость, природную музыкальность и болезненную реакцию на всякий внешний диссонанс, — оно более всего сродни было стрельцовской натуре.

Сердце поэта печалится всегда. Особенно щемящая печаль ощущается перед уходом человека в дорогу, с которой не возвращаются» (6).

«Пакутны» с белорусского точнее всего следует перевести как «удрученный».

Чуткий писатель, Анатоль Кудравец пишет так о Стрельцове не потому, что его уже нет. Была в нем при жизни это «щемящая печаль» в глазах, ее видели все, кто с ним общался.

Михась Стрельцов приобрел известность в ранние 60-е годы, проявив себя сначала в жанре прозы, затем в критике: уже самые первые рассказы Стрельцова отличались исключительной стилистической тонкостью и «психологической субтильностью», по выражению Арнольда Макмиллина, автора интересной статьи о писателе (7).

Особо необходимо отметить, что писателю удавалось уже в самых ранних своих произведениях избегать лобовых решений и линейных приемов в трактовке таких тем, как отношения между городом и деревней, деревенские обычаи в жизни урбанизированных сельских жителей. А также отчуждение молодых людей от родовых, почвенных традиций и одновременно их идеализация в сознании.

Писатель достигает своих целей, используя в первую очередь только ему присущие импрессионистические, акварельные тона. Михась Стрельцов был одним из самых талантливых белорусских писателей последних десятилетий советского времени. «Выдающееся творческое наследие «лирического писателя с мощным и глубоким моральным инстинктом будет жить даже тогда, когда описанные им поколенья и многие их проблемы останутся далеко в прошлом», — пишет о нем в своей статье Арнольд Макмиллин.

Михась Стрельцов родился в деревне Сычин (1937) Славгородского района Могилевской области в семье учителя. В 1959 году окончил отделение журналистики филологического факультета БГУ, работал в газете «Літаратура и мастацтва», в журналах «Полымя», «Маладосць» и «Нёман». Безвременно, отметив пятидесятилетие, умер после тяжелой болезни 23 августа 1987 года.

Дебют Стрельцова-прозаика состоялся в 1957 году, когда на страницах журнала «Маладосць» был напечатан его рассказ «Дома». Через пять лет вышел первый сборник рассказов «Голубой ветер». Затем через неравномерные промежутки выходят книги М. Стрельцова «Сено на асфальте» (1966), «Один лапоть, один чунь» (1970), «Путешествие за город» (1986), избранные произведения «На память о радости» (1974), «Избранное» (1987). Михась Стрельцов является также автором четырех стихотворных сборников: «Можжевеловый куст» (1973), «Тень от весла» (1979), «Сегодня и завтра» (1983), «Мой свете ясный» (1986). За последнюю книгу поэзии ему посмертно была присвоена Государственная премия Беларуси имени Янки Купалы (1988).

Большинство литературно-критических статей, которые свидетельствуют о глубокой эстетико-этической проницательности писателя, собраны в его книгах «Жизнь в слове» (1965), «Загадка Богдановича» (1968), «В поле зрения» (1976), «Печать мастера» (1986). Михась Стрельцов перевел на белорусский язык роман Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» (1987), а также отдельные произведения русских, украинских, итальянских и латиноамериканских поэтов.

Первый же сборник писателя «Голубой ветер» не был обделен вниманием критики, в частности, рассказ «Перед дорогой», который отмечался как характерный пример бессюжетного потока сознания, наполненный богатым внутренним содержанием. Трое горожан-земляков ждут, когда кончится дождь, чтобы вернуться в город. Пока они разговаривают между собой, мы наблюдаем за ними под углом разных, незаметно меняющихся перспектив; диалоги вполне прозрачны и реалистичны. В то же время мысли персонажей, параллельные диалогам, раскрывают непростые и совершенно различные миропонимания.

Так, Семен Захарович, участник войны, рассказывает о своих отношениях с женой, о том, как суметь не перейти ту черту, за которой «коса находит на

камень», а сам мысленно возвращается в свою военную молодость. Параллельно его жена вспоминает тяжелое время войны и свой горький опыт горожанки, вынужденной, чтобы спасти детей, стать крестьянкой и справляться с непривычной, непосильной работой, пока муж на фронте. Молодому пареньку Савченко не пережитая им война кажется не совсем реальной, а чем-то захватывающим и увлекательным, как приключенческий роман. Семен Захарович чувствует, что он прожил две жизни, одна из которых прошла на войне. В его памяти встает воспоминание о безмятежной гладкости моря и всего окружающего пейзажа во время жестоких боев под Севастополем — писательский прием, близкий к тому, который использует Л. Н. Толстой в «Севастопольских рассказах».

Нельзя не согласиться с Вячеславом Иващенко, что, несмотря на отсутствие прямого действия и явно драматических обстоятельств, этот ранний рассказ Стрельцова является одним из лучших примеров короткой прозы в белорусской литературе (8).

Однако окончательно М. Стрельцов утвердился и обратил на себя внимание критиков следующим сборником — «Сено на асфальте». В этой книге его художественное мастерство поэтичного, тонкого и психологически проникновенного писателя очевидно. При характерном для Стрельцова отсутствии актуальных сюжетных элементов произведения эти богаты содержанием внутренним: центральную роль в них играет музыка слов, успешно работает на гармоничность формы, настроенность и тонко нюансированные полутона повествования. В большинстве случаев рассказы построены на внутренних коллизиях и контрастах: между городской и сельской жизнью, между молодостью и старостью, между культурой и хамством. Несмотря на тонкую меланхолию некоторых рассказов, во всей ранней прозе Стрельцова высвечивается оптимистическое предчувствие, которое каким-то образом выживает в трагическом мире.

Оригинально аранжированный рассказ, давший название второму сборнику М. Стрельцова «Сено на асфальте», был написан в 1963 году. Его заглавие выразительно намекает на нелегкие отношения между двумя мирами — городом и деревней, а также на трудности тех, на чью жизнь пришлись коренные перемены при переселении из одного окружения в другое. В рассказе Стрельцова нет того осуждающего тона, с которым мы встречаемся в рассказах другого писателя, заинтересованного теми же темами, — Сократа Яновича, с его известной формулой «хам на паркете».

Стрельцов пользуется внутренними голосами, которые тонко дополняют портреты персонажей с их тайными мыслями и внешними хлопотами. Главный рассказчик определяет дихотомию города и деревни следующими словами: «Мне хотелось, давно хотелось примирить деревню с городом в своей душе, и это было моей тайной и самой любимой мыслью». В конце рассказа он замечает клочок подсохшего сена на тротуаре, который все еще пахнет лугами и летом: «Сено на асфальте, — подумал я. — Вёска в городе» (1).

Композиция рассказа тоже весьма прихотлива: писатель начинает с лирического письма к давней подруге, которая далее не появляется в рассказе, но с помощью этого письма читатель получает первое впечатление о характере героя: романтичного, скромного, далекого от самоуверенности. Структура рассказа складывается из дневниковых записей в дополнение к письму и прямому авторскому тексту, она целиком подчиняется желанию автора постепенно раскрыть созерцательный мир героя и его попытки самоанализа. Подобная композиция в русской литературе вытекает из прозы Михаила Лермонтова, его роман «Герой нашего времени» — первый пример подобной усложненной композиции, а надо сказать, что Стрельцов, вслед за Янкой Брылем, был одним из самых начитанных писателей в белорусской литературе. Имена русских и зарубежных писателей часто возникают на страницах его критики и эссеистики: кроме того, ему присуща известная внутренняя родственность с европейскими писателями середины

XX века — это и уже упоминавшийся Ф. Г. Лорка и еще — Антуан де Сент-Экзюпери, тоже написавший не так много, но все написанное им обладает повышенной духоподъемностью.

Невозможно не привести одну короткую цитату из повести «Ночной полет»: «Фабьену хотелось бы поселиться здесь надолго, хотелось бы получить здесь свою долю вечности» (9). Это мысли пилота, человека, глядящего на землю сверху, управляющего огромной машиной и обремененного повышенной ответственностью. Однако выражение «получить свою долю вечности» необычайно адекватно выражает что-то главное в мироощущении Стрельцова-писателя, роднящее его с автором приведенной цитаты, всемирно известным французским писателем-летчиком:

На землю я взглянул тогда
Где все остались человеки,
И ощутил, что навсегда
Люблю поля, пролески, реки…
Что я хотел, что я хотел?
И сердце вдруг от боли сжалось:
Мне снилось: сам я отлетел —
Душа отстала и здесь осталась (4).

Михась Стрельцов, в отличие от Янки Брыля, который был связан по рождению с несколькими странами и много ездил с писательскими группами после войны, почти не покидал Беларусь. Но он был подлинным европейцем по ментальности и культуре; в нем не было ни грана национальной ограниченности, уязвленного самолюбия, предшествующего самодовольству. Русская поэзия XIX века и первой половины XX века была для Стрельцова, если так можно сказать, родным домом — это чувствуется по его собственным стихам; в то же время многим приходилось слышать, как он читал наизусть Тютчева, Лермонтова и Заболоцкого часами. Укорененность поэтического наследия Стрельцова в русской поэзии позволила автору данной статьи исследовать пушкинские мотивы в поэзии Георгия Иванова и Михася Стрельцова (10).

В практиковавшихся регулярно литературных обзорах (например, в книге Алеся Адамовича «Горизонты белорусской прозы») имя М. Стрельцова идет первым из писателей «филологического поколения», наиболее чутко реагировавших на запросы времени, одновременно никогда не жертвующих образностью во имя доказательства любой из абстрактных идей в своем художественном наследии (11).

Все разнообразие тематики и стилистики писатель связывает в единое поэтическое повествование с психологическим разнообразием персонажей, с их постоянными воспоминаниями, а также с глубоко личным представлением о высшей ценности мира природы.

Рассказ из книги «Сено на асфальте» под названием «Гость» показывает нерешительного паренька в переходный момент между прошлым и будущим, между деревней и городом; с помощью не менее сложных композиционных приемов автор приводит читателя к однозначному выводу: «однажды покинув деревню, теряешь дорогу назад» (1).

В рассказе «Свет Иванович, бывший донжуан» — в самом сложном из всех составивших второй сборник писателя, повествование ведется от лица человека достаточно взрослого, неспокойного, невольно наводящего на мысль об «автопортрете», когда пишет он о сложных отношениях с миром, с молодым поколением и особенно с женщинами, которых он любил. Необычный для автора резкий, чисто прозаический тон включается с начала рассказа: «В телефонной будке были двое, и я ненавидел их». Одним из положительных качеств героя-нарратора является его ирония, направленная не только на окружающих, но в первую очередь на самого себя. Несомненно, здесь чувство жалости к себе и экзистенциальное

отчуждение героя появляется в прозе М. Стрельцова впервые; а герой именно этого рассказа является предтечей повествователя лучшего, последнего рассказа этого автора «Смоление вепря»…

Некоторыми особенностями характера, особенно теми, которые он проявляет в отношениях с женщинами, Свет Иванович напоминает лермонтовского Печорина. Это эскиз мужского эгоистичного самоанализа, нетипичный для большинства персонажей произведений Стрельцова — хотя бы отсутствием в нем поэтического начала: когда заблудившийся мужчина вспоминает свою молодость, он думает не о покое сельских пейзажей, а только про время, когда он был таким же «молокососом», как и те, которыми он сейчас окружен.

К теме детства писатель обращается в двух выдающихся произведениях разных лет — первое из них, «На четвертом году войны» (1964), свидетельствует о больших возможностях Стрельцова — детского психолога, а также о его умении создавать смешанное настроение пафоса и поэзии при помощи тонкого недоговаривания. Повествование принадлежит мальчику, который живет с мамой и бабушкой в суровых условиях и еще не знает, что его отец погиб на войне. Бабушка отшлепала внука за то, что он отщипнул без спроса горбушку хлебушка, испеченного из картошки и ячменя; мальчик убегает от обиды и стыда; прячется в чулане, наблюдая оттуда, как мама и бабушка, охваченные тоской о муже и сыне, не могут сдержать слез. А мальчик думает с раскаянием, что плачут они из-за его своевольства. Это недоразумение придает рассказу дополнительный пафос, который позволяет избегнуть прямой сентиментальности. В последних строчках рассказа мальчик понимает, какая тонкая черта отделяет его от мира взрослых и что, поняв это, надо брать на свои плечи недетскую тяжесть: «Не плачьте!.. Я не буду трогать хлеба… Я не боюсь Митькиного “полицая”… Мама, это я так тогда плакал, а ты не плачь...» Это было на четвертом году войны» (1).

«Один лапоть, один чунь» (1966) — второе многостраничное произведение про детство, действие которого происходит в суровые послевоенные годы. Эта повесть — одно из самых значительных произведений автора, и в 1987 году писатель выделил его в отдельный сборник, куда вошло также его блестящее эссе про Максима Богдановича. Повесть «Один лапоть, один чунь» пересказана с точки зрения семилетнего мальчика Иванки, который живет с озлобленной овдовевшей матерью и добрым, всепрощающим дедом Михалкой. Описывая детские чувства, Стрельцов умело избегает фальшивых нот и сентиментальности, демонстрируя подлинное мастерство повествователя. Внимание читателя притягивается характерным для писателя сочетанием лирического тона и пристального внимания к конкретным жизненным деталям и состояниям, как, например, в описании детского чувства постоянного голода; повесть выявляет способность писателя проникнуть в особенности детского миропонимания и рисует щемящее — достоверную картину послевоенной деревенской жизни.

И вот мы снова возвращаемся к последнему примеру прозы М. Стрельцова, за которым произошел его бесповоротный переход от прозы к поэзии. «Смоление вепря» (1973) — мощное, трагическое произведение. Есть в нем ключевая для Михася Стрельцова мысль о том, что злого тоже надо пожалеть «хотя бы за то, что он злой». Именно этот рассказ, как один из лучших в белорусской послевоенной прозе, по праву переведен на многие языки мира.

Думается, что в судьбе Михася Стрельцова особенно четко отразилось само движение общественной мысли в последние тридцать лет — взлеты и спады, топтание на месте и упрямое, вопреки всему, продвижение вперед. Беззащитность человека в безбожном мире, где любовь даже к матери оказывается бессильной и ненужной, — таково итоговое экзистенциальное переживание последнего прозаического произведения автора.

В этом новаторском повествовании, в котором описывается рождение и процесс писания прозы, более, чем в его прежних вещах, ощущается присущая

М. Стрельцову многоплановость. Рассказ отличается от более ранних тем, что здесь в сложной и даже частично забавной игре переплетаются и взаимодействуют все его главные темы, наполненные страстью, тревогой и душевной болью. Это противоречивость миропонимания автора, разрываемого между потерями и преимуществами пребывания в городе и пребывания в селе, между молодостью и старостью, и — впервые, отчетливо прописанное дихотомическое противостояние жизни и смерти.

Последним своим рассказом «Смоление вепря» Михась Стрельцов как будто исчерпал для себя изобразительные возможности прозаических жанров. Важно подчеркнуть, что вся проза Стрельцова, включая его критические статьи, отличается стилистической утонченностью и лирической поэтичностью; и наоборот, в его поэзии, жанре, к которому он обратился позже, встречаются неожиданные прозаизмы, хотя лирический герой в стихах остается тем же — тонко чувствующим и требовательным к моральной составляющей изображаемого. Это позволило А. Макмиллину озаглавить статью, посвященную творчеству писателя, опубликованную в журнале «Тэрмапілы»: «Михась Стрельцов — поэт в прозе и поэзии».

Авторитетный на тот момент писатель и рачительный критик Алесь Адамович весьма неодобрительно отнесся к «переквалификации» Стрельцова-прозаика в Стрельцова-поэта, но в целом критика неплохо встретила уже первый его сборник «Можжевеловый куст». В его последнем сборнике стихотворений «Мой свете ясный» охвачен широкий диапазон тем: некоторые из них уже знакомы читателю по более ранним произведениям поэзии и прозы, иные выглядят свежими откликами на ситуации, мысли и открытия; впечатляет также разнообразие формы и стиля стихов. Интересно отметить, как телефонная будка из рассказа «Свет Иванович, бывший донжуан» снова появляется в одном из лучших стихотворений сборника, процитированном выше. Только в рассказе будка представлена центром агрессии и обиды, а в стихотворении — тихим пристанищем, под защитой которого герой размышляет и морально ориентируется в ранее близком, а теперь чужом для него городе.

Поэзия Стрельцова тяготеет к «природоцентризму», действительно, природа присутствует в каждом из его стихотворений, многие поднимаются до философских обобщений, что не декларируется напрямую ни формой, ни стилем этих стихов. Поэт передает свои идеи с мягкой ненавязчивостью, и в результате читатель откликается на них не интеллектуально, скорее подсознательно, чувствами. Уже говорилось про особенность, индивидуальность, даже автобиографичность прозы Стрельцова; некоторые его стихи также напоминают отрывки из авторского дневника, полные рассуждений о творчестве, оценок и осмысления собственного жизненного опыта:

Зачем тревожим мы былое,
И что притягивает взгляд,
Когда, уже короче вдвое,
Дорога клонится на спад?

Тот бег босой по ранним росам,
Или, когда закат потух, —
То гул шмеля густоголосый,
Иль пригуменная береза,
Или бессмертный хлебный дух?

Как будто это в утешенье,
Как тяжкой думы облегченье
От прежней жизни нам дано —
Мгновенье… Но и жизнь — мгновенье,
И что пред вечностью оно? (4)

Поэтический дар Стрельцова несомненен, и трудно согласиться с утверждением Алеся Адамовича, что проза Стрельцова важней его поэзии, однако учитывая то, что на протяжении XX столетия белорусская литература была более богата поэзией, чем качественной художественной прозой, можно понять досаду Адамовича, что такой оригинальный прозаик перестал писать прозу. Понятно, что с этой точки зрения глубоко психологические рассказы Стрельцова — особенно ценный вклад в белорусскую литературу.

Безусловно, все написанное Михасем Стрельцовым отличается неповторимой лирической отточенностью и ненавязчивой моральной доминантой. Творчество Стрельцова — глубоко индивидуально и субъективно, но одновременно он был необычайно чуток к ощущениям тех, кто рядом, и основную тональность его произведений можно обозначить как жизнеутверждающую.

Безвременная смерть Михася Стрельцова, который находился в хорошей творческой форме, лишила Беларусь необычайно талантливого и многообещающего писателя.

Иные имена взошли ныне на поле белорусской словесности, никакие современные изыски ей не чужды. Издаются, к примеру сборники белорусских хокку, авторы учитывают опыт европейского и не только европейского постмодернизма. Но присущее Стрельцову, кроме всех прочих достоинств, взаимопроникновение поэзии и прозы делает его одной из самых значимых фигур современного белорусского литературного процесса.

Есть способы выражения национального духа без деклараций, через тонкие и сложные проявления национального характера. Это в полной мере удалось сделать М. Стрельцову в совокупности всего им написанного — и в стихах, и в прозе, и в эссеистике присутствуют и высокий уровень мышления автора, и врожденное эстетическое чутье.

Переводы стихотворений Стрельцова, приведенные в данной статье, выполнены ее автором.

Литература:

1. Стрельцов М. Журавлиное небо. Москва, «Известия», 1973. Стр.143, 177, 66, 27.

2. Лорка Ф. Г. Об искусстве. «Искусство», Москва, 1971. Стр. 34

3. Стральцоў М. Пячатка майстра. Мінск, «Мастацкая літаратура», 1986. Стр. 190.

4. Стральцоў М. Мой свеце ясны. Мінск, «Мастацкая літаратура», 1986. Стр. 56, 30, 34.

5. Бородулин Р. Из чистых криниц. «Знамя Юности», 14.02.1988.

6. Кудравец А. За дальнім прычалам. Менск, «Медисонт», 2007. Стр. 99.

7. Макмілін А. Міхась Стральцоў — паэт у прозе і паэзіі. «Тэрмапілы», № 6, 2002.

8. Иващенко В. Круги надежды и добра. Мінск, «Мастацкая літаратура», 1983.

9. Сент-Экзюпери А. «Земля людей». Москва, «Худ. лит.», 1957. Стр. 19.

11. Адамович А. Горизонты белорусской прозы. Москва. «Сов. писатель», 1974. Стр. 31.

10. Турбина Л. Пушкинские мотивы в поэзии Георгия Иванова и Михася Стрельцова. «Пушкин и мировая культура», часть 2. Минск, РИВШ, 2009. Стр. 41.

Витовт ЧАРОПКА

Его Величество Поэт

Есть люди, кого уже при жизни признают великими, в том числе и великими писателями. В нашей литературе такими были Купала, Колас, Богданович, Мележ, Короткевич, Быков.

Однако есть писатели, создающие мифы о своем величии и особой исключительности. Не надо их путать с провокаторами личной славы, которые сознательно подставляют себя под удары судьбы, чтобы только о них вспоминали. Типичный пример — Славомир Адамович. А самым большим мифотворцем своей исключительной личности, без сомнений, считается Анатоль Сыс. Говорят, что Сыс не оставил следа в литературе, его поэзия не поднялась до уровня хотя бы Дубовки или Жилки, Сербантовича или Дергая. Он бы так и остался поэтом среднего уровня, если бы не наследил там, где появлялся, как серая туча с громами и молниями, — в баре Дома литератора, редакциях журналов и газет, квартирах знакомых и незнакомых собутыльников, мастерских художников, — везде он выпивал, паясничал, бредил стихами и пугал тех, кто не знал его. Вот об этом дружно и вспоминают. Не о его творчестве, не о загубленном, растраченном впустую поэтическом даре, не о его драматической судьбе, а именно о гримасах и пьяных выходках и выкрутасах вечно хмельного поэта. Пьяных выходок или просто стеба либо эпатажа у Сыса хватало. Например, проходит некое торжественное заседание писателей в доме на Фрунзе, 5. В президиуме за длинным столом восседают уважаемые мэтры во главе с Иваном Шамякиным, который сияет золотой звездой Героя Соцтруда на пиджаке. Все чин чином — серьезно и ответственно, выступают ораторы, зал молча, сдержанно слушает их. Мэтры гордо посматривают на серую писательскую массу, радуясь в душе, что им удалось выбраться из этого болота на спасительный берег сцены президиума. Теперь они уже избранные, почти бессмертные, к их слову прислушиваются. И тут, как черт из табакерки, в зале появляется сам Анатоль Тихонович с объемистой кастрюлей борща в руках и прется прямо на сцену к мэтрам, ворчит своим басисто-хриплым голосом: «А миленькие вы мои, сидите неевшие, никто вас не покормит, котиков. Не дам вам умереть голодной смертью». Ставит на стол кастрюлю и начинает подносить черпак с красным варевом ко ртам уважаемых мэтров. «Подкрепитесь, миленькие мои». Мэтры сконфуженно краснеют, отказываются, отводят рты от пышущего сытостью борща. И никто не прикрикнет

на нахального благодетеля, не поставит его на место, чтобы не спровоцировать на истеричную речь или шоковый поступок, а в зале смех. Молчаливая масса оживилась. Такого спектакля не увидишь в театре! Здесь один гениальный актер — Сыс, который играет с мэтрами, как с неразумными детьми. Назавтра в редакциях литературных журналов только и разговоров, как Сыс спасал от голодухи уважаемых мэтров, укреплял силу белорусского писательства борщом. И таких случаев можно привести немало. «Кто ж меня знал бы и читал, если бы про меня не говорили. Вот и дурачусь, выкидываю коней», — признавался мне Анатоль. Думаю, что не это толкало его на дурачество. У Анатоля было болезненное желание находиться всюду в центре внимания: на свадьбе — женихом, на похоронах — покойником, классиком среди поэтов, тамадой в дружеской беседе и т. д. Поэтому для него не существовало авторитетов, кроме своего. Старшие писатели его остерегались и разрешали ему панибратствовать, одногодки, например, Глобус и Ко, относились к Анатолю снисходительно, как к фигляру, и не воспринимали его серьезно, подозреваю, что и за поэта не считали, во всяком случае, его музу относили к деревенской *кабеце* 20—30-х годов XX века, когда она насыщала вдохновением Жилку, Дубовку, Пущу и других поэтов-возрожденцев. Глобус и его приятели считали себя авангардистами, а Сыс под авангард никак не подпадал. Зато молодежь (молодняк с филфака) тянулась к нему, как к легендарной личности, которая благословит их в литературу. Он по-царски милостиво осушал рюмки, кружки и бокалы с начинающими и не хвалил их за стихи-нескладехи, потому что хвалил себя. «Чушь написал, учись у меня, деточка, писать. Ай, лучше бы ты не писал, все равно лучше меня не напишешь». Миф о себе как о не едва ли гениальном поэте срабатывал, и многие, в том числе и он сам, поверили в его гениальность и исключительность, приняли призрак за реальную фигуру. А патриотическая фразеология создала ему образ борца-возрожденца, и в начале своего творчества он стремился если не быть им, то хотя бы казаться. Своей неспокойной натурой он всколыхнул затхлую атмосферу писательского сообщества. Он наполнил коридоры и кабинеты Дома литератора свежим веянием деревенских запахов, смехом и громкими голосами, оживил мертвую тишину литпроцесса и литруководства. Он не признавал принятых условностей и этикета, даже простой порядочности или скромности, рассматривал этот мир как некую несуразную условность, где не нужны ни приличие, ни этикет, потому что люди должны жить, как в его деревне, по-братски, по-свойски, не стыдиться друг друга, не чураться, не чуждаться, поэтому и обходился со всеми панибратски. И некая призрачность мира позволяла ему играть с судьбой, испытывая ее долготерпение своими выходками.

Анатоль имел все задатки вырасти в действительно великого поэта даже за то короткое время, которое отмерила ему судьба, если бы продолжал писать и ответственно отнесся к своему поэтическому таланту. На это ему не хватило сосредоточенности и серьезности. По натуре он был лидером, харизматичной личностью, хотел возглавить литературную группировку «Тутэйшыя», и надо признать, для становления ее сделал немало. Боролся за лидерство с Глобусом и его подручными. Но как человек импульсивный и неустойчивый в скором времени остыл к «Тутэйшым». Да и сами «Тутэйшыя» исподволь разошлись кто куда. Лидеры получили свое: Глобус — членство в Союзе и книжки, Сыс — квартиру, остальные же занялись более серьезными делами, чем собираться на посиделки и читать друг другу свои бессмертные произведения, отдавая их на жесткий суд или вообще на смех. Казалось, Анатоль так и не повзрослел, как дитя, растерялся, как будто ему не хватило внутренней прочности и идейной убежденности, преданности тому делу, служение которому он на каждом шагу декларировал в своих заявлениях, разговорах и стихах, — национальному возрождению, где нужно было быть беззаветным его проводником. Оказалось, что «Тутэйшыя» служили ему трибуной, с которой он мог долдонить о своем таланте, но и там встречались

талантливые особы, которые скептически улыбались ему в ответ. Анатоль исчерпал и тему своего творчества — думы-плачи о горькой судьбе Беларуси, а новых тем и сюжетов не нашел, потому что не искал их, да и читать не читал из-за недостатка времени после гулянок. Книги для него были мертвыми страницами в скрынях-обложках.

Поэтому и кругозор его ограничивался филфаковскими знаниями. Одно богатство, и то наследственное, — сочный, смачный, красочный язык, который он не стеснялся обогащать из словаря Ластовского, например, вытянул балтизм «жвір». Анатоль пошел простым и, как выяснилось, милым его природе путем — быть душой компании. Здесь он мог развернуться, показать себя и с лучшей, и с худшей стороны, и всю многогранность своей натуры. Попойки, скандалы, ссоры. Капризы, истерики, слезы, выходки. Он зажил так, как хотел, — свободный от всего и всех, свободный от условностей и правил, от работы и обязанностей, от совести и стыда. Творил и доброе, и злое, был светлым и черным. Все были ему друзья, а он ни с кем не дружил, потому как всех своих знакомых рассматривал как собутыльников и втайне брезговал ими. Себя считал сыном Купалы, остальных поэтов — рифмоплетами. Ослепленный своим придуманным величием, он не видел, что жизнь его катится на дно, и с каждой выпитой рюмкой сокращал время падения. Он почти уже не писал, не хватало времени, не приходило вдохновение из-за больной головы, а может, как Анатоль говорил: «Не стояк на поэзию».

Поэт Анатоль Сыс умер раньше, чем Сыс-человек. Все это большей частью происходило на моих глазах. Я знал Анатоля семнадцать лет, именно знал, потому что наши отношения никак не назовешь дружескими. Он рассматривал меня, как и других, в качестве собутыльника, которого он снисходительно приблизил к себе. «Череп, — называл он меня пренебрежительно. — Череп, это я сделал тебя писателем», — хвалился он, приписывая себе несуществующую заслугу. То же самое говорил другим: «Деточка моя, я тебя вырастил поэтом, вырастил, как цветок». Роль учителя, опекуна начинающих ему, очевидно, понравилась, и у них он пользовался если не почетом, то уважением. Само знакомство с поэтом давало им чувство приобщения к литературе, к богеме. Они представляли себя равными с живым корифеем изящной словесности. Так что ж в том удивительного, что к нему тянулись начинающие и проставляли ему — как дань за право перешагнуть порог его квартиры и сесть с ним за стол.

Как бы то ни было, в литературный мир меня вывел именно Анатоль. Он узнал от Адама Мальдиса, которому я дал прочитать рукопись «Храм без бога», что есть молодой прозаик, который работает на Тракторном заводе и написал исторический роман. Вот и решил Анатоль отыскать меня и вытянуть в люди, это значит — к «Тутэйшым». Начальство Союза писателей смотрело на «Тутэйшых» как на сборище графоманов-самозванцев, которые претендовали на их священное право считаться белорусскими писателями. «Кто вы такие? Чего хотите? У вас никого достойного нет, вы ничего не написали стоящего», — ворчало начальство на дерзких молодчиков, которые, назвав заслуженных мастеров пера прикорытниками, обвиняли их в бездарности, раболепии перед властью, предательстве национальных интересов. А тут вот в рядах «Тутэйшых» романист, рабочий парень, а это уже весомый аргумент в претензиях на место на Парнасе. Анатоль приезжал ко мне, но не застал дома, поэтому оставил записку с приглашением прийти на заседание «Тутэйшых». Я не пошел. Когда настает момент исполнения мечты, человек часто теряется и не отваживается сделать решительный шаг. А вдруг что не так… Тем не менее Анатоль позвонил по телефону и заявил, что приедет в воскресенье ко мне знакомиться. Дескать, если Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету. Я ничего не слышал о «Тутэйшых», никого из писателей, кроме Мальдиса, не знал и был далек от литературной жизни, хотя и читал «ЛіМ» и литжурналы. С волнением я ждал этого посланца священ-

ного литературного мира, как ждут известия о каком-то важном, определяющем судьбу событии. В некоторой степени знакомство с представителем писательского поколения должно было стать для меня историческим. И стало.

В соответствии со стереотипом, я представлял Анатоля высокообразованным интеллектуалом с возвышенной душой поэта, просветленным взглядом пророка. А увидел совсем другого человека. Что-то настороженное таилось во взгляде его серых глаз, как будто он изучал меня, остерегался быть щедрым со мной. Резкие черты лица выявляли его волевую натуру. Он показался мне не интеллигентом, а воином, хоть и выглядел усталым. Больше молчал, чем говорил, но в напряженном выражении его лица чувствовалась затаенная энергия неукротимого характера. Позднее я слышал, что Сыса сравнивали с Константином Калиновским. Внешне Анатоль и впрямь был похож на легендарного вождя повстанцев, но вот самоотверженности и целеустремленности, самоотдачи ему не хватало. Тогда, в 1987 году, когда мы первый раз встретились в моей квартире, Сыс был поэтом и все лучшее, что было в нем, еще не пропил. Он искренне переживал за Беларусь и готов был служить ей.

Тогда он приехал под вечер в компании Алеся Беляцкого и двух братьев Дебишев. Днем они работали с хлопцами из «Талакі» в Строчицах, рубили тростник для крыш музейных хат и, усталые, голодные, замерзшие на холодном осеннем ветру, все же отправились в далекую Серебрянку знакомиться с каким-то молодым романистом. Вот и познакомились. Я чувствовал себя неловко, не зная, как вести встречу. Будь это простые рабочие парни, так сели бы, выпили по рюмке и поговорили по душам. А то — писатели, которые уже печатались. Едва ли не боги для меня. Хотелось выглядеть перед ними достойно. Да вот плохое знание *мовы*, а точнее, отсутствие языковой практики, сводило уста. Поэтому и разговор был немногословным, и пиво, которым я угостил парней, не сблизило нас. Я неохотно отвечал на их вопросы, чувствовал себя чужим, как рабочий среди интеллигенции. Тогда я мало знал, мало что понимал и плохо рассуждал — словом, был темным и неотесанным. Дебиши молчали, молчал и Сыс, и разговор вел более шустрый Алесь Беляцкий. Вытянул из меня необходимые сведения: кто я, что я, чем живу, что пишу и как пишу. Сыс оживился, когда я сказал, что рукопись романа лежит в «Мастацкай літаратуры» и рецензируют его Константин Тарасов и Анатоль Сидоревич. Тогда я еще не знал, что они дали взаимоисключающие рецензии. Одному понравилось то, а не понравилось это, другому наоборот. Мне придется подстраиваться под их вкусы, ломать сюжет, менять образы, сокращать — короче, калечить роман, осуждая его на вечную инвалидность. И в таком состоянии издательство будет шесть лет мурыжить его. Этого я не предвидел, а жил розовыми мечтами о выходе романа, о славе, которую он принесет, о том, что вытянет меня из ада сталелитейного цеха, где я пять лет горел живьем, палимый жаром раскаленного металла и адским огнем плавильных печей, задыхался от дыма и пыли и харкал черными сгустками желчи.

Сыс оживился и экспрессивно произнес:

— Кастусь и Сидор! Так это свои хлопцы! Если роман хороший, то нечего волноваться, напечатают. Сейчас позвоню Сидору.

Легко сказать «нечего волноваться». Я жил надеждами на роман, он открыл бы мне двери в литературу, вне которой я не представлял свою жизнь, поскольку она была бы бессмысленной и пустой. И если вот Сидоревич признает роман слабым, недостойным публикации, мне останется прозябать в нищете жизни и аду литейки.

Сыс по телефону набрал нужный номер и дождался, когда на другом конце провода подняли трубку.

— Анатоль, привет, это Сыс. Ты рецензируешь роман Чаропки, что с ним?

Удивили его панибратские отношения с рецензентом, видевшимся мне суровым судьей, от которого зависела моя судьба. Я затаенно ждал, пока Анатоль внимательно слушал по телефону Сидоревича. Каким будет приговор? Не напрасны ли были мои усилия? Как оценил роман этот грозный рецензент?

Сыс положил трубку и как-то мрачно посмотрел на меня. Ничего хорошего после такого взгляда я не ждал. Видимо, приговор Сидоревича был отрицательным и он угробил роман. Вот Сыс и разочаровался во мне, считает обыкновенным графоманом.

— Учи язык, деточка, — грубо сказал Сыс.

Я без его совета знал свою ахиллесову пяту — *мова*. А где и как ее учить? По словарю ежедневно я запоминал несколько слов, читал прессу и литературу на *мове*, но этого было недостаточно, чтобы свободно владеть языком, думал и разговаривал я по-русски. И мне казалось, что я никогда не буду так чисто и красиво говорить на языке, как тот же Сыс. У меня все равно вырывались русские словечки, отчего Анатоль недовольно кривился и поправлял меня. «Не “мелочь”, — он с очевидной издевкой по-русски произнес это слово, — а “драбяза”».

— Тебе надо быть с нами. Мы должны возродить Беларусь. Мы молодые, и мы сможем, а не эти прикорытники, что торгуют своей совестью, — пафосно звучал голос Анатоля.

У меня кругом шла голова от осознания той миссии, что выпадала и мне. Я не боялся ее. Сколько мечтал хоть как-то быть полезным Родине, сделать для нее нечто достойное, и вот мне предлагают выйти, как говорится, из своего подполья и аж на баррикады. Что ж, это тоже выход для неудачливого писателя.

— За нами будущее, — сказал Сыс уверенно и убедительно. — Мы должны возродить Беларусь!

— Нет, сделать ее независимой, — произнес Алесь.

Мне это представлялось невероятным. Москва никогда не допустит независимости Беларуси. Я поделился своим мнением..

— Если так думать, мы ничего не достигнем. Потеряем последнее. Будем отсиживаться по домам, а потом гнать на власть плохую, на врагов, на бога, только не на себя, на свои трусость и безразличие, — Анатоль вылил эти горячие слова громко, с запалом.

Сыс казался мне настоящим апостолом нашего возрождения. Молодой, решительный, талантливый! Мне было стыдно за свою слабость, неверие в духовную силу Беларуси, за обособленность от тех, кто реально что-то делал, чтобы хоть по крупинке у нас улучшалась культурная ситуация, не сгинула *мова*, которую я так плохо знал, а когда-то в деревне, до приезда в семилетнем возрасте в Минск, я говорил на ней. И вот надо было возвращаться к *мове*, чтобы она легко и естественно жила в моей душе.

В скором времени Сыс вытащил меня в свет, а точнее, в литературную среду, а по правде говоря, в бар Дома литератора, где тусовались писатели от начинающего с двумя напечатанными стишками до какого-нибудь старикана, который давно забыл названия своих произведений. Там, в баре, я познакомился с половиной союза и сделался своим, мог даже мэтра и редактора популярной тогда

«Крыніцы» Владимира Прокопьевича Некляева называть Володей. Богемная жизнь, известное дело, затягивала, но она давала новые впечатления, в конце концов я нашел людей, с которыми можно было поговорить на близкие мне темы, и поговорить по-белорусски. Я познакомился и подружился с Сергеем Веретилой, Алесем Наваричем, Андреем Федаренко, Анатолием Козловым, Миколой Степаненко, Андреем Гуцевым. Сыс свел меня с Кастусем Тарасовым, прекрасным прозаиком и хорошим человеком, который по-отечески опекал меня. Возраст не помешал нам дружить. Вот так я обживался в литературе. Сыс приложил усилия, чтобы в «Чырвонай змене» появился маленький отрывок из «Храма без бога», звонил главному редактору и бесцеремонно настаивал, чтобы скорей напечатал Чаропку.

Где-то в конце девяностых минувшего столетия Анатоль затащил меня в мастерскую художников Алеся Квятковского, Леонида Гомонова и дизайнера Алеся Куликова — шумных и безалаберных. Сыс в этой компании был своеобразным катализатором, заводил ее и руководил процессом расслабления и творческого сабантуя. Нужно сказать, что к художникам Анатоль относился с неким священным уважением, как к людям касты, находящейся выше литераторов, перед художниками он чувствовал свою униженность и ничтожность, а возможно, в его поэтической душе просыпалось эстетическое чувство от созерцания их полотен, особенно пейзажей, близких его пониманию, так как он вырос на природе и город оставался ему чуждым. Да и художники также относились к Анатолю как к отличному поэту, который обещал выйти в великие. Тот же Квятковский (по терминологии Сыса — Квят) влюбился в его поэзию. Таким образом, обе стороны уважали таланты друг друга, и Сыс никогда не позволял пренебрежительно отозваться об их работах, признавал мастерство.

Находилась мастерская в подвале одного из домов вблизи филармонии. Туда и повадился Анатоль, знал, что ему будут рады, и угостят, и накормят чем бог поделился с художниками или с их друзьями, которые также околачивались там. Это было райское место, расцвеченное красками полотен, здесь можно было спрятаться от суетливого бега повседневности, серости или непогоды и отдохнуть душой в веселой беседе. Бывало, эти беседы превращались в бездумные пьянки, когда, обессиленные, мы падали на диваны и отрубались. В одной из таких гулянок Анатоль заступился за женщину, подружку Кулика (Куликова), с которой тот из-за чего-то погрызся. Анатоль относился к женщинам ласково-услужливо, готов был стелиться перед ними, стремился чем-нибудь угодить: поцеловать ручку и щечку, бросить россыпь красивых слов, что-то подарить, прочитать им свое стихотворение. Неудивительно, что женщины любили этого, казалось, колючего и резкого поэта. Я не исключаю, что ершистость Анатоля была формой защиты его поэтической души. Своеобразной мимикрией, когда Сыс-человек защищал Сыса-поэта. Это было видно даже по его столам в квартире. Сумбур на столе, за которым велись хмельные беседы, и — чистота, порядок на письменном столе, накрытом белоснежной скатертью. Стол, за который он никого не пускал, потому что там записывал стихи, — это был его алтарь.

Так вот тогда Анатоль заступился за женщину, даже вскочил с кресла на ноги. Полупьяный Кулик схватился за топор и слегка тюкнул им по голове Анатоля. Именно тюкнул, а не ударил. Наверное, хотел его отрезвить. От неожиданности Анатоль окаменел, как статуя. Из-под кепки ручейками потекла по лицу кровь. Я вырвал у Кулика топор и закинул его подальше от беды под диван. Все были шокированы поступком Кулика, и он сам опешил. Сыс тоже утратил свой запал, позволил промыть водкой ранку (рассеченную кожу на бритой голове) и наклеить пластырь, за которым я сбегал в аптеку. Ему даже нравилось, что все суетились вокруг него, жалели, как раненого воина. На Кулика посыпались укоры. Как он мог поднять руку на великого поэта? Совсем пропил соображалку. Тот попросил

прощения, и был Анатолем помилован чмоканьем в щеку. «Деточка ты глупая, не можешь пить — не пей. Больше наливать тебе не надо».

Но выяснилось, и наливать нечего, и от этого всем стало грустно, особенно раненому Сысу. Он, насупившись, сидел за столом и смолил сигарету за сигаретой, выдувая клубы дыма. Казалось, ни с кем не хотел разговаривать, будто обиделся на весь мир, что так жестоко и несправедливо относился к нему.

В состоянии полной нищеты ищешь самый маленький, почти нереальный шанс: а может, повезет на этот раз и что-нибудь выгорит. Я вспомнил, что у меня должен быть гонорар за три рассказа, напечатанные в «Нёмане». И Сыс сразу оживился, сам позвонил в журнал и узнал, что, действительно, Чаропку ждут деньги. Можно хоть сейчас подъехать в редакцию и получить их. Эту новость компания радостно приветствовала. Праздник продолжался.

Сыс поехал со мной в редакцию, которая находилась через остановку от нашего логова. Честно говоря, я с радостью избавился бы от Сыса и всей компании (этой бедной босоты) и поехал бы домой. Анатоль не отцепится от меня, прилипнет пиявкой, пока не высосет все деньги, а мне не хотелось бездумно спустить их на гулянку. Но дружеская солидарность принуждала «полечить» алчущих хмельного питья друзей, «уважить» их. Я щедро проставился, благо сумма позволяла проявить шляхетную щедрость, даже бананы и апельсины приобрел к сырам, колбасам, консервам. Было что выпить, было чем закусить. Мы вернулись в мастерскую, как римские триумфаторы, гордясь своей победой, обремененные богатыми трофеями, которые получили в магазине за гонорарную выручку. Было время, была эпоха, когда и литература кормила и вселяла в автора чувство своей значимости.

И бедная босота продолжила пиршество. Снова зазвучали радостные звучные голоса, которые перекрикивал Анатоль. Он жаждал прочитать свое стихотворение и, когда все угомонились, прочел бессмертный «Пацір». Каждый выпил за себя из этой чаши. Концовка стиха, безусловно, отличная. Как бы там ни было, а своя рубашка ближе к телу, и человек думает прежде всего о себе. Ну и пусть пьет на здоровье, лишь бы преждевременно не покидал этот мир, родных и друзей. Пускай пьет из чаши, рюмки или из пистолетного дульца, лишь бы был с нами, лишь бы не жили мы воспоминаниями о нем, потому что после смерти узнается цена человека, когда нам его не хватает и мы уже никогда не увидимся с ним. Когда мучаешься от того, что был невнимателен к нему, и уже не попросишь прощения. Но, невидимый, он всегда присутствует где-то рядом, как привидение, и мысленным взором можно его увидеть, только оживи образ в душе. Никто тогда за столом не думал, что через четыре года (какая малость) Анатоль уйдет от нас в вечность — в некий глупейший момент, одинокий и покинутый друзьями, что не смогли тогда оказаться рядом и спасти. Я пробуждаю образ в своей душе, вижу его. Мрачно-задумчивого, с нахмуренным сплюснутым лбом и лысой головой, нелепой рыжей бородой. И если бы не красно-бело-красная лента над надгрудным карманом его джинсовой куртки, Анатоля смело можно принять за некоего боевика, дай ему только автомат в руки, а не бутылку, — и схожесть полнейшая. Вот почему я не хочу прихорашивать его образ, он должен жить своей судьбой и в воспоминаниях быть таким, каким был, а не причесанным, пристойным, отретушированным, будто для глянцевого журнала истории. Меня просили, чтобы не писал про Анатоля дурного, не позорил его, потому что это за меня сделают враги. Но если у Анатоля есть прекрасные стихи, то они как раз и родились из его беспутной жизни, как цветок эроса из житейского сора, как ребенок из греха, как творец из мук — ничто не дается просто так. А вдохновение только поднимает чувства наши сострадательные на поэтическую высоту.

Где-то на середине беседы я покинул компанию, чтобы не допиться до последнего гроша. Бедной босоте было что выпить и чем заесть. И, наверное, первый раз Анатоль отказался от гулянки с друзьями, а поехал на такси ко мне.

В принципе, я был не против, чтобы Анатоль погостил у меня и хоть подкрепился по-человечески (ради этого мы прихватили из компании хорошего кулинара Сергея Веретилу), а не шлялся лишь бы где и не пил лишь бы с кем. Тем более, моя мать любила Анатоля (по телефону он обычно говорил ей столько ласковых слов, что она прямо светилась душой) и сама пригласила его в гости. Каждый раз, когда я навещал Анатоля, он из своих скромных запасов передавал тете Зине то кусочек деревенского сала, то картошку, то мед, то какую-нибудь конфету из тех, которые ему приносили друзья. Даже если ничего не было, то все равно что-нибудь сунет мне в руки, хоть капусту, чтобы только порадовать тетю Зину. А на свой день рождения 26 октября 1999 года он подарил ей картину Алеся Квятковского — презент, который сделал ему художник.

— Пусть Зинуля смотрит на деревенский пейзаж, вспоминает деревню и не скучает, — сказал Анатоль и красивым размашистым почерком на обратной стороне написал фломастером: «Тетя Зина, я Вас крепко люблю за то, что Вы сына любите, а сын Вас».

А гости Анатоля, тогда еще молодые и начинающие Алесь Филиппович и Алесь Мясников, оставили свои поэтические автографы. Фил написал стишок:

Былі ў бацькі тры сыны,
Ды не вярнуліся з вайны.
Былі ў маткі тры дачкі,
Ды ветрам па руках пайшлі.
І лебядою прарасло
Усё, што некалі было.
Але з насення лебяды
Паўстануць райскія сады!

Не скажу, что это шедевр. Наверное, ничего лучшего Фил не имел под рукой. Его скромная муза не одаряла его вдохновением. Из всей его поэзии Анатоль любил одну строчку: «Мне золатам на сэрцы вышывалі краты». Он даже вставил ее в какое-то свое стихотворение, отправил в вечность.

А вот Мясо экспромтом сочинил абы что:

Бедны Йорык! Не крыўдуй,
Мы з табой пісьменнікі!
Ну няхай я — абалдуй!
Перайду на пернікі!

Не знаю, напечатаны ли эти шедевры, но они остались на Сысовом подарке и положили начало хорошей традиции — мои гости ставят автографы. Отметились поэты Юрий Гуменюк, Андрей Гуцев, Сергей Веретило, Юрий Потюпа, кинорежиссер Юрий Бержицкий и другие мои друзья. Так картина Квята стала памяткой об Анатоле Сысе и о его и моих друзьях.

Не буду говорить про шумное застолье, которое мы устроили. Я больше молчал, так как невозможно было вставить даже слово в разгоряченный хмелью разговор-спор Сыса и Веретилы. Нормальный человек с трудом выдержал бы Веретилу пятнадцать минут, настолько Сергей может задурить голову своим раскатистым, как Перуново громыхание, голосом. Веретило что-то доказывал и все распалялся, разве что не брызгал слюной. Анатоль упрямо не соглашался, называя его доводы вздором и глупостью. Тяжело было ему согласиться, что кто-то хорошо пишет, а тем более признать чей-то талант равным его таланту. «Куда ему до меня, пусть хоть думать научится, деточка желторотая». По крайней мере, я никогда не слышал, чтобы Анатоль подводил под свою мысль обоснование. Всегда он высказывался прямо и просто, без нюансов и оттенков, умных рассуждений и интеллектуальной лексики. Кто его не знал, мог прямоту Анатоля принять за грубость и невоспитанность, интеллектуальную ограниченность.

Прошло двенадцать лет, как я познакомился с Анатолем. Время его изменило. Нет, не время и не жизнь, а сам Анатоль изменился. Почти ничего нового не писал из-за гулянок и пил не ради вдохновения в творческом одиночестве, а чтобы снова и снова показать другим свою самость. Пьянки сделались его жизненной необходимостью, как для обычного пьяницы, который уже не может остановиться. А у пьяного начиналась нервная истерика, он то заливался слезами, как баба, то жалел своих друзей. И тогда он расплакался: «Жаль мне тебя, Чаропка, спиваешься ты». — «Чаропка пьет, но и пишет. А ты уже спился и списался. Без смысла живешь. Давно, как старый пес, утратил нюх», — произнес Веретило и был прав.

Сыс только хмыкнул и ничего не сказал в свою защиту. Так я и не узнал о причинах Сысовых гулянок-пьянок. Может, он пил от безнадежности своей беспутной жизни. У него не было семьи, а значит, и любви, и нежности, он нигде не работал, а значит, не было профессиональной заинтересованности, жизненных планов, которые стремился бы осуществить, реализовать себя, жил без перспектив, всегда был бедным и не мог позволить себе жить достойно, не имел настоящих друзей, которые поддержали бы его и советом, и делом, направили на добрый путь — словом, жил без смысла и стимула. А может, Анатоль знал и предчувствовал свой короткий век, вот и хотел заполнить отведенное ему судьбой время чем-то бурепенным и огненно-дымным. Но зачем было бездумно тратить талант, осуждая себя на нелепую драму?

А может, он убегал от своих горьких и печальных мыслей и о своей жизни, и о судьбе его любимой и несчастной Беларуси, где все не так, как должно было быть в идеале. Жалел горькую долю *матчынай мовы*. Убегал в пьяную эмиграцию, где можно было забыть обо всех бедах и несчастьях, не видеть серости дня и черноты ночи. Поэзия, которой он дышал, ему ничего не дала, кроме тех захватывающих мгновений, когда, по его словам, на кресте поэзии кровью исходило слово. Сама поэзия, очевидно, сделалась его драмой. Видимо, ему не хватало новых мотивов и сюжетов. Он устал от монотонности своего стиха и ждал, когда тот зазвучит по-новому, не одиноко или скорбно, не перечнем бед и несчастий, а по-философски мудро или, в крайнем случае, лирично, а то и радостно — так, как еще не звучал. Таким был Сыс в начале нового столетия: опустошенный и разуверившийся в своей цели — подняться на мировой Парнас.

Утром у нас раскалывались головы, и чтобы их подлечить, мы с Сергеем отправились за «лекарствами» в магазин. По дороге заглянули в пивную, прозванную местными пьяницами «Голубым Дунаем». Когда-то в своей бездумной юности я здесь с товарищами пропивал «разбойные» деньги. Пили смешанное с вином пиво. После такого коктейля меня рвало и на долгие годы отбило охоту пить не только дешевое винцо-чарлик, но и пиво, даже их запаха не мог переносить.

Я не разбудил Анатоля и не взял с собой, чтобы, не дай боженька, он, к моему стыду, не начал с пьяных глаз выкаблучиваться людям на смех.

Утолив жажду и пополнив наши резервы питомого и едомого, мы тут же вернулись домой. Сыс уже оклемался и открыл нам дверь. Удивительно, но водка его не обрадовала, воспринял ее как нечто само собой разумеющееся. Мутным взглядом скользнул по бутылкам, появившимся на столе, и раздраженно спросил:

— Где вы так долго шлялись, котики мои?

— Пиво пили, — ответил я.

И тут Сыс удивился и воскликнул:

— Вы пили пиво и не позвали меня!

— Ты же спал. Не хотели будить тебя, — оправдывались мы.

— Так могли принести бутылку пива. Сами выпили пива, а я, как сморчок, сохну. Ничего себе друзья. Веди, Череп, в пивную.

— Боюсь, что ты там выкинешь коней. Ты же не можешь, чтобы не отличиться, — попробовал я, зная Сыса во хмелю, уклониться от надвигающейся катастрофы. — Я лучше схожу куплю бутылку.

— Не нужно мне бутылочного пива, хочу живого — разливного, — безапелляционно заявил Сыс и начал собираться, натягивать одежду.

Ему нужна была именно пивная, чтобы поговорить с кем-нибудь и похвалиться, что тот пьет с великим поэтом Анатолем Сысом, и при случае прочитать свой «Пацір». В нем жил актер, и поэтому он не мог без зрителей играть свою роль великого белорусского поэта. Что за гулянка без священнодействия, в котором Анатоль должен быть жрецом? Так что пришлось мне вести Анатоля утолять жажду в пивнуху.

Жаль, что я не вел дневник и даже не записал для памяти выход Сыса на люди. Его эпатаж был для меня обычным, и ничего особенного в нем я не видел и не находил. А теперь вот надо пробиваться сквозь туман памяти, чтобы что-то напомнить себе, почти на ощупь возвращаться к тому событию. Помню, что Сыс, глотнув пару раз пенистого пива из стеклянного кубка, оживился, вдохновился и разгорелся. Он цеплялся к посетителям, пугая их и белорусским языком, и бешеным блеском глаз, кровавым шрамом на голове и лицом пропойцы, обтянутым на челюстях и скулах бурой кожей. Какой же это поэт? Он больше походил на бездомного бомжа! Тогда Толик начал читать свой «Пацір», а читать он умел как никто другой. Не мямлил, не шептал, не кричал, не завывал, а произносил, как таинственный заговор, придавая присущую только ему интонацию каждой строке и каждому слову, и стихотворение становилось благозвучным песнопением. Очарованные голосом поэта и его словом, пьяницы умолкли и оживились, когда услышали последнюю строчку: «І кожны выпіў за сябе». Кто-то удивился: «И это ты написал?» Кто-то потряс Анатолю руку: «Молодец! Так красиво звучит наш язык». И Анатоль прочел «Дух» — презрительно бросив на стол скомканную денежную купюру. «Вот вам на хлеб, засранцы». Я насторожился, ожидая возмущенной реакции пьяниц. Но они добродушно рассмеялись.

Вскоре Анатоль оказался в пивной в центре внимания. Ему наливали, чтобы выпить со знаменитым, великим поэтом, и он пил со своими случайными поклонниками. Все имеют право налить поэту, потому что ему напиток нужен для вдохновения, — декларировал Анатоль.

С одним он выпивал, с другим разговаривал, с третьим братался, обнявшись и поцеловавшись, всех любил, как друзей. Сыс забыл обо мне, словно я своей неприметностью позорил его величие. Моя местная слава писателя поблекла в лучах славы Сыса. Он был в этот момент уже не поэтом, а волшебником, несущим красивое слово людям, очаровывал их своим магически-таинственным голосом, плавным движением рук.

Я остерегался одного — чтобы Анатоль в азарте не забрался на стол. Девушка-бармен хоть и знала меня, но могла не понять пафосного порыва моего друга. Однако Анатолю все же хватило разума вспомнить, что здесь не бар Дома литератора, где можно выкаблучиваться как хочешь, где все привыкли к его стебу, принимали как нечто неизбежное и по-свойски терпели.

Домой мы вернулись часа два спустя. Веретило успел приготовить завтрак, накормить мою матушку, опохмелиться. И извелся в ожидании нас. Хотя Анатоль от щедрых угощений захмелел, но от застолья не отказался. Гулять так гулять! Мы освежили нашу пьяную беседу.

Удивительно, но матушка не злилась на гостей, как обычно, когда я на кухне выпивал с дружками. Она радовалась шумным гостям, да и они относились к ней почти с любовью. Веретило закормил ее своей стряпней: «Кузьминична, попробуйте это, попробуйте и это. Вкуснятина!» И подносил ей на ложечке очередное кушанье. А Сыс лез с объятиями и поцелуями. «Зинка, моя дорогая, я тебе стихи прочитаю, нет, сочиню, потому что люблю тебя, Зинуля». Мать терпеливо

слушала Сысову декламацию, мало понимая ее смысл, но так же очаровалась мелодией слов, а может, она тешилась сочной *мовай* Анатоля и вспоминала свою деревню, где звучал ее родной язык, который пришлось менять на «городской». И она наивно призналась, что сочинила стихотворение. Понятно, те наборы слов, что матушка придумала, не назовешь стихами, но ей, наверное, нравилась игра со словами — вот и сочинила себе *верш*. Сыс внимательно выслушал ее путаный пересказ произведения. Какой ни был он пьяный, но запомнил одну строчку: «Курапаты, Курапаты, адпусціце мяне дахаты». Стихотворение повествовало о муках расстрелянных в Куропатах людей. Некоторое время спустя я прочитал стихотворение Сыса с тем же мотивом и сюжетом и дословной материнской строчкой «Курапаты, Курапаты, адпусціце мяне дахаты».

Не знаю, как это назвать: усвоением чужого или просто плагиатом, которым не побрезговал Анатоль. Но я утешаюсь, что своим неуклюжим произведением моя матушка не только вдохновила Анатоля на маленький шедевр, но и подсказала ему сюжет, и ее строка попала в литературу. Получается, что она соавтор Сыса. Не было бы стихотворения Сыса — и погибло бы ее сочувствие к мученикам сталинского геноцида. Так было угодно судьбе, чтобы представитель того страшного времени, переживший его несчастья и беды, передал свою боль представителю нашего времени, и он своим талантом воплотил эту боль в слове.

Днем Веретило покинул нас, поняв, что уже начал обременять хозяев: пора и честь знать. А Сыс как ни в чем не бывало еще двое суток гостевал. С ним меня одолела тоска. Он выпивал, почти не закусывая, как конченый алкоголик, и, нахмурившись, молчал, словно погружался в свои мысли. Я никогда не был свидетелем, кроме заседаний на «Тутэйшых», чтобы Анатоль говорил про искусство или вообще про культуру. Про знакомых художников или литераторов судачил охотно, как бы хвалился знакомством с ними, и то больше рассказывал, как пил с ними. Не рассуждал он ни про историю, ни про политику, даже про свое житье-бытье ни слова. Его это просто не интересовало. А с прозаиком он не мог найти общую тему для разговора — какой он выдающийся поэт. А мне было все равно, выдающийся или обыкновенный. Его поэзия мне не очень нравилась, не было в ней духа живительного, созвучного моим чувствам и мыслям. Грустил я, грустил и Сыс. Ему нужна была компания, зрители, перед которыми он мог помальчишествовать и сыграть свою роль великого поэта: кого-нибудь по-менторски похвалить, а кого-то и опозорить, кого-то обласкать (ах ты, мое дитятко), а кого-то послать на все четыре стороны. Он тосковал со мной. В конце концов, чтобы развеять печаль, Сыс затянул меня в пивную, что для меня стало настоящей мукой, потому что хотелось провалиться на месте, лишь бы не видеть, как Анатоль набивался ко всем в друзья, хвалился своим талантом и, конечно, зачаровывал всех своим «Пацірам». Снова ему наливали и хвалили. Мне подумалось, что ему просто не хватает официального признания, он, как ребенок, любит похвалу. Все в Союзе писателей про Сыса говорят, признают не абы-какой талант, а вот печать молчит про него. Да и что писать, если он сам исписался и ничем новым и своеобразным не отметился. Печатали бы у нас светскую хронику, так имя Анатоля Сыса часто фигурировало бы там. Не удивлюсь, если б он, как чеховский герой, радовался, что попал под извозчичью лошадь и об этом написала газета.

На четвертый день пребывания Сыса он мне уже надоел. Лимит терпения и гостеприимства, да и гонорарные деньги заканчивались, а мне нужно было на них жить. Да только Сыс никак не хотел понимать, что он загостился. Я уже был не в силах выдержать его пьянки. Прямо сказать, чтобы, наконец, покинул мой дом, я не решался, — обидится и посчитает, что я его выгоняю, раструбит об этом по всем редакциям, куда наведается, и всему Союзу представит Черепа жадиной и негодяем.

Все же я придумал, как выпроводить надоедливого гостя. Я дружил со своим участковым милиционером Гришей Осовлой. Познакомился с ним в не очень при-

ятных для меня обстоятельствах. Я поспорил, что бесплатно пройду на дискотеку в кинотеатр «Салют». Подобная мысль могла прийти только на пьяный ум. Меня остановили крепкие охранники и, с силой пнув под зад ногой, швырнули с порога на асфальт. Лучше бы они не ржали, видя мое унижение. Я спокойный, пока меня не обидят, а обидят — уже не сдерживаюсь. Гнев охватил меня и толкнул на сумасшествие. Я как бешеный пробежал по ступенькам и ударом ноги выбил стекло в дверях. Посыпались осколки. Меня схватили, надавали тумаков и сдали ментам. Спас мой писательский статус. Милиционеры не стали возиться с опасным хулиганом, а передали дело участковому, пускай он разбирается. Вот и разобрался. Осовла заочно учился на историческом факультете педуниверситета и читал книги Чаропки, а поэтому, когда я пришел к нему в опорный пункт, не мог поверить, что этот простоватый мужичонка и есть белорусский писатель Витовт Чаропка, автор исторических книг. Он представлял меня могучим голиафом, а здесь обычный неприметный человек. В свое время Владимир Орлов был разочарован, когда впервые увидел меня. Также представлял меня неким силачом. Но Гриша не разочаровался, а был впечатлен, что я живу на его участке, а более того, что я простой и доступный, без кичливости. Он помог мне устранить проблему с «Салютом». Я оплатил тогда замену разбитого стекла в дверях, а за бутылку коньяка и коробку конфет директор кинотеатра — развязная и расфуфыренная дама с пофигистскими склонностями — забрала заявление из милиции. Гриша постарался, чтобы я не потратился на штраф. Меня «отправил отдыхать» старший кассир, когда я пришел в РОВД платить штраф. На штрафные деньги я приобрел две бутылки водки, принес их следователю, который за хулиганку не засадил меня даже на пятнадцать суток. Он для приличия поломался, дескать, это взятка. Какая ж это взятка — это благодарность за отношение ко мне. Я положил бутылки в выдвинутый следователем ящик его стола. Да еще подписал ему книжку. Мне не стыдно, что вот таким образом я уладил свое дело. Я не против, чтобы другие так делали. Должен же где-то закон быть бессильным перед человеком, а то он пожирает всех, кто провинился перед ним, за всякую вину — маленькую или большую, никому не сочувствует и не позволяет человеку исправить ошибку.

Я подружился с Гришей. Ментом он стал по обстоятельствам. Простой деревенский парень, мечтавший об учительстве, вынужден был пойти в милицию ради денег. Он жил с разведенкой, воспитывал ее маленькую дочь и еще ждал своего ребенка. Хочешь не хочешь — надо было зарабатывать деньги. Неоконченное высшее образование давало ему право на лейтенантские погоны. Перспектива остаться ментом не радовала. Служба выматывала Гришу, и парню, доброму по натуре, не нравилась. Поэтому знакомство со мной было для него отдушиной. Мы долго говорили об истории и культуре Беларуси, для него я тут был авторитет. Он открывал для себя много нового, такого, чему не учат в университетах. А я получил терпеливые уши, куда мог проводить свои мысли. Я вытаскивал его в мастерскую Игоря Кашкуревича. Ироничный Игорь посмеивался над историком-ментом, этим гибридом нашей действительности. Гриша не обижался. А его мысли о судьбе Беларуси были созвучными с нашими. Расчувствовавшийся Игорь подарил Грише свою работу «Партрэт Уладзіміра Высоцкага».

Месяц спустя после знакомства с Гришей я выступил свидетелем на его свадьбе. Летом мы посетили его деревню Поречье. Там ночью, лежа на берегу Птичи, согретый дыханием костра, озирая звездные россыпи, я задумал рассказ «Мы пераможам!». И Гришка, выслушав сюжет, в порыве начал предлагать мне новые сюжетные повороты. Словом, Гришка был хорошим другом, и можно было надеяться, что не подведет. Я позвонил ему, пока Анатоль отдыхал на диване, и объяснил свое глупое положение. Дескать, у меня гостит Сыс, о котором он знал от меня. Так вот, если хочет познакомиться с ним, пусть приходит ко мне. Однако он должен так напугать Сыса, чтобы тот убрался из моей квартиры и дал, наконец, мне отдохнуть, потому что я уже устал поить его.

И некоторое время спустя длинный и требовательный звонок разбудил Анатоля.

— Кто там прется? — недовольно пробурчал он.

— Посмотрим, кто.

Я открыл дверь, и в квартиру вошел Гриша при полном милицейском параде и с дубинкой на ремне. Увидев милиционера, Сыс сник и, к удивлению, умолк.

— Пьем, — придав своему голосу суровость блюстителя закона, сказал Гришка и вошел в кухню. — Соседи жалуются на шум и бардак, не даете им покоя. Я должен принять меры или отправить вас в камеру.

Ошеломленный Сыс опустил голову и такой виноватой позой хотел заслужить ментовскую милость. Дескать, я тихий, как ягненок, не трогайте. Мне было стыдно за Анатоля. Форма мента отняла у него язык.

— Начальник, не надо нас в камеру. Это известный поэт Анатоль Сыс, а поэты громкие люди. Ну, пошумели мы, погуляли, а теперь закругляемся. Анатоль вот уже собирается домой, и все будет тихо, — сказал я покаянным голосом под согласное кивание Анатоля.

Он понял, что лучше быстренько слинять и не нарываться на неприятности. Его вольнолюбивая душа вряд ли выдержала бы томление за решеткой даже пару часов.

— Да-да, — согласился Анатоль с моими словами и, сверкнув огоньками глаз, продекламировал свое:

Ніхто не мае права біць Паэта,
Ён нават сам не вольны над сабой,
Магчыма, ён адзіны на паўсвета,
А вы за ім, нібыта за гарой.

Гришка исправно играл свою роль настоящего мента — грубого и циничного. Пренебрежительно скривился и резко сказал:

— Пьяница ты, а не поэт. Закон не разбирает, кто ты такой. Нарушаешь его — ответь. Так что собирайся быстренько и на выход, пока я еще добрый, а то вызову наряд и засажу тебя на сутки. Будет время сочинять стихи.

Угроза подействовала на Анатоля, он без пререканий вышел из кухни в прихожую, надел куртку, напялил туфли. И напоследок зашел в комнату, где перед телевизором сидела моя мать.

— До свидания, дорогая моя Зинуля. Пора домой. Спасибо за хлеб-соль, — голос его звучал печально.

Стало жалко Анатоля, который отправлялся в свое одиночество среди четырех стен. Я поступал жестоко, выгоняя его таким иезуитским образом, но мои силы и терпение кончались. Мне хотелось одного — спокойно отдохнуть, чтобы Анатоль ночью не поднимал меня с кровати, чтобы не тянул в пивную, чтобы не сидел сычом, погрузившись в себя. Все, что я мог сделать для него, это дать на дорогу денег и вызвать такси. На прощание он обнял меня и попросил приехать в воскресенье к нему в гости, что я и обещал.

— Ты не забудешь? — будто не верил моему обещанию.

— Вот такой Анатоль Сыс, — сказал я Гришке, когда проводил Анатоля, посадил в такси.

— Простой и искренний парень, свой, — сказал Гриша.

Возможно, Гришка, который повидал на своей службе немало негодяев и ублюдков, разбирался в людях. Он рассмотрел в Сысе то, чего не видели мы. А нас занимали больше его эпатажные выходки и блажь.

В воскресенье мы с Гришей поехали в гости к Сысу на квартиру на улице Червякова. Решили разыграть его. Увидев на пороге Осовлу, одетого в штатское, Анатоль все же узнал его и удивился:

— Мент? Что еще надо? Что случилось? А где Череп?

— Еще ничего. Ты знаешь гражданина Виктора Чаропку?

— Знаю. Почему спрашиваешь? — ничего не понимая, сказал Анатоль. — Где он? Что-то случилось с ним?

— Он обещал тебе приехать сегодня в гости?

— Ага, — согласился Анатоль.

— Так он приехал или нет?

— Не приехал, обещал и не приехал, — грустно сказал Сыс. — Обманул меня, деточка. А ты ищешь его? Что он еще натворил?

— Так вот, исполняя свои дружеские обязанности, я доставил к тебе этого шалопая, который увиливает от данного слова.

После чего я прошел из-за стены в дверной проем. Сыс радостно обнял меня и чмокнул в щеку.

— Молодец, Витовт, что приехал и мента привез.

В тот день Гришка удостоился особого внимания Анатоля. Узнав, что Гришка мой друг, а поэтому он не посадил нас на сутки, Анатоль зауважал его, а когда тот признался, что назвал сына Максимом в честь Максима Богдановича, полюбил его всей своей пылкой душой. «Свой мент, наш хлопец. Если б все менты были такими, Беларусь давно была бы белорусской», — радостно говорил Анатоль. Мы, чтобы не разочаровывать Анатоля, так и не рассказали ему про нашу аферу.

Я мог очень многое написать про Анатоля Сыса, про наши совместные похождения. Например, как мы разыграли в «Ислочи» Алеся Асташонка, пригласив его по телефону на беседу, но не сообщили номер комнаты, и тот полночи носился по коридорам, оглашая их кличем: «Сыс! Где ты же, Сыс?!» Про нашу поездку на творческий вечер журнала «Калосся» в Полоцк, где Анатоль во время выступления вдруг расплакался и, стыдясь своих слез, покинул зал. А на обратном пути в Минск в нашем купе всю ночь занималась любовью (так сейчас называется подобная вещь) горячая парочка. Сыс притворился, что спит, и, как и я, терпеливо слушал под стук вагонных колес разгоряченные стоны и оханья. Утром он с отвращением сказал: «Потрахались, как кролики, и людей не постыдились. Потрахались и разбежались. Вот такая теперь любовь». Мог рассказать, как на мой день рождения, который мы праздновали в «Мутным воку» — баре Дома искусств, Анатоль поднес мне на руках подарок — расфуфыренную и размалеванную, с девичьим бантиком в волосах, худую, как кляча, пьяную в дым проститутку. Положил ее на стол. «Вот тебе подарок, мой котик». От такого подарка я отказался и еле-еле избавился от надоедливой девицы.

Можно вспомнить, как Сыс втихую вынес из мастерской Квятковского мой портрет, который Алесь долго рисовал и который ему нравился. Я был представлен на портрете в образе средневекового рыцыря в рыцарских доспехах с длинными серебряными волосами, лежавшими на моих плечах, как мантия. Квяту предлагали за портрет хорошую плату. И вот Анатоль, выбрав момент, стащил портрет, чтобы только показать его моей маме. Портрет не влез в такси, и пришлось класть его в багажник. Когда Квят узнал, его возмущению не было предела. Решил, что кража портрета моих рук дело. Дозвонился и раздраженно спросил, где работа. Ответил ему Анатоль, прямо и внятно: «Успокойся, Квят. Твоя работа у нас. Искусство должно принадлежать народу. Вот пускай тетя Зина посмотрит, какой у нее уважаемый сын и какие у него хорошие и талантливые друзья. А если задумаешь продать «Чаропку», так я тебе его не верну. «Чаропка» должен быть в Беларуси и для белорусов». Портрет мы назавтра привезли Квяту, потому что он дал Анатолю слово, что не продаст своего «Чаропку» ни иностранцам, ни своим коллекционерам, а передаст в литературный музей, что, в конце концов, и сделал. И теперь «Чаропка» пылится где-то в запасниках, ждет, когда я уйду с этого света, чтобы о нем вспомнили.

Что еще переворошить?

Хватит и того, что про Анатоля рассказано и написано, а эти воспоминания я написал, чтобы еще раз пережить радостно-волнующие мгновения наших встреч, разобраться, кто он был и каким же он был. Я не приукрашивал Сыса, хотел оставить о нем память как о живом человеке со всеми его достоинствами и пороками, плюсами и минусами.

Анатоль искренне стремился что-нибудь сделать для возрождения Беларуси, о чем и свидетельствует его деятельность в «Тутэйшых», куда он тянул всех, кто хоть что-то пробовал писать. Он организовывал первые митинги «Дзядоў» в 1987 и 1988 годах, он же читал свои стихи перед собравшимися людьми, наполняя общую душу толпы болью за Родину. Когда Беларусь стала независимой страной, ему уже не было за что бороться, разошлись «Тутэйшыя», и Анатоль словно утратил смысл жизни. Стал ненужным вчерашним соратникам, которые боялись, что он своими непредсказуемыми выходками скомпрометирует их, чистеньких и пушистых. Его воспринимали как нечто неизбежное, неумолимое, что приходится терпеть, но чаще избегали. Ему не нашлось места ни в старой, ни в новой — независимой — Беларуси. Неслучайно Анатоль написал: «У гэтай краіне не маю я дому… долі… Бога… роду… песні… волі…» Это монолог самого Анатоля Сыса, его мысли, его чувства. Он назвал балладу «Маналог Афанасія Філіпавіча», чтобы скрыть правду о себе. И хотел жить, как свободный поэт: «Ні грошай, ні славы — я волі хачу». Жил широко: день за неделю, неделя за месяц, месяц за год. Болезнь съедала его вживую, Анатоль душился кровавым кашлем («І я не магу так болей жыць, я задыхаюся, я паміраю…»). Свой поэтический дар он отдал нам, а себе оставил право быть самим собой. Он тянулся к людям, и они тянулись к нему, а умер в одиночестве, когда «свае ногі дажыў» и не смог подойти к двери, открыть и позвать людей на помощь. И раз Анатоль жил по совести, а она чистая, то и предстал перед Богом со светлой душой. Так зачем плакать о нем? Как завещание воспринимаю сейчас его пожелание, записанное в подареном им «Пане лесе»: «Віця Чаропка, коцік ты мой, табе дорыць сваю кніжку… …Анатоль Сыс! А ведаеш, за што? За тое, што ты так любіш жыццё. І ты нікога не слухай — жыві, жыві ды й жыві! 21 студзеня 1998 г. Менск».

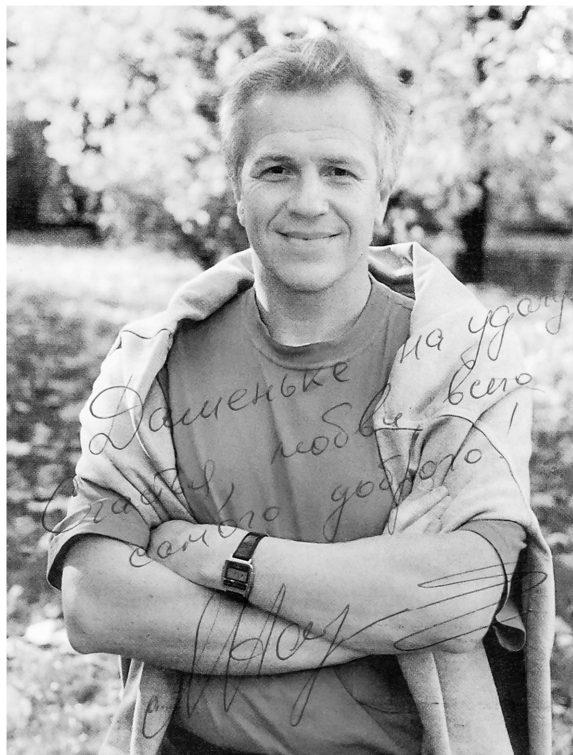
Перевод с белорусского Константина ШИДЛОВСКОГО.

Дарья ЛЁСОВА

Звездочка моя...

Светлой памяти Якова Науменко

Это же сколько уже весен и зим, и лет мы живем без Него! А сердце щемит, щемит... И некоторые уже забывают его имя, слушая новоиспеченных певцов и певиц. Способной, талантливой молодежи сейчас хватает, и все, кажется, голосистые!.. Но далеко не каждый трогает, далеко не каждый входит в душу, зажигает ее так, как Яков Науменко.



В минуты одиночества я постоянно прокручиваю в своей памяти эту удивительную мелодию голоса души:

Зорачка мая, светлая мая
Ўзімку і вясною.
А ці снег мяце, а ці дождж ідзе,
Ты заўжды са мною.

Будто бы для меня это. От кого-то очень родного с небес. И хочется вновь вернуть этот голос на сцену, увидеть на ней очень симпатичного, здорового, бодрого, полного сил и энергии артиста! И никак не верится, что такого силача могли убить!

Зорачка мая, светлая мая…

Для кого так вдохновенно пел Яков Павлович, я, кажется, знаю... Мне посчастливилось узнать! Алла Яковлевна Шеина, бывшая заведующая музыкальной редакцией Белорусского телевидения, однокурсница моей мамы. И я была у них когда-то в гостях, и на даче, и в минской квартире...

Ах, какие это были встречи! Дача — сказочный замок под Минском, возведенный руками самого Якова Павловича! И сегодня мне он снится в своем необычном великолепии. Все цветет-буйствует: и лужайка с бархатной травкой, на которой загадочно шепчутся васильки-ромашки (так пожелал сам артист). А удивительная хозяйственность Аллы Яковлевны вылилась в неповторимое великолепие, царство роз, хризантем, милых лилий и астр, и еще множество цветов! Я и по сей день чувствую их неповторимый аромат. И сегодня, кажется, угощаюсь свежими овощами, выращенными руками самой Аллы Яковлевны! А яблони, какие яблони там были! Все с наливными кроснощекими плодами, будто бы улыбались каждому гостю!

И разговоры, в которых я и участвовала, и присутствовала при них, была, греют мою душу и сейчас. Я уже тогда, еще школьницей, все, кажется, понимала. И что такое счастье, и что есть несчастье... Счастье передо мной было и в этом волшебном двухэтажном желтеньком доме, и в уверенности Аллы Яковлевны, что оно — навечно. Мама никак не верила, что Яков Павлович возвел своими руками этот дворец.

— О-о, Маша, Яша такой силач, такой жиловатый! Он все может! От земли человек, оршанец! Да это уже и не первая дача, которую он сам построил! Я продала прежние две, деньги нужны были для дочери моей во Франции. Не удивляйся, у нас с Яшей нет разделения на своих и чужих детишек. Ни моя Вероничка, ни его Тиша ничем не обделены. Яша их любит, и я их одинаково люблю. Тиша у нас часто живет, на каждых каникулах у нас, и так забегает. Яша любит сына, он же все капельки отцовские подобрал!

Возвращаюсь к этому разговору и плачу. Именно защищая сына от нападения какого-то подонка в Севастополе, и погиб Яков.

Склоним головы перед Отцом. А замечательного певца, народного артиста Беларуси вспомним сегодня его песнями, его необыкновенным мастерством их исполнения.

Мілая далонь, поўная цяпла,
Як святла крыніца...

И Наталья Романская здесь, что за солнце здесь Наталья Романская! Настоящая исполнительница звездочки в высоком небе любви!

И по сей день, спустя годы, смотрю на этот дуэт влюбленно, увлеченно! В нем — сила песни, ее высота, ее глубина.

Песня, которая возвышает, песня, которая пробуждает, согревает, ведет к человеку, к его душе! Только такая Песня звучит в исполнении Якова Науменко!

Мілая мая, мне сумна без цябе,
Я так хачу пачуць пяшчотны голас твой.

К кому это обращено — не гадай, сердце! Оно — и ко мне, и к тебе, ко всем, у кого что-то болит, кого что-то тревожит.

Цяжка паверыць у разлуку,
Цяжка цябе забыць…

Ой, да это уже вскрикивает в страхе моя душа, чайкой бьется от несбывшейся песни. Это талант, если певец способен вживаться, входить в песенный образ так, что создается впечатление, как будто про себя, свою судьбу повествует.

Люблю такие задушевно-лирические песни артиста. Здесь он затрагивает самые сокровенные струны человеческой души. А это уже — искусство, когда приближается, роднеет неизвестное, становится близким и тебе.

...Тихо вглядываюсь в небо. В белые облака, в их неразгаданные тайны. Где-то там должна жить душа Якова. Где-то там... Вглядываюсь ночью в звезды, которые светят ему, его Звездочке сегодня. И думаю, думаю: почему мне так жалко этого певца? Что случилось с ним перед его ужасной смертью? Помню, взяла билет на его концерт, а тут и объявили, что концерт отменяется. Приехала на Академию наук, а тут из метро, вижу, летит сам не свой Яков Науменко в белом костюме! Как стрела, летит! Никого не замечая, в большом потрясении! Перед этим как-то видела его сына на академической станции метро. «Тиша» — так с любовью называл Яков своего сына, — вылитый молодой Яков Науменко, все капельки сходства с отцом подобрал. Я даже вздрогнула: Яков Науменко, только юный!

Не знаю, где сейчас Тиша, как сложилась его судьба. Не знаю, где сейчас и Алла Яковлевна Шеина, жена певца. Последние сведения: жила под Минском. Может, во Франции сегодня, а может, и здесь осталась. А в сердце неизменно звучит:

Зорачка мая, светлая мая
Ўзімку і вясною…

И с большой печалью я вхожу в смысл этой глубоко лирической, можно сказать, народной песни:

Мне ўсё даражэй зорны міг начэй,
Звон азёрных гусляў,
Месячкі тваіх веснавых вачэй
І маладзічкі вуснаў.

И снова вглядываюсь в небо. Днем — в белые облака, что душами улетевших влюбленных проносятся надо мной, ночью — в огненные звезды, что загадочно мигают, пряча в себе вечно неразгаданные тайны. И чем дальше простирается моя жизненная дорога, чем больше на ней слез и печали — тем ближе мне это высокое Небо со своими щемящими Песнями. Много их там. И одна из них — нашего искреннего белоруса Якова Науменко. Спасибо, Яков! Низкий поклон Вам, Вашей памяти, Яков Павлович!

Вновь возвращает память к бархатно-зеленой лужайке с белой клумбой посередине, на которой шикуют изумительные ромашки-васильки, и тут же окружает ее множество луговых цветов.

Мне так хотелось остаться там навечно, дышать ароматом луга и леса, что голубел-зеленел рядом. И мы пошли тогда поклониться и ему. А по дороге я слышала, как рассказывала Алла Яковлевна маме:

— Знаешь, он, как и я, много пережил. Была и у него, как и у меня, семья. Яков сильно переживал тогда разрыв с нею. На сына молился.

И я вспомнила вдруг, как однажды на концерте Якова Науменко, на его творческом вечере в Доме офицеров, на сцену поднялся светловолосый мальчишка с роскошным букетом в руках. Вспомнила, ведь, казалось, необычным светом в тот миг были залиты и сцена, и зал. Мальчик был так похож на отца! И зал ответил аплодисментами на волнение певца, на его слова:

— Спасибо, сынок!

Так что же ты есть, жизнь, когда мне так тревожно, больно воспринимать чужое, если от слез влажные глаза, когда думаю о трагической судьбе известного талантливого артиста? Бесконечно думаю, почему столько в мире несправедливости, зла. И сегодня гибнут люди из-за этого зла, ломаются, крошатся судьбы талантливых...

А что, если это убийство артиста-белоруса кем-то организовано? Кто его расследовал? Народный любимец, искренний, очень честный, широкой души

человек. Если смеялся — все за ним хохотали. Алла Яковлевна рассказывала смешные истории, где Яков был на высоте (я их здесь опускаю). Больше интересует Песня, и дуэт его с Натальей Романской. Тут уже я интересовалась, почему так мало записей с нею. Звучит в душе и сегодня его простой ответ:

— Когда работал в ансамбле «Бяседа» — тогда и записывался с нею, теперь же я — солист Государственного концертного оркестра, которым руководит известный Михаил Финберг. Михаил Яковлевич переманил меня из «Бяседы» к себе. Поэтому я теперь без Натальи Романской.

И мне так жаль было этого прощания с певицей!

— Со Светланой Суседчик еще неплохо получается, — помнится, уточнил Яков Павлович. И еще раз подтвердил: — Народные песни с ней петь — загляденье!

О, да! Здесь я полностью согласилась с артистом. Ее я тоже сильно люблю!

— А знаешь, почему, Дашенька, у нас такие народные голоса? Все мы вышли из Государственного академического народного хора имени Титовича, где я четыре года пел с Натальей Романской и Светланой Суседчик. Так создалась первоначальная «Бяседа» — с нас, с нашего трио.

Саснова клёпка, дубова дзенца,
Не цурайся майго сэрца…

Вспомнилась мне тогда великолепная народная песня в исполнении Якова Павловича вместе со Светланой Суседчик. И я уже жалела тогда, что маловато и здесь великолепных записей. Певец не соглашался:

— Я ищу себя все время. Все время недоволен собой. И так, и так экспериментирую. И — всегда пою живым звуком. Не прихорашиваю себя. Какой есть, такой есть. А «фанерщиков» я не терплю. Это просто нечестно — обманывать слушателя. И музыку сам часто пишу, если понравится чей-то текст. Так было у меня с Алесем Бадаком, с Владимиром Мозго. «Іншапланецянку» хорошо воспринимали на концертах.

А я, тогда еще школьница, возразила:

— Нет, это не Ваша песня! Это проходное! Не отступайте, Яков Павлович, от глубокой лирики. Не отступайте от белого, в цвету, сада, который расцветает и опадает, который дарит зрелые плоды по осени. Дарите, бесконечно дарите нам такие песни, как «Мілая мая», где солистом только Вы.

Я и сейчас слышу, как удивленно откликается певец на мое замечание, слышу, как вылетает его душа навстречу своей судьбе. Слышу, как щемит его чувствительное сердце. Он же не только артист-исполнитель чужих песен, но и создатель многих своих.

— Откуда это у Вас, откуда? — восторженно спрашивала я уже вместе с мамой.

— Да из рода моего, наверное. От отца, который не мог дня прожить без гармошки, играл на свадьбах по всей Оршанщине. От мамы, которая пела и сейчас любит народную песню. Она и перелилась в меня, живет во мне. А в юности чем только не увлекался! И спортом, даже за юношескую сборную Беларуси по ручному мячу выступал, а после учился в приборостроительном институте на совершенно далеком от музыки отделении автоматики и телемеханики. И учился отлично, а бросил! Ведь душа вдруг встрепенулась! Песня! Нет мне от нее избавления и не будет никогда! Слава Богу, понял, чтобы стать профессиональным певцом, нужно еще и подучиться. Закончил и музыкальное училище, и знаменитый музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Москве, куда меня пригласили после победы на Всесоюзном радиоконкурсе «Новые имена».

— Но чтобы отлично исполнять народные песни, нужно постоянно слушать свой народ, слышать, как он их поет. Однажды видела я вместе с мамой, как известный руководитель нашего знаменитого «Свята» Василий Куприяненко в одной общей поездке по Полесью разговаривал с самодеятельными певицами. С какой любовью, с

каким вниманием он их выслушивал! Приходится ли Вам так соприкасаться душой со своим народом? — помнится, задала я ему однажды такой вопрос, уже в городской квартире артиста.

— О-о, — загорелся Яков Павлович. — Без этого никак! Если бы не такие встречи с людьми, разве бы я, горожанин, пусть и из провинциальной Орши, мог петь народные песни?! Деревня, деревенские люди — самые талантливые учителя. И еще работа в Государственном народном хоре имени Титовича, сама личность Михаила Павловича Дриневского, полешука-песняра, много дали!

В ансамбле «Свята». 1984 г.

Долго разговаривали мы тогда про народную песню, про талантливый белорусский народ. Мама вспоминала о своей жизни на Полесье, о встречах с известными народными самодеятельными артистами. Анна Венгура, Степан Дубейко... Как роднились души на дорогах таких встреч!

Как улыбался, как расцветал Яков Павлович от маминых воспоминаний о Полесье! Как удивлялся, что она встречала в своем путешествии по Туровщине и знаменитого нашего Баяна Владимира Мулявина! Как много дала мне она, когда брала с собой в такие поездки! И вот Яков Павлович, певец, который также — от гомона наших пущ, от наших лугов и полей, — тоже ее заслуга.

Воспоминания о тех встречах согревают душу. И эта неповторимая настоящая песня, что появилась у Якова Науменко в конце его жизни, — все больше и больше очаровывает слушателя, зовет в неизведанные дали.

Даро-о-жка, даро-о-жка,
Даро-о-жка буйная,
А на той дарожцы
ляжыць тры слядо-о-чкі,
А ў каждым слядо-о-чку
Стаі-і-іць па садо-о-чку.

...Как же это здорово, что Яков Науменко прошел через фольклор, через народную песню! И не потерял, не похоронил ее навсегда, если так по-новому ярко, свежо зазвучал его голос в наших сердцах! Так и хочется здесь воскликнуть: Яков — живой, он — навсегда с нами! И как же больно звучит сегодня это исторгнутое из себя, как будто с сожалением, будто бы предчувствуя свою судьбу:

Даро-о-жка, даро-о-жка,
Даро-о-жка буйная…

Невольно вытираю слезы и бегу на ту дорожку с волнением и тревогой. А вдогонку мне несется голос Якова Павловича, его душа:

Я дзякую табе за ласку і цяпло,
Я дзякую табе, пяшчотна і сардэчна.
Лілею ад мяне удалеч аднясло…

...О, как хочется поблагодарить Якова Павловича за созданное чудо!

Искусство суждения

Елена ЧИЖЕВСКАЯ

«Рублевский» жанр нашей литературы

Приключенческий жанр любят очень многие — если не в виде романов, то фильмы о приключениях любят смотреть уж точно. На что вообще даны человеку воображение, способность мечтать? На то, например, чтобы в кои-то веки воспарить над давящей повседневностью и унестись с порывом свежего ветра в загадочный Зурбаган — как это делал полуголодный и больной Александр Грин, умиравший в Старом Крыму...

Приключенческий жанр, пожалуй, древнейший в мировой литературе. Гомеровская «Одиссея» до сих пор способна увлекать и нас, современных людей, — если, конечно, человек не окончательно заморочен бесконечным «компьютерным сидением» или, извините, безудержным «заколачиванием бабок». Странствия любознательного человеческого духа издавна принимали разные *формы*: фольклорных волшебных сказок, рыцарских романов, «плутовских» романов, романов «плаща и шпаги», литературных сказок (Перро, Одоевский, Гофман, братья Гримм, А. Толстой, Памела Треверс). С приближением и наступлением эры научно-технической и космической пришел черед литературы *научно-фантастической* (достаточно вспомнить Верна, Уэллса и Бредбери, а из советских — Беляева и Ефремова); в настоящее время появляются и иные ее разновидности (Пелевин, Лукьяненко). Вот и наша, белорусская, литература внесла свой достойный вклад в эту богатейшую «копилку чудес»: речь идет о цикле из 4 романов «Авантюры Прантиша Вырвича» Людмилы Рублевской. В нем в изобилии имеется все, чем так увлекает нас литература этого жанра: интриги сильных мира сего, тайны подземелий, поиски сокровищ, мистические реликвии, похищения, схватки не на жизнь, а на смерть, но главное — *сильные духом* люди, их верная *дружба* и настоящая *любовь*, по которым, вероятно, втайне тоскует сегодня наш рационалистичный и прагматичный мир. И вот что очень важно: эти захватывающие события происходят на *нашей земле*, в родных или хорошо знакомых нам местах — Полоцке, Менске, Слуцке; действуют живые, понятные нам люди, в чем-то похожие на *нас* сегодняшних, — и потому все это гораздо больше говорит нашему уму и сердцу, нежели «Тайны мадридского двора» или подвиги французских мушкетеров.

Верный признак действительно талантливой приключенческой литературы — если не можешь отложить книгу, пока не дочитаешь ее до конца. Так и происходит наверняка с книгами «Прантишева» цикла у его читателей. Однако ограничиться тем, что просто назвать их интересным чтением, — нельзя. Это, пожалуй, рождение *оригинального жанра* нашей литературы. Конечно, возник он не на пустом месте. Есть у нас и «Фантастические рассказы» Яна Барщевского (малый жанр), есть замечательный Владимир Короткевич с его «Черным замком» и «Дикой охотой» (исторический детектив), есть и Янка Мавр, незаслуженно забытый, с его «Полесскими робинзонами» и «Страной райской птицы» (детская литература). Однако приключенческий цикл Людмилы Рублевской имеет свои особенности, которые дают основание для такого категоричного утверждения.

Поэтому — немного подробнее об этих особенностях (и достоинствах) «Прантишева» цикла.

Прежде всего хочется отметить *исторический фон* романов — серьезно изученный автором. Никакой приблизительности, свойственной многим, даже хрестоматийным, произведениям этого жанра! В самом начале цикла точно и вместе с тем образно отражена историческая обстановка накануне разделов Речи Посполитой: «1759 год от Рождества Христова, времена смутные, чужие войска так и рыщут по стране; одни магнаты сотрудничают с россиянами, другие интригуют против, сеймы срываются одни за другим... В Пруссии война, король-саксонец удрал из своего Дрездена в Варшаву. С собственным народом сладить не может, а до здешнего ему и совсем как до сухой груши... Он даже по-польски, сидя на польском троне, не научился изъясняться, не говоря уж о белорусском языке. А соседи, слабость власти почуяв, не прочь снова погулять по литвинским землям. Потому что земли эти искони на перекрестке, добывают их... упорно, столетиями, не жалея средств и жизней человечьих...»

Через весь цикл красной нитью пройдет эта тема — *трагичной судьбы* Беларуси, которой Господь определил быть перекрестком самых разных интересов: политических, экономических, культурных, конфессиональных, этнических... Автор не делает громких заявлений и выводов «от себя» (что вообще неуместно в произведениях подобного жанра), но большой *фактический материал*, собранный ею, сам по себе просится к осмыслению. Размышляют и горячо спорят о судьбах своей родины герои романного цикла — а вместе с ними и мы, читатели, потому что через два с половиной столетия (!) после описанных событий то, что волновало и болело тогда, остается актуальным и сейчас...

Интригуют, враждуют, мирятся и снова враждуют между собой *реальные исторические личности*: Радзивиллы, Сапеги, российская императрица Екатерина II, фаворит Григорий Орлов, циничный и изворотливый дипломат Репнин и другие. В персонаже князя Михала Богинского, сибарита и «любимца муз», легко узнается великий гетман литовский Михал Казимир Огинский: он и на флейте отлично играет, и для арфы педаль изобрел, и прекрасные картины пишет — прямые авторские подсказки...

Даже неодушевленные «персонажи» — *чудеса техники* XVIII века — не являются плодом разыгравшегося воображения автора. Красочно описанная «железная черепаха», шагающая и стреляющая (современному читателю она покажется неким «гибридом» танка с НЛО) «заимствована» у Леонардо да Винчи. Подводная лодка-душегубка, из которой герои выходят, как Иона из чрева кита, «вызвана к жизни» ученым немцем по чертежам российского самородка Ефима Никонова.

С новейшей (для того времени) техникой соревнуются за души людей и *старинные реликвии*: «рамфея святого Маврикия» (она известна еще как копье Лонгина), шлем Альбукасиса, корона святого Альфреда. Вокруг них, неодушевленных, кипят нешуточные живые страсти — для этого они и понадобились автору. И роль свою сыграли прекрасно. А сам автор ненавязчиво дает понять: не от них, реальных или мистических, зависит наша жизнь, а от нас самих — ума, чести, совести, силы воли, труда, любви...

Историзм и художественный *вымысел* в романах Л. Рублевской отлично уживаются друг с другом. Сложные и опасные, даже диковинные ситуации, в которые попадают герои за каждым поворотом сюжета, не выглядят надуманными именно потому, что тесно увязаны *с реальными историческими событиями* на землях Речи Посполитой. Если страна представляла собой такой бурлящий котел, то в ней все возможно — примерно так может рассуждать читатель, и будет прав.

Приключения в романном цикле Л. Рублевской — это как причудливые узоры, вышитые на полотне. А само полотно — реальная жизнь. Множество ярко

выписанных эпизодов, на первый взгляд разноплановых, на удивление плотно, как художественные мазки, соединяются в широкую панораму разных социальных слоев той эпохи. Многоцветным калейдоскопом проходят перед нами магнаты, «посконные» шляхтичи, горожане, мужики, иезуиты, ученые мужи, солдаты, студенты, «лесные братья», лихие наемники, заезжие аферисты и шпионы, крепостные актеры, «либертены», получающие омерзительное удовольствие от собственной жестокости... Похоже, автор не забыл никого, чтобы социальная *картина эпохи* получилась как можно более полной и реалистичной — главным образом, на наших родных землях, но не только. Во Франции наши герои сталкиваются не с благородными мушкетерами, а с порочными аристократами: они глумятся над простым народом и, напуганные «до визга» грядущей революцией, способны на чудовищные деяния... В Англии наши герои сразу оказываются обворованными — как выясняется, «хорошо» грабят и убивают и в этой «цивилизованной» стране, изображающей из себя безупречный пример для всего мира... Необычное явление представлял собой «бойцовский клуб», где можно было наблюдать схватку лорда с уголовником — этакая «демократия» от пресыщенности жизнью и поиска острых ощущений любой ценой...

Но, как говорится, бог с ними — с теми Англией и Францией. Нам бы со своей страной разобраться.

Бесконечные кровавые интриги магнатов в борьбе за власть — самая, пожалуй, характерная черта той эпохи. «Знаешь, какие страсти бушевали, когда польский трон делили? Август [саксонский] на него сел не только потому, что россияне поддержали да партия Чарторыйских, но и потому, что остальные не могли друг друга одолеть и решили: пусть ни вашим, ни нашим». Эти политические игрища, в которые поневоле оказывается втянутой вся несчастная страна, — порождают и все прочие беды. Известное дело: паны дерутся, а у мужиков чубы трещат.

Честно представил автор на наш суд порочные *нравы* и *образ жизни* этой касты «небожителей», а мог ведь возникнуть соблазн впасть в умиленное приукрашивание «родной» аристократии — хотя бы «назло» многолетней традиции изображать нас, белорусов, исключительно нацией мужиков. Так, поначалу и юный шляхтич Прантиш, воспитанный на «рыцарских идеалах» шляхетства, пропитан «по самую макушку» кастовыми предрассудками... Но автору истина дороже. Не идеализирует Л. Рублевская знаменитый «сарматский» принцип «равенства» в шляхетском сословии, не зависевший якобы от титула, состояния и должности. «Известно, шляхтич к шляхтичу должен обращаться «пан-брат», как к равному, независимо — магнат ты или «посконный», у которого ни одного холопа не имеется. Но в действительности шитый золотом кунтуш облезлому соболю не ровня. С братьями Володковичами, что с Радзивиллами водятся, столкнешься не в добрый час... сто и одна плеть обеспечены. Ни за понюшку табаку — так, для форсу».

Как известно, короля играет его свита. Так и за каждым большим паном тянулся огромный шлейф из мелкой шляхты, в чьи обязанности входило изо всех сил доказывать, что именно их пан — самый важный: сытный кусок за панским столом надо было отрабатывать. И издевки пана принимать как неизбежное приложение к тому сытному куску...

Распущенность магнатов, как следствие их полной безответственности и безнаказанности, прямо-таки вопиет. Вот старший брат будущего короля Станислава Понятовского, Юзеф, «по Варшаве в карете разъезжает в компании любовницы Юзефки... А та — в костюме Евы, прости Господи...». Вот полоцкий воевода Александр Сапега «добивается булавы польного гетмана литовского; говорят, дал кабинет-министру королевскому немерено денег... даже жену свою подослал к его сыну, чтобы своими прелестями одарила. Бесчестья огрёб, но ничего не добыл».

Резко выписан образ Иеронима Радзивилла — жестокого до безумия (или безумного до жестокости?). «Попасть в подвалы Радзивилла Жестокого — все равно что в пекло. Никто оттуда не выходил живым, узники разных званий гнили живьем. А пана еще и подбадривали крики и стоны заключенных — поэтому пыточное мастерство в его замках ценилось выше даже поварского. <...> Простых врагов князь приказывал зашивать в медвежьи шкуры да собаками травить. Но и подлизываться к нему опасно. Один слуга хотел было перед паном выслужиться, сказал, что имеет единственное желание — быть всегда на глазах у господина... Так тот приказал повесить его перед своим окном — чтобы сбылась мечта бедняги. Три жены сбежали от князя, намаявшись...»

При всем том князь Иероним — ценитель и покровитель искусства. Пользуясь этой «слабостью» своего несимпатичного персонажа (не все же ему пытать и казнить), автор не упускает возможности поближе познакомить читателя с таким необычным явлением, как *крепостной театр*. Почему необычным? В таком виде оно, пожалуй, имело место только у нас. Прежде всего, поражает разносторонняя талантливость выходцев из «мужичьей среды». «А какой талантливый местный люд, — восхищается директор-итальянец слуцкого театра. — Крепостная девушка, выросла в черной избе, и вдруг — танцует, как античная богиня, и передает все тонкости переживаний царевны Навсикаи, всматривается в ожидании Одиссея в мнимую морскую даль так, что светская публика плачет, смывая пудру. А та девушка и моря не видела!..» (Когда наш знаменитый поэт позднее написал известную строку «бо я мужык, дурны мужык», он вовсе не имел в виду мнение мужика о самом себе — таковым его удобно было считать многим другим...)

Однако каков покровитель — таково и искусство. Да, слуцкий крепостной театр Иеронима Радзивилла был одним из лучших театров Европы: с хорошей сценой, с передовой по тем временам машинерией, с прекрасными оперной и балетной труппами. И он же являл собой ужасающий образец *подневольного* искусства, опекаемого не знавшим удержу деспотом. «Князь может больного артиста выгнать на сцену, а если оплошает — посадить в карцер... Дети в балетной школе умирают без счета... Забирают их у родителей, крестьян и простых горожан, — насильно! На сцену жолнеров выводят! С оружием!»

Почему болеют и мрут артисты — становится понятным из описания репетиции, настолько убедительного, что мы словно присутствовали на ней сами: «...Спектакль представлял собой странную смесь оперы и военной подготовки... Артисты были при полном параде, как во время премьеры, и старались, как жолнеры на плацу... Кроме взрослых в балете участвовали и дети... Ребятишки, худенькие, как щепочки, набеленные и нарумяненные, двигались как заводные... Но неожиданно действо прервалось страшным ругательством на немецком. Похожий на лягушку пан выскочил на сцену и принялся лакированной тростью бить по рукам и ногам артистов, которые, по его мнению, ошиблись. Доставалось и детям, но они, как и взрослые, не плакали и не уклонялись от ударов, а застыли в нелепых скульптурных позах... Никто не вскрикивал, не стонал — звучали только ругательства и глухие удары».

А вот эстет-садист Иероним выступает в роли этакого «пигмалиона», но только наоборот: тот греческий скульптор, как известно, оживил прекрасную статую, а наш украшал свою пиршественную залу живыми людьми, превращенными в статуи: «Прантиш вспомнил рассказы о крепостных актрисах, которых вынуждали изображать статуи, — присмотрелся... И действительно, мраморные богини дышали! <…> Одна случайно переступила с ноги на ногу и тут же замерла под злобным взглядом придворного маршалка...»

О многом говорит даже «просто» описание повседневного *обеденного стола* магната: «...Стол был богатейший... Кабанчики с приставленными крыльями... Щуки, с головы отварные, внутри запеченные, с хвоста жареные... Серебряные сервизы — сложные конструкции из тарелок на изящных маленьких колоннах,

украшенные изображениями античных богов... Роскошь! А есть не хочется». Такой краткий вывод после развернутого описания — сильный авторский прием: он разом, без лишних слов, сводит на нет все расписанные ранее красоты...

Читатель мог бы уже и забыть про этот пиршественный стол магната среди множества другой интереснейшей информации, но... в следующей книге цикла он встретит (неслучайно) описание другого обеденного стола — мужицкого, в нищей деревне у никудышного пана: «В хатах дышать было нечем, скотина содержалась вместе с людьми. Особенно поражало то, что вместо стола в полу был выкопан глубокий ровчик квадратной формы. На его край садились, спустив ноги, а центр использовали как стол <...> ...Кусок чего-то черного, похожего на торф... это их хлеб... толченая кора, мякина, сушеная лебеда... А зерно... которое они вырастили, уже все свезено в панские клети — был недород, а подушное [налог с «души»] не скостили». Поневоле вспомнишь тот стол и сравнишь с этим — как говорится, почувствуйте разницу...

Конечно, далеко не все белорусские мужики так бедовали, немало было и более «справных» деревень (что отмечает и автор), и все же этот умело использованный *прием контраста* ошеломляет...

В общем, автор «всего лишь» описывает, а выводы читатель уж делает сам. Полное презрение к человеческой личности и самой жизни человеческой — основная, пожалуй, «нравственная» норма в клане магнатов. Что уж говорить о сладострастном садисте Иерониме, если даже утонченный эстет Богинский не гнушался коварно нарушить данное им честное слово! В соответствии с негласным «кодексом чести магната», выдать на растерзание, в случае «надобности», даже того, кто помог или спас, не есть подлость или предательство. Любой поступок высокородного пана, даже самый низкий, хорош и справедлив «по умолчанию». Все «прочие», кто не имеет высокой привилегии и счастья принадлежать к клану знати, — пыль на панском сапоге. Служить пану, пусть и ценой собственной жизни, — это уже само по себе и святой долг, и большая честь для этих «прочих». Таково губительное воздействие неограниченной власти на душу человека. (И сколько же «благородных» поколений должно было смениться, чтобы такая «мораль» прочно засела уже в самих фамильных генах?) Вполне испытал на себе «сладость» этой чести и «посконник» Прантиш Вырвич, полюбивший надменную княжну Полонею Богинскую. Впрочем, автор старается быть справедливым: случаются и у «небожителей» проблески положительных чувств, если совесть не совсем заглохла: легкий стыд за совершенную подлость, даже некоторая благодарность или сочувствие, — потому и получаются эти персонажи живыми, не трафаретными.

...Конечно, было в жизни шляхты (особенно литвинской) и совсем другое: и воинская доблесть, и честь, и настоящее благородство — это мы тоже найдем в «Прантишевом» цикле Л. Рублевской. Как всякий настоящий художник, она не может ограничить себя одной краской — черной или белой...

«Благодаря» одному из главных героев, Балтромею Лёднику, выходцу из мещанской среды, автор получил возможность представить нам жизнь другого, отличного от шляхетского, социального слоя — *городских обывателей*. «Добрейший человек [Иван Ренич], только странный: идет улицей, в книгу нос уткнув, ночами в трубу на звезды смотрит, ящериц и других тварей в банках со спиртом держит... А еще подозрительно, что с евреями дружит, с аптекарем Лейбой сколько вечеров за учеными разговорами провели! Говорит, все мы Божьи существа, всем Господь одну землю дал, в одном городе поселил, на один рынок ходим — и нечего нам делить, когда враги нашу землю поделить мечтают. Не иначе — каббалист и чернокнижник».

Типичные понятия и нравы местных обывателей представлены не прямым описанием, а *через их отношение* к «книжному человеку» Ивану Реничу. Почему «наградили» его клеймом «чернокнижника»? Потому что любые интересы и по-

требности, выходящие за пределы бытовых нужд и забот, им непонятны и глубоко чужды. А эти подозрительные для них заявления, что «все мы Божьи существа» и «нечего нам делить»?.. Узкий круг понятий мещанской среды не допускает инакомыслия. Все, что из него выпадает, вредно и даже опасно. Слабым лучом света выглядят в этой среде местные *интеллигенты* — торговец книгами и аптекарь. Кстати, такие люди, хотя и редкие, были типичными для эпохи Просвещения. Они искренне верили, что стоит дать всем людям образование — и мир сразу изменится к лучшему. (Вся дальнейшая история показала, что одного образования для этого далеко не достаточно...)

Весь цикл построен на повествовании о похождениях *двух главных героев* — «посконного» шляхтича Прантиша (Франтасия) Вырвича и его слуги, а потом наставника и друга Балтромея (русское соответствие — Варфоломей) Лёдника, ученого доктора, мещанина по происхождению. Блестяще выписанная пара Прантиш — Лёдник напоминает классическую пару «хозяин — слуга» (она нередко встречается в мировой литературе), но только наоборот: хозяин (Прантиш) больше подходит на роль практичного, с авантюрной жилкой Санчо Пансы, а слуга (Лёдник) — на роль Дон Кихота, мечтателя и идеалиста. Но это, конечно же, совсем иные образы — как и сама эпоха и «география» повествования.

В начале повествования Прантиш — беглый школяр Менского иезуитского коллегиума, «а сегодня — пройдоха, голодранец, бродяга, галыганец и как там еще чествовала его торговка булками на Нижнем рынке, и что впереди — неизвестно, ведь в восемнадцать лет даже святой Франциск Ассизский имел в голове ветер, а в руках — чарку вина... А почему бы школяру, который основательно овладел кухонной латынью, не дойти до Дрездена или даже до Рима? Повсюду найдется жирная торговка булками, которая иногда теряет бдительность ради... перепалки с соседками по базару, и уж ясное дело, совершенно не способна догнать шустрого, как ртуть, потомка обнищавшего шляхетского рода Вырвычей герба «Гиппоцентавр»...» Всего несколько строк — а сколько «информации» о герое содержится в них: и фамилия, и происхождение, даже с гербом, и некоторая образованность, и мечты, и кое-какие живописные черты характера — в общем, выразительный эскиз к портрету героя в юности, причем (схожий прием) сделанный им самим. Автор здесь как бы и ни при чем. Такая *«отстраненность»* станет одной из сильных сторон писательской манеры Людмилы Рублевской на протяжении всего цикла: скромно «отойти в сторону», чтобы предоставить свободу мыслей и действий, и даже сам рассказ — своим героям. В результате они перестают быть для нас литературными персонажами и становятся живыми людьми.

Не подумайте: наш герой не какой-нибудь прогульщик или воришка (булки на рынке не в счет — это от голода)! Причина его побега из коллегиума — благородная месть за товарища, погибшего по вине злобного «латиниста». «И однажды пан Бонифациус, поздно придя в свою комнату, услышал хлопанье крыльев и страшное карканье. Вокруг летала нечистая сила, орала и била крыльями по лысой голове, наполненной спряжениями латинских глаголов... Когда прибежали на дикие крики учителя, он мог только хрипеть, да еще, лежа на полу, что-то от себя отгонял руками... Это «что-то» при зажженном свете оказалось вполне материальным: по комнате летали десятка три ворон... перья кружились черной метелью, ну и обгадили божьи твари все что могли.

Кто напустил птиц в комнату, выяснилось быстро: в каждом классе имелись свои «цензоры», назначенные ректором, они не считали бесчестьем выдавать товарищей. За Прантишем прибежали целой погоней, как за литовским волком... Но Вырвича так просто не поймаешь!.. Так что назад в Менск дороги нет».

На первый взгляд кажется, что здесь просто мастерски рассказан курьезный случай из жизни коллегиума, а шкодливый ученик и нелюбимый им учитель словно пришли к нам не из XVIII столетия, а прямо сегодня, разве что «методы

борьбы» другие. Задача была — позабавить читателя, и она решена на «отлично». Но взглянем внимательнее на этот «вороний инцидент». Воображение пана Бонифация явно склонно было «рисовать» ему нечистую силу во всем и везде — *типичная черта иезуита...* «Голова, наполненная спряжениями латинских глаголов», могла принадлежать только черствому педанту, лишенному живых человеческих чувств. Очевидно, *типичный преподаватель* коллегиума — других не держали. Автор не любит прямолинейности в психологических характеристиках, предпочитает давать их через косвенные признаки или «глазами» других персонажей, и такие *«косвенные характеристики»* получаются гораздо более выразительными. Кстати, и читательская мысль не потребляет уже готовое, а может поработать сама...

И еще важный момент. Вряд ли наши читатели, не пресыщенные знаниями по родной истории, хорошо представляли себе порядки в Менском иезуитском коллегиуме того времени. Упомянутые здесь «цензоры», официально назначенные доносчики, — интересная деталь, говорящая о многом. И таких исторических деталей в романах «Прантишева» цикла множество, поэтому еще одно ценное качество этого цикла — *познавательность*. Автор даже и не скрывает своего горячего желания заинтересовать нас богатейшей историей своей страны: при всяком удобном случае упоминает выдающихся личностей, «пристегивает» примечательный исторический эпизод, часто курьезный, или приводит цитату из старинного документа. Причем умеет сделать это естественным образом, «к слову» — без назидательности, используя оригинальные *ассоциации*.

Так, например, когда действие будет перенесено во Францию и речь зайдет об «Оленьем парке» любовниц, который фаворитка мадам Дюбарри устроила для старого греховодника Людовика XV, автор находит удобный предлог познакомить читателя с нашим старинным законодательством: «Да, тут не действует раздел девятнадцатый, артикул тридцать шестой Статута Великого Княжества Литовского: “Сводники и сводницы, ради устранения распущенности и склонения женщин к разврату, не могут быть терпимы, таким людям следует отрезать нос и уши, если же они будут продолжать заниматься тем же самым и после наказания, то лишать их жизни”.

Автор, с помощью своих героев, не упускает возможности напомнить нам о существовании богатейшего древнегреческого эпоса (а возможно, и заинтересовать им читателя), — ведь и мифы, и эпос на протяжении многих веков были сокровищницей сюжетов, идей и образов для философов, литераторов, художников. Героям «Прантишева» цикла часто случается попасть в такой переплет, что спасти может только «художественное» отношение к жизни, хорошо приправленное юмором. С горя они даже затевают игру — сравнивают свои злоключения со странствиями Одиссея. Столько пожаров и руин довелось видеть им за время своих странствий, что «на десять Трой хватит». Жуткий плен у барона-«прогрессиста», в котором долго содержался и жестоко эксплуатировался Лёдник, сравнивается с пленом Одиссея у нимфы Калипсо: «исчезнувший для мира, заколдованный герой, потерявший чувство времени». Умная, волевая и талантливая паненка Доминика отлично подошла на роль царевны Навсикаи: она помогла своему «Одиссею», Прантишу, выйти из опасной запутанной ситуации. А уж когда наши герои оказались «между двух огней» — российскими войсками и конфедератами, — тут им сразу вспомнились страшные мифические Сцилла и Харибда... Недаром Прантиш, у которого обнаружился литературный дар, задумал создать свою эпическую поэму о странствиях белорусского Одиссея — если, конечно, сам выйдет из них живым...

Вот такие прекрасные ассоциации и жизнь героям облегчают, и авторское повествование украшают...

Однако пора вернуться к героям романного цикла.

Второй из героев классической пары, в противоположность юному школяру, — немолодой уже Балтромей Лёдник, обладатель двух дипломов: доктора вольных наук Пражского университета и доктора медицины Лейпцигского университета — а также бывший алхимик и раскаявшийся чернокнижник.

Бутрим «был сыном полоцкого скорняка... но единственный сын... отца сильно разочаровал... скорняка из него не вышло бы никогда, хоть с самого всю кожу сдерни. Недотепу пришлось отдать в ученики к чудаковатому владельцу книжной лавки и переплетной мастерской купцу Ивану Реничу». «Недотепа» — потому что книжками интересовался юный Бутрим гораздо больше, чем выделкой шкур. Здесь тот же прием «косвенности»: это грубоватое определение на самом деле характеризует не парнишку, а его отца: через его отношение к сыну как к «недотепе» мы словно воочию видим самого скорняка — простого честного трудягу, в понятии которого увлечение книгами — бесполезная дурь. Впрочем, это все же был неплохой отец: ему хватило ума не запирать мальчишку «для вразумления» в чулан, а «смириться с тем, что сын пойдет по ученой части». Это будет Полоцкий коллегиум, два университета, «докторская цепь на грудь», общение с ученым миром Европы...

Сын полоцкого скорняка возник в романе, конечно, неслучайно. Он сразу напоминает нам другого славного сына полоцкой земли — Франциска Скорину. Далее и сам автор сравнивает разностороннего, жадного до знаний своего героя с нашим знаменитым просветителем. Правда, сравнение неожиданное: «Новые и новые знания пьянили сильнее вина... более, чем богоугодное лекарское дело, захватили его науки тайные... Найти философский камень!.. А что, даже другой полочанин, славный Франциск... несколько лет жизни на обретение того камня угробил, перед тем как начал книги печатать». Так, «между прочим», расширяет автор наше представление о славном первопечатнике. Увлечение Скорины алхимией не должно умалять нашего к нему уважения: для эпохи Возрождения в Европе был вообще характерен мощный порыв к познанию мира во всем его разнообразии. Зарождавшаяся наука ставила перед собой, в частности, благородную задачу борьбы с процветавшими тогда дичайшими суевериями. (Многочисленные примеры таких суеверий тоже приводятся автором: вопиющая расправа — вымазывание дегтем и закапывание живьем в землю — с бедолагой, подвернувшимся под руку замученным эпидемией «язвы» мужикам, или, при затянувшихся родах, «выманивание» младенца на свет Божий... сахаром. Что поделаешь — без таких «деталей» картина эпохи была бы неполной.)

В том «первобытном научном бульоне» очень трудно было отличить поиски истины от опасных заблуждений — даже и благонамеренным ученым. Но было ведь немало и таких, которые сознательно стремились вломиться в темные потусторонние области с целью получить власть над жизнью и самой душой человеческой. Во второй книге цикла автор делится с нами малоизвестными сведениями о знаменитом «докторе Ди» — английском механике, оптике, географе, но одновременно — «собеседнике» потустороннего мира и «специалисте» по «тайным наукам». Таких «докторов» было гораздо больше, чем принято думать. Это и была одна из причин, почему тайные общества сатанинского толка расплодились как грибы по всей Европе... В четвертой книге автор подробно повествует об «Обществе прогрессивной медицины» — о его преступных целях и отвратительных «методах»...

Лекарь и хирург от Бога, выдающийся ученый и самоотверженный доктор-практик, свято соблюдающий клятву Гиппократа, Лёдник несчетное количество раз спасал здоровье и жизни людей. Под стать ему и верная супруга — прекрасная лицом и душой женщина, талантливая лекарша и повитуха. Свое имя — Саломея — она получила тоже неслучайно. Наверняка вспомнилась автору Саломея Русецкая, необычная женщина, знаменитая в свое время лекарша. Можно по-разному относиться к перипетиям ее личной жизни, но успешно

делать операции на глаза — в восемнадцатом-то веке! — это вам не шутки. (Еще и еще раз удивляешься тому, насколько богата наша земля талантами. Вспоминается, как при посещении группой наших туристов Кракова экскурсовод, пожилая польская учительница, честно признала: «Семьдесят процентов знаменитых поляков — белорусского происхождения».)

Не раз «в благодарность» за помощь и спасение нарывался Лёдник на обвинения в колдовстве. Правда, причиной тому было не только дремучее невежество его пациентов. Л. Рублевская и здесь не ограничивается однозначно положительной характеристикой: человек ведь не из однородного теста слеплен — он «со всячинкой». Так и любознательность, ценнейшее качество, может быть направлена по ложному пути: в липких сетях «пауков от науки» неоднократно случалось запутываться и Лёднику — с его пытливым и благородным умом. «Чернокнижник» искренне каялся, отрекался, снова увязал и снова каялся... Только большая любовь к близким людям и преданность им спасла его от темного наваждения.

Исключительно привлекателен образ Лёдника — как простолюдина с большим чувством собственного достоинства. Петровское выражение о том, что достоинство человека нужно «не по званию, а по годности считать» было и его «символом веры». Даже в положении слуги он оставался верен своим принципам — и под розгами, и под пытками палачей. Когда «ничтожный мещанин» Лёдник (даром что дважды доктор наук) получил шляхетское звание — причем за доблесть в бою, а не по купленному патенту (бывало и такое шляхетство) — это ни в малой степени не изменило его жизненных принципов. Уберегает он от пагубного соблазна «красивой» шляхетской жизни и своего молодого друга. «...Ты можешь представить меня с утра до вечера за пиршественным столом, под который я валюсь, напившись, а потом, едва продрав глаза, лезу защищать свою честь от пана-брата, и мы рубим друг друга саблями из-за кривого взгляда или толчка в плечо?.. А можешь представить, как я ору на сеймике в защиту не самого умного, но послушного депутата, которого поддерживает мой патрон?»

Огромное уважение вызывает его отношение к Прантишу, даже когда «глупый мальчишка», чванясь своим шляхетством, ведет себя с ним постыдно. За нелепыми выпадами пылкого юнца Лёдник сумел рассмотреть благородство и обостренное чувство справедливости и, в конечном счете, помог ему стать настоящей личностью.

Второстепенных персонажей в «Прантишевом» цикле много, но даже както неловко называть некоторых из них «второстепенными» в обычном значении этого слова — настолько подробно и убедительно они выписаны. Сопровождая главных героев, они «через себя» емко характеризуют их, а кроме того, существенно добавляют красок в «портрет» эпохи. Правильнее было бы сказать, что они — «немножко менее главные». Вот Полонея Богинская — спесивая магнатка с душой отчаянной девчонки... Герман Ватман — дорогой наемник, разносторонне «талантливый» убийца, богатырь, циник и насмешник; классический отрицательный персонаж, но при этом способен вызвать и некий проблеск симпатии к себе... Раина — «египетская принцесса» при маге-шарлатане, богато одаренная природой актриса с тонкой душой и трагической судьбой...

Вообще, *психологические характеристики* Л. Рублевской, за редкими исключениями, достоверны и художественно оправданны.

В романах «Прантишева» цикла, при всей занимательности их фабулы, имеет место серьезное *осмысление* исторических событий накануне разделов Речи Посполитой, причем литературный вкус и чувство меры автору не изменяют. Оно основано на хорошем *знании* нашей истории. Особенно радует *непредвзятость* автора — ведь, что греха таить, даже наши современники, рассуждая о тех давних событиях, часто впадают в однобокость: поддерживая и обеляя ту или иную сторону конфликта, резко чернят другую. В спорах наших «западников» и

«славянофилов» Людмила Рублевская занимает свою позицию: она на стороне *объективных* фактов, то есть *исторической правды*.

Так зачастую выглядели, к сожалению, «благородные борцы за независимость» своей родины: «Твои паны-братья видят не дальше кончика своей сабли. Державу уже, считай, профукали... Месье Шарль Дюмурье полностью прав, когда называет нравы вождей конфедерации азиатскими и возмущается, что магнаты больше заняты балами, а простая шляхта — грабежами и дуэлями, чем войной. Знаешь, за что его шляхтюки ненавидят? За то, что написал герцогу Шуазелю [французскому финансисту], чтоб перестал выплачивать пенсионы всем этим Пацам да Богушам, потому что они тратят их не на войну, а на гульбу...»

Не лучше и другая сторона: «Может быть, российский генерал-мародер Кречетников лучше нашей шляхты?.. Обоз за обозом из разграбленных имений в Россию шлет! Или мерзавец фон Древич? Этот с семьями конфедератов расправляется, не жалея ни женщин, ни детей».

Так все-таки из-за чего весь этот сыр-бор в несчастной стране загорелся? — возмущенно вопросит иной читатель. Неужели только из-за того, что королем стал Станислав Понятовский, ставленник российской императрицы? Но ведь в стране, где короля *выбирают*, кто только им не был — и француз, и венгр, и саксонец, то есть чужаки. Тогда чем хуже «свой человек» Понятовский? (Кстати, от образованных поляков можно сегодня услышать, что это был совсем неплохой король — покровитель искусств и «демократ».)

Романный цикл Л. Рублевской помогает найти ответ. Если правящей верхушке страны, погрязшей в своих «шкурных» амбициях (как, например, тот же «симпатичный оригинал» Пане Коханку), нет дела до своей страны, ее реальной жизни, ее народа, — тогда до нее всегда найдется дело у соседей: Пруссии, России, Австрии... Недаром говорилось в те времена, что «Польша стоит на беспорядке» (чему во многом способствовало знаменитое *«либерум вето»*, из-за которого на 48 сеймах из 55-ти не было принято *никаких решений*). Но на беспорядке долго не устоишь...

До сих пор вызывает споры вопрос об *униатстве*. Нередко можно услышать такое мнение: это, мол, самая правильная, «серединная» конфессия, вполне соответствующая нашей «памяркоўнай свядомасці». Оно характерно для людей, мало или совсем незнакомых с историей вопроса. А она четко представлена в диалоге героев:

«— Россия же православных защищает... Елизавета Петровна [императрица] требует, чтобы нас перестали считать диссидентами, уравняли в правах...

— Да, под Польшей несладко литвинам... Сам видел, как православных братчиков камнями забрасывают. Храмы поотбирали, в униатство загоняют. Один такой... миссионер даже приказал православных из могил выкапывать и, как падаль, бросать. [Речь идет об Иосафате Кунцевиче, недавно причисленном к лику святых католической церковью.] Тут мы схизматики [раскольники], но и для русских — тоже схизматики, только уже католиками испорченные. Нас исправлять будут... А что с теми, кто унию признал, сделают... Особенно с простыми мужиками, которых из веры в веру плетьми перекрещивают...[1]»

Получается, что лучше всего бывает тогда, когда религии и конфессии просто мирно *сосуществуют* — без кровавых «разборок» за обладание истиной. С чем не могут разобраться люди — разберется Господь...

Удачно разнообразят картину жизни второй половины XVIII века *этнографические зарисовки* — местные обычаи, верования и суеверия. Вот на перекрестке дорог «скособоченный крест с остатками оброчного рушника, лет двадцать

---

[1] Здесь автор погрешает, очевидно невольно, против исторической правды. Возвращение униатов в православие происходило *постепенно и ненасильственно (за исключением, возможно, отдельных случаев).*

назад сотканного девушкой, опасающейся, что не поведут к венцу или что не вернется из славного королевского войска ее милый...». В корчме «от городенцев явственно несло козлиным салом, которым простолюдины, отправляясь в путь, смазывают одежду от паразитов». А вот менские школяры обсуждают, «где взять... физалис и жир дельфина. Потому что если слепить из смеси этих веществ зерна, подержать над огнем, разведенным на коровьем навозе, и дым от этой радости заполнит помещение, то все, кто находится там, покажутся друг другу великанами в облике коней и слонов. Вот бы такое чудо сотворить на занятиях по латыни!» И многое другое, не менее колоритное...

Вот то, что хотелось кратко отметить по *содержанию* романного цикла Л. Рублевской.

Теперь — несколько слов о его *форме*.

О некоторых авторских приемах уже упоминалось «по ходу дела» — они способствуют живому, непосредственному восприятию текста.

Исключительно точны *речевые характеристики* героев. Четко выстроена и пересыпана научными терминами речь ученых — Лёдника и Пфальцмана, даже когда они едко поддевают друг друга. Высокопарна грамотная речь магната — если, конечно, не задеть его за живое... Речь смекалистого Прантиша может быть какой угодно — в зависимости от того, с кем, когда и о чем идет разговор... А острый язык разъяренной корчмарихи и вовсе творит чудеса: «Ой, горе мне, да чтоб подо мной земля треснула — не было тут никаких бандитов... чтоб из вас черная юшка полилась... чтоб вы брюхом ездили да промеж ушей ветер свистал...» И корчмаровна растет достойной преемницей матери: «Всю корчму перевернули... чтоб их потроха на заборе сохли...»

И здесь же, рядом с такими «глубоко народными» выражениями, встречаются *латинские фразы*. Латынь была международным языком богословов и ученых; студенты и даже школяры могли при случае «блеснуть образованностью». Поэтому вкрапление латинских фраз в соответствующие диалоги выглядит совершенно оправданным. Иногда латинская цитата создает и комический эффект: так, Прантиш, намереваясь наврать с три короба, подводит под это «научную базу»: «Homo semper in ore aluid fert, aluid cogitat» («Человек всегда одно говорит, а другое думает»).

Даже нескольких приведенных в этом очерке цитат достаточно, чтобы оценить богатство и образность *авторского языка*. (Первая книга цикла переведена на русский язык Павлом Ляхновичем, и очень удачно. Остальные пока существуют только в белорусском оригинале, а взятые из них некоторые цитаты переведены для этого очерка.) Прежде всего, это *настоящий* белорусский язык (и литературный, и народный его пласты), добытый автором неведомо из каких глубин генетической памяти.

Пословицы и поговорки, меткие и к месту используемые, — не «кальки» с русских аналогов, а самобытные, подлинно белорусские. «Хто аглядаецца, той не каецца». «Па чырвоным дыване і ў печку не ганебна зайсці»; «Палез у бойку, як верабей у крумкачова вяселле»; «Розум не кулеш — у галаву не ўвальеш»; «Пазалацi вароне пер’е — вось табе і пава»; «У гэтым свеце каму матавіла, каму булава» и т. д.

Интересно читателю «послушать» *народные песни,* например старинную «ваярскую», — в исполнении пьяных жолнеров:

Падымаліcь чорны хмары,
неба пакрывалі,
Прыхадзілі злы татары
ды пад Крычаў сталі,
Запалілі стары Крычаў,
вежы запалалі.
Стары Крычаў падымаўся,
людзі ў рады сталі.

Или обрядовую, которая обычно пелась на свадьбе сироты:

...Рада б я ўстаці
К сваяму дзіцяці,
Бласлаўленнейка даці…
Дубовыя дошкі
Сціснулі ножкі —
Не магу пахадзіці.
Дубовыя цвечкі
Сціснулі плечкі —
Не магу ўстаці...

Если даже на свадьбе пелись такие песни — тяжкой была жизнь народа...

Или еще — «волшебную», «пад дуду і басэтлю», где христианский святой Георгий побеждает не какого-то там чужого змея, а местного «паганага цмока» из народных сказок:

...Ой, таму цмоку ў дзень па чалавеку,
А ў пятніцу рана яму двух мала...
Як зачуў Госпад да ўсю праўду:
— А святы Юры, апранайся,
Апранай шаты, шаты дарагія,
Надзявай боты да ўсё залатыя,
Да ідзі ў стайню, выбірай каня...
— Ой, Госпадзі ж Божа, сам я баюся,
Ад паганага цмока не адбаранюся.
— А святы Юрай, чаго баяцца?
Сячы канём, вострым кап'ём...

Как-то святой Георгий в нашем варианте не слишком в себе уверен. Но зато совершенно понятно: обращение к Господу обязательно укрепит и поможет в борьбе со злом...

Очень хороши *сравнения* — там, где автор соблюдает *меру* в их развернутости и количестве. «Молчание затянулось, как варшавский сейм», — все, кто хоть немного знаком с историей Речи Посполитой, оценят остроумие этой фразы. «Приключения без опасности — как затирка без соли», — подбадривает себя «пищевым» сравнением не дурак поесть Прантиш. Униженный и опечаленный Лёдник «побрел... как черный аист с перебитым крылом». Мех на одежде старого шляхтича «моль побила, словно Михал Глинский — татар под Клецком». Оттопыренные губы судьи-крючкотвора «шевелились, как две бледные гусеницы». «Да здесь вся земля нашпигована шпиками, как окорок — чесноком», — признается воевода Сапега, и т. д.

Есть, конечно, в «Авантюрах Прантиша Вырвича» и недостатки — было бы даже странно, если бы такой большой труд был совершенно их лишен. Встречаются ненужные повторы (речь не идет о тех сюжетных повторах, которые автор делает в последующей книге цикла для читателя, который почему-либо не читал предыдущей). Попадаются излишне многословные сравнения и ассоциации, слишком далеко уводящие от поясняемого образа. И трудно представить, например, чтобы князь Агалинский, даже в сильном подпитии, мог распевать «жалостную» песню на «мужицкой мове» про «подлую» любовь пани с мужиком. (Хотя, почему бы и нет? Он не слишком знатен, натура у него широкая, и потому мог быть ближе к народу.) Автор делает это опять же из лучших побуждений — в очередной раз постараться извлечь из забвения наш замечательный фольклор. Если же в данном случае это только стилизация под него, то достаточно удачная. А вообще, приводить примеры недостатков больше и не хочется — настолько перекрывают их достоинства этого большого литературного труда.

В качестве итога хочется подтвердить уже высказанное мнение об *оригинальности* жанра «Прантишева» цикла Людмилы Рублевской.

Прежде всего, солидный *исторический фундамент* отличает его от историко-приключенческих романов других авторов. Вальтер Скотт, например, тоже с уважением относился к исторической основе своего приключенческого повествования, но исторический фон в его романах гораздо более абстрактен, размыт, а герои в своих диалогах не вдаются в детали современной им политики и в их идейный смысл. Еще в большей степени сказанное относится к Александру Дюма, который считается классиком жанра, — вспомним кипение страстей вокруг... всего-навсего «подвесок королевы»...

Широкий реалистический *социальный срез* — еще одна особенность цикла, в отличие от условно-романтической обстановки, в которой разворачивается действие, например, у Гюго или Жорж Санд.

Психологическая разработка образов точнее и серьезнее, чем это обычно свойственно легкому приключенческому жанру. Вспомним четырех мушкетеров, ставших уже классическими образцами, — и сравним с персонажами Л. Рублевской. Там каждый из них представляет собой определенный типаж — здесь каждый образ, даже второстепенный, наделен *индивидуальными* чертами. Более того, образы даны *в развитии* (характерная черта реализма). На протяжении всего повествования герои «не стоят на месте», меняются — как это бывает и с реальными людьми на протяжении всей их жизни. Достаточно сравнить героев «Прантишева» цикла с теми же персонажами Дюма, которые остаются неизменными (если не считать возраста) и «двадцать лет спустя», и потом еще «десять лет спустя». У Людмилы Рублевской бесшабашный школяр начала цикла «дорастает» до умудренного жизнью человека, настоящего мужчины и убежденного (не стихийного) патриота.

О многом другом уже говорилось ранее, и повторяться не стоит. Не обо всем и можно сказать в рамках журнального очерка.

Согласитесь: все вышесказанное отличает цикл романов Л. Рублевской от привычного нам приключенческого жанра. Оно и дает право назвать этот жанр *«рублевским»*.

Главное, однако, не в самой оригинальности жанра. Сложно даже представить, сколько *труда* было положено автором на то, чтобы поднять все эти пласты — истории, литературоведения, этнографии... Такое возможно только ради *любви к своей родине*. И пока есть те, кто пишет такие книги и кто их читает, — «рамфея святого Маврикия» будет хранить Беларусь.

Имена

Портрет ученого и педагога

Восемнадцатого декабря 2018 года исполнилось 90 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, заслуженного работника образования Республики Беларусь, академика Белорусской академии образования, бывшего профессора кафедры археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ Эдуарда Михайловича Загорульского. Юбиляр принадлежит к поколению, на жизнь и деятельность которого существенно повлияли непростые реалии советской и постсоветской эпох, крутые переломы в общественно-политическом и социально-экономическом развитии, кардинальные изменения в образовательных стандартах, в методологическом обеспечении научных исследований.

Родился ученый 18 декабря 1928 года в Туле. В 1953 году окончил Московский государственный университет. С 1953-го работал в секторе археологии Института истории АН БССР. Здесь он осуществлял интенсивные научные изыскания под руководством яркой и многогранной личности патриарха белорусской археологии К. М. Поликарповича. Школа, которую Эдуард Михайлович прошел под его руководством, кардинальным образом повлияла на всю его дальнейшую научную биографию. С 1962 года Э. М. Загорульский стал работать в БГУ, где трудился до 2015 года.

Университетский этап биографии Загорульского вместил путь от старшего преподавателя до профессора, руководителя структурных подразделений. Ученый навсегда войдет в историю БГУ как инициатор создания и первый руководитель кафедры археологии, этнографии и вспомогательных исторических дисциплин исторического факультета (1973), которая с конца 1990-х годов стала называться кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин. Эту кафедру он возглавлял 24 года. В 1986—1991 годы Э. М. Загорульский — декан исторического факультета БГУ. Его деятельность пришлась на тот период в развитии отечественного исторического образования, когда на его содержательную сторону существенно повлияла объявленная М. С. Горбачевым перестройка. Демонстрируя зрелую гражданскую позицию, Эдуард Михайлович выступил против того, чтобы сообщество профессиональных историков бросалось из крайности в крайность, поддавалось очередной политической конъюнктуре. Юбиляр почти четверть века руководил археологическими экспедициями студентов БГУ, которые проходили во всех областях БССР.

Наиболее значимые моменты научной биографии Э. М. Загорульского:

исследование древних Минска, Рогачева, Заславля, Кистеней, Копыся, Свислочи, курганных могильников и замков периода раннего и развитого Средневековья. Во время раскопок в Минске (1958—1961) он исследовал оборонительные сооружения и застройку, сделал реконструкцию восточной части замчища и жилых строений. В 1959—60-м руководил раскопками небольшой части деревянной мостовой, которая в конце XI — начале XII в. вела в город и проходила через разрыв в оборонительном валу замчища. С северной стороны мостовой был выявлен угол деревянной срубной конструкции, сохранившейся на четыре венца. Загорульский предположил, что им открыты остатки деревянной башни и что с противоположной стороны мостовой должна быть такая же башня. Ученый сделал вывод о том, что въезд в детинец следует реконструировать не как простую проездную башню, а как проход между двумя деревянными башнями, возможно, соединенными вверху.

В 1977 году автор данной статьи участвовал в экспедиции по изучению городища Вищин. Ученый и педагог работал над этим проектом до 1986 года. Во время раскопок Э. М. Загорульский исследовал оборонительные сооружения и жилые строения, обнаружил уникальный клад золотых и серебряных украшений и серебряных гривен конца XII — начала XIII вв.

Э. М. Загорульский — один из авторов фундаментальных научных изданий: «История Белорусской ССР» (1961), «История Белорусской ССР» (т. 1, 1972), «Гісторыя БССР» (ч. 1, 1981), учебных пособий «Гістарычнае краязнаўства Беларусі» (1980), «Гісторыя БССР» (1989); первым в системе высшего образования написал учебник, посвященный археологии Беларуси. Эдуард Михайлович отметился также целой серией учебников для средней школы с его единоличным авторством.

А вот что пишут о юбиляре его коллеги А. Н. Ваганова, А. А. Егорейченко, В. А. Теплова: «Более десяти лет научная и преподавательская деятельность Э. М. Загорульского была связана с РИВШ при БГУ, где им прочитаны общие и специальные курсы, связанные с историей древней Беларуси. Их особенностью является то, что историю Беларуси он никогда не рассматривал изолированно от истории всей Восточной Европы. Такой подход позволил Э. М. Загорульскому не только выявить общие связующие моменты в судьбах населения Беларуси и всего восточного славянства, но и те особенности, которые придали истории Беларуси своеобразие и неповторимость... С именем Э. М. Загорульского связана разработка курса «Церковная археология Беларуси», который был подготовлен и прочитан для студентов Минской духовной семинарии в 1994—1997 годах. Э. М. Загорульский активно участвовал в епархиальных чтениях, проводимых Экзархатом БПЦ».

Профессор Э. М. Загорульский с присущей ему высокой ответственностью относился к исполнению обязанностей члена совета по защите диссертаций при БГУ, часто выступал в качестве эксперта и оппонента кандидатских и докторских диссертаций.

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, большой личный вклад в развитие исторической науки, активную общественную деятельность профессор кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ Э. М. Загорульский 7 октября 1990 года награжден Почетной грамотой Верховного Совета Белорусской ССР и 29 декабря 1998 года — Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.

Михаил СТРЕЛЕЦ

Из почты журнала

Белорусская слеза

Папа мой был настоящим коммунистом. Это как? — спросите вы. Для отца это было — работать на совесть, довести любое начатое дело до конца, чтобы после сделанного можно и нужно было честно и прямо смотреть людям в глаза. И нас, своих детей, этому учил и требовал. Таким он был до конца. А тогда...

За образцовую работу во время уборки (отец был комбайнером — это во время жатвы, а в остальное время года он был заведующим огромной молочно-товарной фермой и ветеринарным врачом), моего отца премировали путевкой в Литву, в город Друскининкай. Санаторий «Друскининкай» специализировался на лечении больных, страдающих болезнями опорно-двигательного аппарата, радикулитом в частности. Утренним самолетом Магнитогорск—Уфа нужно было прибыть в аэропорт Уфы, где его ждали еще несколько человек, улетающих в тот же санаторий. Папа допоздна колол дрова, связал целую гору метелок из чилиги, смазал колеса арбы солидолом. Мама готовила на кухне. Старший брат Сагит с чердака дома срезал две связки копченого казылыка, сухой соленой конины и вяленого гуся. С крыши ворот мама попросила меня спустить высушенный, как камень, корот[1]. В казане мама наготовила целый алдыр баурсака и огромный таз с верхом юасы. Нажарила большую кастрюлю пирожков с ливером и картошкой. Ужинали, как всегда, на урындыке[2]. Обе бабушки, Магира и Вафия, поучали моего отца, как вести себя в санатории. Отец в тот вечер на них не ворчал. Добрыми и нежными глазами глядел на мою маму. «Мы в баню пойдем последними», — сказали бабушки. Помолившись, все встали, кроме бабушек. Мама с папой пошли в баню. Сестры вымыли посуду, убрали скатерть. Папа после бани, как всегда, попил чаю и возле зеркала долго примерял чистую белую рубашку. Единственный выходной костюм как влитой сидел на его мускулистом теле. Темно-серый галстук на резинке и начищенные гуталином до блеска черные туфли завершили преображение деревенского денди. Нет, не завершили. Утром всей семьей позавтракали. Мама сказала отцу, что деньги зашила в трех местах: в трико, в трусах и за подкладкой пиджака. И чтобы деньги понапрасну не тратил.

— Ты куда столько наготовила? Там же кормить будут. Казылык с кониной и гуся съедим вместе, когда вернусь домой, — сказал отец.

Папа надушился одеколоном «Саша». На голову надел модную фетровую шляпу. Вот теперь полностью преобразился. Какой же наш папа красивый!

— А вот корота возьму штучки три, там, в Литве, вряд ли делают такое.

Мама все-таки положила в сумку несколько пирожков и отварного мяса с картошкой, — пока еще до той Литвы долетит! На улице просигналил председательский уазик. Все вышли провожать отца. Папа сказал брату, что тот остается за старшего. Я бежал вместе с собакой за клубом пыли, оставленным машиной, до мельницы. Теперь почти

[1] Молодой сыр.
[2] Широкие нары.

месяц будем без папы. Бежал, пока не споткнулся и упал.

Вернувшись домой, отец рассказывал:

— Из Уфы мы прилетели в Москву, в Шереметьевский аэропорт. Оттуда на самолете ИЛ-18 в Вильнюс. Сразу же уснул в удобном кресле. А проснулся только когда самолет коснулся бетонки в столице Литвы. Город мне понравился очень, красивый и чистый. Нас ждали двое мужчин высокого роста, попросили нас не забывать свои вещи, следовать за ними и ни на шаг не отделяться от группы. В новеньком чистом «Икарусе» желтого цвета мы помчались по ровному асфальту. Кругом цветы. В Друскининкай доехали через часа два. Сперва нас разместили в аккуратных светлых номерах по два человека и пригласили на ужин. Кормили вкусно. На каждом столе капустный салат, полная кастрюля супа, на второе гуляш, голубцы и котлеты на выбор. Котлеты были большими, я выбрал котлеты. Хлеба и черного, и белого — без ограничений. Если за столом хлеба не хватает, то на отдельном столе лежит нарезанный, бери сколько хочешь; и обязательно фрукты — яблоки и груши, по штучке каждому. В середине стола перец, горчица и уксус, соль. Если так будут кормить и дальше, так я согласен. Нас рассадили по четыре человека за стол. Сразу же познакомились. Двое мужчин из Донбасса и я. К утру на завтрак к нам подсадили худющую молоденькую девчонку лет двадцати. Видимо, чья-то секретарша. Молодая, зачем ей санаторий? Я про себя назвал ее «стрекозой». На завтрак она съела салат, и все, больше ничего. В обед к вкусному борщу даже не притронулась, в тарелке с мясом и картошкой поковыряла вилкой, отодвинула в сторону. Я спросил: «Ты будешь мясо?» — она поморщилась. «Я, пожалуй, доем за тобой, ведь выбросят мясо, а мне жалко». Она взяла шоколадку и пошла: попой туда-сюда, туда-сюда, тьфу, твай мат! После завтрака все ходили на лечение. Мне делали электрофорез на спину, ингаляции, дышал над какой-то травой каждый день, давали минеральную воду. Она теплая и как будто без соли. Мне не нравилась эта вода, но врач сказала — пить надо, ну, и пил. Вечером гуляли по территории санатория, за ограду строго запрещали ходить. А «стрекоза» каждый вечер уходила в город. На завтрак все пришли не договариваясь, мы едим, а наша стрекоза морщится, мы кушаем, она всем видом показывает: «Как вы можете есть эту дрянь». Шахтеры отвернулись от нее в мою сторону с тарелками в руках и так ели. Она взяла грушу и потопала. Нет, так не пойдет. Я подошел к администратору зала и попросил, чтобы соседку заменили кем-нибудь другим, а то она портит нам аппетит. Наутро, когда мы зашли в столовую, там уже сидел за нашим столом высокий, как Ишбулат, мужик. Только все присели, он начал кашлять. Хоть бы платок взял с собой, а то кашляет в рукав. Шахтер хлопнул его по спине, а он: «Ой, больно, больно». Так и ушел, не поев. Я тоже не ел. Шахтер этот стоял на улице и курил вонючий «Памир», одну за другой, одну за другой. Я подошел к нему и говорю:

— У тебя кашель от курения. Есть такая болезнь, табачный туберкулез. Если не прекратишь это дело, можешь ее заработать.

А он мне:

— Уже.

Я отошел от него и опять в столовую к администратору зала.

— Вы что, издеваетесь? Одна не хочет кушать, другой не может. Найдите нормального больного или никого не надо.

С шахтерами мы подружились. На обед после лечения я взял с собой корот и юасу. Новые друзья с удовольствием попробовали гостинец. Они говорили, что на вкус корот отдаленно напоминает брынзу. Я что, ел брынзу? Еще говорили о своей работе под землей, что там взрывы и пожары не редкость. И работают целыми семьями, династиями, и сыновья, и внуки, и деды. И работой они гордились, уголь они отправляют на весь Советский Союз. На мой пристальный взгляд на их руки

и лица Андрей, так его звали, признался:

— Это угольная пыль, она въедается в кожу рук и лица и уже потом никогда не отмывается.

— А почему маску или что-нибудь типа противогаза не надеваете на лицо и перчатки на руки?

— Да дают по графику, но в маске тяжело дышать.

На другой день за нашим столом сидела крупная женщина, у нас в Таштимерово таких женщин нет. Она кушать не начинала, пока нас не дождалась. Каждому налила супа со словами: «Ешьте, родные», — и последней себе налила в тарелку супа, смотрит на нас, как на своих детей. «Доедайте и не оставляйте крошки на столе».

До конца нашей путевки мы были в ее заботливых руках. Лариса Григорьевна была из маленькой белорусской деревушки. Вечерами она одна гуляла по парку. Присел рядом с ней на скамейку, и мы разговорились.

Ох, и натерпелись люди во время войны! Мы в деревне тоже голодали.

Я говорю ей:

— Поплачь, Лариса Григорьевна, легче будет.

Она:

— Я уже давно все слезы выплакала. Надо поднимать детей и своих, и соседских. У нас чужих детей нет, не бывает, нас тоже чужие родители подняли, — она всхлипывала.

Рассказывала, как зверствовали фашисты в ее деревне. Как особенно лютовал сосед Остап. Он переехал к ним в деревню за два года до начала войны из Львова большой семьей. Родители Ларисы Григорьевны помогали семье Остапа со строительством дома. Делились последним куском хлеба и вместе, как родные люди, посадили бульбу. Семьями отмечали Рождество, исправно ходили в деревенскую церковь, а старшая сестра Ларисы Григорьевны собиралась замуж за старшего сына Остапа. Все было по-христиански. И как можно было измениться за один день?

Отец Ларисы Григорьевны, как и все, кто мог носить оружие, ушел в лес партизанить. Остап пошел в полицаи, а сыновья его с ним. Он сразу доложил своим новым хозяевам, где жили коммунисты и еврей-часовщик. За то, что отец партизанил, маму Ларисы Григорьевны повесили на воротах дома и не разрешали снимать с петли. Дома партизан Остап лично поджигал, сыновья помогали отцу, старшую сестру Ларисы пустили по рукам, она потом тронулась умом.

В ее деревне к середине 42-го года в живых остались единицы. Когда Лариса Григорьевна замолчала, я сказал:

— Отец моей жены Аклимы лежит в Беларуси. Мы были еще маленькими, ни Аклима, ни я не помним его лица. Его могилы не нашли, есть только последнее письмо.

Лариса Григорьевна заплакала:

— Ах ты мой башкирушка черноглазый! Спасибо вам! Мы, конечно, заново отстроимся и постараемся забыть плохое, но скоро ли это будет? А вот освободителей-солдатиков не забудем никогда.

Она обняла меня, и я почувствовал, как по моей щеке покатилась горькосоленая белорусская слеза.

Вахит ХЫЗЫРОВ

КОЖЕДУБ Алесь (Александр Константинович). Родился в 1952 г. в г. Ганцевичи Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета, Высшие литературные курсы в Москве. Автор книг прозы «Гарадок», «Размова», «Лесавік», «Дарога на замчышча» и других. С 1990 г. живет в Москве.

МОЗГО Владимир Минович. Родился в 1959 г. в г. п. Зельва Гродненской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик, публицист. Автор ряда книг поэзии, многие стихотворения из которых положены на музыку. Лауреат премии Федерации профсоюзов Беларуси и Литературной премии «Золотой купидон». Живет в Минске.

ГЛОБУС Адам (Адамчик Владимир Вячеславович). Родился в 1958 г. в г. Дзержинск Минской области. Окончил Минское художественное училище и художественное отделение Белорусского государственного театрально-художественного института. Поэт, прозаик. Автор многих книг стихотворений и прозы. Живет в Минске.

МАТЮШКО Юрий Всеволодович. Родился в 1944 г. в Ляховичском районе Брестской области. Окончил Витебский государственный медицинский институт. Автор пяти сборников стихов и книги коротких рассказов. Лауреат нескольких международных литературных конкурсов. Живет в г. Барановичи Брестской области.

КАРР Джон Диксон. Родился в 1906 г. в Юниontауне (штат Пенсильвания, США). Учился в The Hill School (Пенсильвания) и Парижском университете Сорбонна. Один из лучших представителей «золотого века детектива». Автор множества детективных рассказов и романов, опубликованных под настоящим именем, а также под псевдонимами Картер Диксон, Карр Диксон и Роджер Фейрберн. Умер в 1977 г. в США.

МАЧАДО РУИС Антонио. Родился в 1875 г. в г. Севилья (Испания). Окончил Свободный институт образования в Мадриде и Институт Сан-Исидро. Испанский поэт «поколения 1898 года», драматург, мыслитель-эссеист. Автор сборников «Одиночества», «Поля Кастилии», «Новые песни», «Земля Альваргонсалеса», «Война» и др. Умер в 1939 г. в г. Кольюр (Франция).

ГАРСИА ЛОРКА Федерико. Родился в 1898 г. в г. Фуэнте-Вакерос (Испания). Изучал право, философию и литературу в университете Гранады, окончил отделение литературы Мадридского университета. Испанский поэт и драматург, известный также как музыкант и художник-график. Автор десятка пьес, поэтических сборников «Стихи о канте хондо», «Первые песни», «Цыганское романсеро», «Поэт в Нью-Йорке», «Сонеты о темной любви» и др. Расстрелян в 1936 г. в Испании.

АДОЛЬФО БЕККЕР Густаво (Густаво Адольфо Домингес Бастида). Родился в 1836 г. в г. Севилья (Испания). Получил домашнее образование. Испанский писатель-романтик, один из основателей современной испанской лирики. Автор сборника стихов «Рифмы» и книги новелл «Легенды». Умер в 1870 г. в Мадриде (Испания).

УНАМУНО-И-ХУГО Мигель де. Родился в 1864 г. в г. Бильбао (Испания). Окончил факультет философии и гуманитарных наук Мадридского университета. Испанский философ, писатель, общественный деятель. Автор романов «Мир во время войны», «Туман», «Авель Санчес», сборников поэзии «Четки из лирических сонетов», «Кансьонеро» и др. Умер в 1936 г. в г. Саламанка (Испания).

НЕРУДА Пабло (Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басоальто). Родился в 1904 г. в г. Парраль (Чили). Окончил отделение французского языка Педагогического института в Сантьяго. Автор нескольких десятков сборников поэзии. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1971). Умер в 1973 г. в Сантьяго (Чили).